

- СКАНДАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ НА САДОВОЙ СКАМЕЙКЕ  
(впервые на русском языке рассказы Ханоха Левина)
- ЭЛЬ И АЛЬ  
(фантастическая история, придуманная Феликсом Розинером)
- "РУССКИЙ" В ЛИВАНЕ  
(очерк Давида Таксера)
- ЛЮДИ НА ВОЙНЕ – И ДОМА  
(размышления Александра Воронеля)
- "ОДНОВА ЖИВЕМ!"  
(самиздатское исследование русской ментальности)
- ВСЕ ПРОХОДИТ ИЛИ ВСЕ УСЛЫШАНО?  
(новое прочтение Экклезиаста)
- УРОКИ ЕВРЕЙСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА  
(глава из книги Виктории Левитиной)

34

22

№ 34

МИШУСЬКИ И ПЕРУСАЛИМ

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ



---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания VI

№ 34

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- КИРИЛЛ ТЫНТАРЕВ. Эрез Фархи и его сестра Лиор (рассказы) . . . . . 3  
ХАНОХ ЛЕВИН. Четыре романтических происшествия  
на садовой скамейке (рассказы) . . . . . 21  
ФЕЛИКС РОЗИНЕР. Сиамские близнецы (пьеса) . . . . . 37  
БОРИС ПОЛЯКОВ. Автопортрет с Юлей (повесть, окончание) . . . . . 69

### ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- ДАВИД ТАКСЕР. "Русский" в Ливане . . . . . 121

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Люди на войне, или еще раз  
об уникальности Израиля . . . . . 139

### ПРОГУЛКИ С ФИЛОСОФАМИ

- АНДРЭ НЕЕР. О книге Кохелет ("Экклезиаст") . . . . . 152  
АВРААМ ШЛОНСКИЙ. Пастух . . . . . 162

### РУССКИЙ ВОПРОС

- Л. ЛАДОВ. Отношение к смерти в разных культурах . . . . . 163

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- О. КУСТАРЕВ. Активная культура Ильи Рубина  
(к семилетию со дня смерти) . . . . . 183  
ВИКТОРИЯ ЛЕВИТИНА. Стоило ли сжигать свой храм? . . . . . 193

### ЛЮДИ И КНИГИ

- М. ХЕЙФЕЦ. Скромная книга свидетеля истории. И. МАЛЕР.

Роман с Бабелем. М. ДАЦКОВСКАЯ. Жила-была девочка.  
"Авраам родил Ицхака..." Р. Б. Коротко о книгах. . . . . 216

*На последней странице обложки: подбитый советский танк в Ливане (фото Д. Таксера)*

---

## ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия.

В. Богуславский	Ю. Меклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор  
технический редактор — Наталья Рубина  
ответственный за выпуск — Нелли Гутина

Всю корреспонденцию направлять по адресу  
"22", P. O B 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей  
журнала:

Соединенные штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacifis Grove, Ca 93950, USA  
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N Y, 10036.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR  
L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1984

Отпуск начался "ала кефак."<sup>\*</sup> Вертолет, забравший с Джабель-Арзин террориста, раненного при поимке, и тело убитого накануне шофера, подбросил Яира до Цфата. Не пришлось спускаться с гор размокшими дорогами, ждать автобуса, сидеть, приготовившись стрелять, в случае чего, по пардесам<sup>\*\*</sup> на краю шоссе. К тому же в автобусах вечно поют песню про Элинора, а за девять лет службы Яир возненавидел ее хуже смерти.

Последние километры до Эмек-а-Хессед он проделал под проливным дождем, но это было уже неважно: свой дом, своя страна. За четыре часа он добрался с Джабель-Арзин до своей квартиры в блоке, построенном фирмой "Мошковиц и сыновья" и белой громадой возвышавшимся над старым кварталом. "Мошковиц и сыновья" успели построить в Шхунат-Кедари уже пять таких блоков, то там, то сям поднимавшихся над черепичными крышами; в одном из них жила и Хана.

"Первым делом — мыться!" решил Яир.

Он сидел на веревочной, плетеной скамье транспортного самолета. Напротив в полном облачении десантника, качался труп Эреза Фархи, давешнего шофера, убитого у него на глазах.

\* (ивр. — араб. жаргон) — замечательно; "кейфово".

\*\* Роци цитрусовых

*Кирилл Тынтарев*

**ЭРЕЗ ФАРХИ  
И ЕГО СЕСТРА ЛИОР**  
(рассказы)

Слегка болело колено — там, где был перелом. “Если мертвец меня не опередит, ноги останутся целы”, — загадал Яир. Он прыгнул, оказалось, что высоты никакой нет, под ним пронесился мокрый асфальт шоссе Бейрут-Сайда. Если он сейчас не сломает ноги, то останется в десанте. Но краем сознания он помнил, что ноги уже сломаны и что три года он проползал на костылях. В десант он не вернулся, но стал офицером разведки. Чувство победы, никогда не оставляло его. В промежутках между операциями он сделал первую степень по еврейским общинам Востока. Большая часть ливанских евреев эмигрировала во Францию. Дорога тормозила. Яир обнаружил, что подскакивает на чем-то мягком. Это были белые куры, он давил их одну за другой, и перья их окрашивались в кровь. Кур попадалось все больше и больше. Теперь они были ошипанными, кошерными курами “Тнув-вы”.\* Яир упал на холм замороженных кур. Они отнимали у него последнее тепло. “Отставить! — скомандовал он. — Хватит на всех!”

Оказывается, он заснул в ванне, и вода застыла. Он быстро вскочил и растерся полотенцем. Было уже три часа ночи. Он чувствовал, что немного отоспался. Пройдя в гостиную, служившую заодно и спальней, он достал из шкафа тренировочный костюм. Во второй комнате, оборудованной под самую современную фотолaborаторию, сохранялся идеальный порядок. В гостиной — другое дело: пепельница опрокинута, пол усыпан окурками, высохшими апельсиновыми корками с бело-зелеными от плесени краями, отвратительными яблочными огрызками. На диване, где Яир не спал уже месяц, валялась грязная одежда. Яир сгреб ее и отнес в стиральную машину. На балконе он почувствовал странный запах. Месяц назад он забыл здесь мокрое белье с предыдущей стирки. Он заглянул в таз и ужаснулся. Подмел наскоро в гостиной и ссыпал мусор в таз со сгнившим бельем. Нашел в шкафу какое-то одеяло, поставил будильник на восемь и лег спать.

Над дорогой в Джабель-Арзин в ледяном горном воздухе пыл джип. Они возвращались в лагерь с материалом об интернированных, собранным в окрестных деревнях. Солнце висело над самым горизонтом, где за небоскребами Сайды синей полосой пролегло море. Внезапно Яир увидел, как в прозрачном воздухе, точно астероид, пролетел обломок скалы и упал перед ними на дорогу. Джип резко тормознул и ухнул вниз. Яир слез с машины и, утопая в грязи, столкнул скалу, полетевшую по эллиптической орбите

\* Крупнейший в Израиле поставщик сельскохозяйственных продуктов

на запад к морю. Молодцы, ребята, подумал он, увидев, как команда держала местность под прицелом, пока он возился со скалой. Вдруг перед его глазами возникли на гребне двое в развевающихся бурнуссах. Он их знал. Их обоих звали Жан Валед, который бежал в одиночку из лагеря на Джабель-Арзин. Яира чуть не отстранили от должности за этот побег. У интернированного Валед было морщинистое лицо моржа со свисающими усами и слезящимися глазами под мохнатыми, как у Ицхака Шамира, бровями. "Арабам доверять нельзя", — объяснил он своему звену, глядя, как сверкая на солнце, пуля медленно приближается к сержанту Эрезу Фархи. Яир пытался поймать ее в сложенные лодочкой ладони, но пуля прошла насквозь, и тогда он стал отговаривать Эреза от странной идеи быть похороненным без воинских почестей. Яир объяснял Эрезу, что лучше разорвать записку, которую тот хранил в солдатской книжке, потому что его дурацкое требование бьет по престижу армии и его, Яира, как непосредственного начальника. Эрез потупил глаза и не отвечал. Пуля вошла в нижнюю часть его живота, и он задергал конечностями и зазвенел.

Это был будильник. Яир встал и посмотрел в окно. Дождь продолжал идти. Это значило, что можно спать до одиннадцати, не рискуя разомлеть от духоты. Он сварил себе кофе, выпил его с засахарившимся вареньем и вскоре опять уснул.

Он стоял на Унтер-ден-Линден-Мерказ-Кармеле. Каскадами огней Хайфа катилась с улицы Ефей-Ноф в залив. На балконе кафе "Рондо" стоял его отец, профессор Фишер, в черном фраке, со скрипкой. На руке его сидели, мал мала меньше, три члена любительского квартета, собиравшиеся в четверг вечером у профессора на квартире. Отец, страшно фальшивя, сыграл "Ах, мой милый Августин" и снял цилиндр. В цилиндр посыпались алюминиевые пфенниги. Но тут появился широколицый официант с гитлеровскими усиками в лиловой униформе и с криком "Ашкенацим, ахуца!" перебросил профессора Фишера через балюстраду. Отец упал прямо в объятия Яира. Яир скомандовал официанту прыгать, и того унесло по эллиптической орбите на запад, где солнце садилось в море. Ночь сменилась вечером. Официант вернулся по эллиптической орбите обломком скалы. Он хотел перегородить дорогу их джипу, потому что он был Эрез Жанвалед. С сосен Унтер-ден-Линден капал дождь, а по тротуару шли одинаковые жанваледы в опереточных фраках с дешевыми проститутка-

ми под руку. Яир испугался, что он тоже стал жанваледом, но подмышкой у него был кусок одеяла, и он вскочил на ноги.

Полпервого. "Опять ничего не успею", — подумал он и отправился на кухню завтракать, предварительно выбросив из холодильника множество всякого гнилья. Интересно, что делает сейчас Хана. Суббота, не суббота — Хана каждый день вставала в семь. Не одеваясь, одна в своей комнате, делала упражнения йоги. Если у Миры, ее напарницы по квартире, не ночевал ее "хавер", та присоединялась. У Миры короткие ноги, ей никак не удавался "лотос", который она именovala "дхьяваасаной". Хуже всего, говорила Хана, знают йогу индийские евреи. Завтракала она по строго разработанной диете — разумеется, вегетерианской. По субботам после завтрака Хана предавалась своим любимым занятиям, — запиралась в комнате, чтобы почитать детективы, послушать музыку, потанцевать под индийские раги или поиграть на гитаре. Последнее она могла делать часами, лишь изредка встряхивая головой и отпивая апельсиновый сок из стакана. Все, чем она занималась, она делала увлеченно и подолгу. Яир считал это признаком принадлежности к элите духа. Она заразила его своей любовью к йоге, и полгода назад они даже снялись в целой серии фотографий по образцу индийских сексуальных поз. Яир тогда вступил в переписку с американским издательством "Бхагаван-пресс", чтобы выпустить альбом, но из-за войны не смог закончить работу.

Он отпер лабораторию и стал разводить реактивы. Надо было затушевать ковер и фрагменты мебели и окружить себя с Ханой декоративным орнаментом. Работа простая, но требующая аккуратности и вкуса. Хана любила повторять, что у Яира хороший вкус. Яир сделал всего один негатив — просто, чтобы дело не стояло. Он высушил снимок и положил его в конверт — показать Хане.

В парадной он достал из почтового ящика пачку счетов и сунул их вместе со своим чеком в конверт с фотографией. Пусть Хана сходит заплатить. Дождь все шел, но как-то лениво. Было безветренно и тепло, низкие облака войлоком нависали над городом, пряча окрестные холмы. Яир прошел мимо синагоги "Маген Авраам", где толпа в поношенных пиджаках и армейских дубонах собиралась на минху. Женщин и детей по плохой погоде было мало. На стене синагоги висела афишка, извещавшая о смерти Эреза Фархи. Об обстоятельствах смерти не было ни слова. "На-



стоял на своем, покойничек, — подумал Яир. — Сильный парень”. То, что похороны уже состоялись, его не удивило. Это живые ездят на попутках, мертвым всегда дают вертолеты. Краем уха он поймал разговор в толпе — выходило, что мать Эреза попала под грузовик, сестру убил какой-то репатриант из России, а отец прямо с похорон попал в больницу. Яир безучастно подумал, что если его убьют, отец тоже может получить инфаркт. В глубине души он был доволен, что его освободили от обязанности навещать семью покойного. Полковник видел, как он замотался за последние недели.

Интерком в доме Ханы был отключен по случаю субботы и подъезд не заперт. Яир поднялся на лифте и позвонил. Дверь открыла Мира. Она была начесана, и копна черных, жестких, как проволока, волос почти закрывала ее узкое смуглое лицо.

— А, Яир, — сказала она сонным голосом, протирая глаза длинными, узкими, будто без суставов, пальцами. — Ты меня разбудил. Заходи. Как дела?

— Ничего, — сказал Яир, входя. — Как у тебя?

— Нормально. Ханы нет дома. Садись. Тебе растворимого или натурального?

— Того же, что и тебе. — Яир сел в кресло и глянул на часы. Четыре. Двенадцать часов до конца отпуска, а Ханы, как назло, нет. Он стал разглядывать стены гостиной. Украшения были перевешены заново, и он не обнаружил две любимые Ханины репродукции — Эшера и Дали.

Мира появилась с подносом в руках. Вместо халата на ней теперь был тонкий свитер, видимо, надетый на голое тело, и шорты. “Смешная, — подумал Яир, — переодевалась на кухне”.

— Мира, Хана надолго ушла?

— Тебе сколько сахара? — спросила Мира.

— Две, спасибо. — Яир пытался разглядеть, есть ли у нее что-то под свитером. — Хана скоро будет?

— Не думаю, — ответила Мира, забираясь с ногами в кресло. Потом поколебавшись, сложила ноги в позу “лотоса” и застенчиво улыбнулась. — Так как дела? Ты надолго?

— До утра.

— Как служба?

— Грязно и нет туалетной бумаги. Плохие дороги.

— Говорят, скоро будет соглашение.

— Говорят. Как у тебя дела?

— Никак. Работаю. Вон, “стерео” купила.

— Угу. Сколько ватт?

— Я в этом ничего не понимаю.

— Ватт пятьдесят. Как твой “хавер”?

— Шимми в Маале-Гвура. Живет в одной комнате, достраивает виллу. — Мира стала прикуривать новую сигарету от старой, пепел рассыпался и перемазал свитер. Теперь Яир точно знал, что под свитером ничего не надето.

— Шимми... — она сделала паузу и потеряла свитер, еще больше размазав пепел. — Я сейчас переоденусь...

Она привстала с кресла.

— Ну! Говори уже!

— Нечего говорить. Шимми забрал нашу Хану и уехал в Маале-Гвура.

— Давно!

— Не помню. Недели три назад.

Яир почему-то подумал, что у Миры изо рта пахнет табаком, а у Ханы пахло ментолом. До войны Хана с Мирой устраивали вечеринки для своих “хаверов”, на которых Хана играла на гитаре песни собственного сочинения, похожие одна на другую, а иногда танцевала чувственный танец под индийскую музыку. Два года назад она так впервые станцевала Яиру, и в ту же ночь он у нее остался. Что делали Хана с Мирой в другие вечера, без него, Яир не знал и не интересовался. Хана могла обходиться без мужчины целыми месяцами, и вообще она ему, Яиру, ничем не была обязана. Он никогда не пытался вторгнуться в ее “прай-васи”, на ту суверенную территорию, осквернить которую было кощунственней, чем святая святых кем-то там разрушенного Храма. Яир теребил конверт со счетами, лежавший у него на коленях.

— Он хотел спать с нами обеими, — сказала Мира, своей невероятно тонкой рукой индуски наклоняя кофейник, чтобы налить себе и Яиру добавку кофе. — Но я сказала “нет”. Понимаешь, он хотел все в одной постели. Даже Хана была против. Каков тип!

Яир закрыл глаза. Вот так гонишься, гонишься, а потом в твой джип всаживают очередь, и ты не досчитываешься одного, другого, третьего, а потом себя.

— Ладно, я пойду.

— Ладно.

Мира смотрела на него своими круглыми бездонными глазами.

Точеные арки бровей изогнулись, лапки прижаты к ключицам. "Хорошая была бы у меня сестренка", — подумал Яир.

— Мира, у меня тут скопились счета. Я тебе оставляю пустой чек — ты оплатишь?

Он протянул ей конверт. Мира робко поднесла его к себе.

— Тут только отчеты из банка... и за воду. А это что?

— Это чек, я же сказал. Проставишь сумму.

— Нет, не это. — Мира показала злополучную фотографию для несостоявшегося альбома сексуальной йоги.

— Это мы с Ханой, если помнишь...

— Да, она что-то говорила. Альбом для "Бхагаван-пресс", что-то такое. Кстати, у Шакти\* не бывает таких мелких розовых сосков. Ни на одном рисунке.

— А какие бывают?

— Как у меня, например...

— Можно сравнить?

"Сейчас она поднимет меня на смех", — подумал Яир.

— Да, пожалуйста... — Мира не шевелилась. Яир посмотрел на нее. Вместо маленькой сестренки, стоявшей напротив мгновение назад, он увидел два черных огня, гневных и требовательных.

"Мабрук!"\*\* — сказал он себе.

К четырем утра дождь перестал. Яир полулежал на подушках и гладил ее худенькое, каждым гибким звеном принадлежащее теперь ему тело.

— Мира?

— Да?

— Мне надо собираться.

— Жалко.

— Мне тоже жалко. — Он встал, в темноте разыскивая одежду. Он и так уже дотянул время до последнего предела. — Увидимся, Мира.

— Увидимся.

— Да, Мира! — сказал он тем же тоном, каким месяц назад обратился к Хане. — Ты не забудешь оплатить счета?

#### Абу-Кассах

В пять часов пополудни квартал Шаарей-Алия пахнет перегретым эвкалиптовым листом. Между трехэтажными блоками жи-

\* Женское божество из индийского пантеона.

\*\* "Мабрук" (араб.) — выражение, равноценное еврейскому "Мазал тов".

лично-эксплуатационной компании, среди пыльных кустов олеандров с бесплотными цветами, по дорожкам, нареченным именами благородных растений, гуляют репатрианты. Точно так же они гуляли здесь и десять лет тому назад, и тоже пахло эвкалиптами, заблаговременно насаженными Национальным Фондом, только Аллея Сионизма, центральная улица города, еще вела к ныне закрытой текстильной фабрике, да не было у подъездов самодельных скамеек, на которых сидят теперь постаревшие на десять лет старики и переговариваются, кто по-русски, кто по-румынски, кто на идиш.

Среди гуляющих меж эвкалиптов и олеандров можно увидеть Гришину маму, которая вывела гостей подышать воздухом. С ней старая соученица Рита, с оживлением рассказывающая, как у нее выпадают все волосы, толстый дядя Фима из Беер-Шевы, уже нагруженный и плетущийся поодаль, его жена Лена, острыми маленькими глазками попеременно следящая то за мужем, то за Маринкой и Эмиком. Маринка, высокорослая девица в лиловом платье, в возрасте "типешэсре", что переводится как "дурнадцать", с оскорбленным и умным видом озирается по сторонам в поисках повода для какой-нибудь выходки. "Б'хайяй, — думает она, — сохавим оти к'эйзе сак мехурбан, кусс омм'ум..."\* Все они празднуют Гришин день рождения, пока виновник торжества стоит у окна и раздраженно смотрит на отдаленную стену гор, освещенную вечерним светом, всю в морщинках и складках, как у слона.

"Мне тридцать лет. Нет более вгоняющего в депрессию, чем такой день рожденья. Авокадо, маринованные грибочки с картошкой, селедка "под шубой". Смирновская водка, белая скатерть с пятном, из Новосибирска еще. И мама говорит: "Гришенька, не пей так много". А дядя Фима: "Отчего ж мужику и не выпить?" А Маринка: "Тетя Ра'ая, а лама, а почему вы относитесь с Гришей, как с маленьким?" Они скоро вернутся слушать Галича. Ни одна вещь в них не меняется".

Гриша Шехтман думает по-русски со множеством гебраизмов. Он не пьян, но ему хочется пьяной свободы. Складки на его узком лбу красны. Красна и лысинка среди мягких светлых кудрей, и все его рыхлое тело под расстегнутой рубашкой. Он швыряет стакан с вермутом в стенку, покрытую пластиковыми обоями. Стакан отскакивает. Душно. Гриша трезв, как стеклышко. Не

---

\* — ивритская и арабская брань, выражающая недовольство.

разбившись, стакан падает на ковер, оставляя пятно пролитой жидкости. Гриша медленно подходит к зеркалу, и, обернув руку салфеткой, бьет в него кулаком. День рождения. Прогулки меж эвкалиптов и олеандров. В Эмек-а-Хессед пять часов и пахнет перегретым эвкалиптовым листом.

Гриша берет большой охотничий нож, финку, как он его называет, и по полированной поверхности "стенки" румынского производства царапает во всю ширь русскими словами: Л-И-О-Р. Нож попадает по руке. Осторожно, чтоб не закапать ковер, Гриша идет в кухню и лепит на порез пластырь.

Лиор. Аза и Ицхак Фархи, Абу-Кассах. Блаженной памяти сержант Эрез Фархи. Банк "Маоз". Лиор. Гриша сидит на полу, в углу возле кухонной плиты и плачет.

Возвращаются гости. Мама, скорбно поджав губы, не говорит ничего и незаметно выметает осколки зеркала. Затем все слушают Галича. Где-то часа через полтора Гриша с Маринкой оказываются в Гришиной комнате. Он молча тискает ее в углу, потом, ставив с нее блузку и лифчик, несет на кровать, грузно ложится сверху и неожиданно для себя спускает в штаны. Маринка садится на край кровати. У нее в глазах обида. Она возвращается в гостиную, чтобы сказать в подходящую минуту: "Папа, поедем". Дрожа от непонятого чувства, она спускается к папиному "опелю".

Лиор Фархи. Эмануэль Шехтман. Опека. Полиция. Рав Данино.

\* \* \*

Для жителей Шхунат-Кедари на юге города (кроме тех, разумеется, кто поселился в недавно построенных восьмизэтажных домах "Мошковиц и сыновья") рав Данино был душой квартала. Нельзя сказать, чтобы он был самым уважаемым человеком в Шхунат-Кедари. Разве кто из молодежи рискнул бы с возгласом "Аалан, ма шломха!"\* похлопать по плечу кого-нибудь из братьев Ваакнин? Передразнить старосту синагоги "Маген Авраам" Эзру Ниссима, хозяина большого магазина электроники на Кикар а-Пальмах? Но к кому шли рассудить дело, когда Меир Абутбуль перенес к себе на крышу антенну, без дела лежавшую у его соседа, Амнона Малляма? Кто отбил у армейского раввина тело Эреза Фархи, завещавшего, чтобы его похоронили без воинских почестей? И если кто-то спрашивал у рава Данино, как

\* (араб. — ивр.) — привет, как дела!

это можно, чтоб староста синагоги ездил по субботам на пляж, разве не отвечал он, что в такие сложные времена он не может выносить приговор по таким вопросам? Кто так рьяно собирал деньги для единственного студента в квартале, Ашера Аль-Замми, уехавшего в Америку учить медицину и так и не вернувшегося? И кто, наконец, отозвался о сестре Эреза, Лиор, как о праведнице — мнение, к которому постепенно склонились все жители квартала.

Лиор.

Взгляд, упрямо направленный вниз, узкий гладкий лоб, морщинка над переносицей, гладкие зачесанные назад волосы. Мраморный столик с гнутыми штампованными ножками, темнота, кафе "Ронит", Эмек-а-Хессед.

— Ты мой сосед, верно? У тебя голубая "субару"?

— Да...

— Попьешь со мной кофе?

— Спасибо.

Гриша садится к ней за столик, ошеломленный. Из утробы кафе доносится сиропное пение Шими Табори. Пять мужчин в одинаковых серых костюмах и синих галстуках в горошек сидят там, перебрасываясь взвешенными, округлыми, непонятными постороннему фразами. В таком же костюме, на фоне портрета премьер-министра, стоит за стойкой Шимон, управляющий кафе. За спиной у Гриши шумная солдатская ватага обсуждает свойства джинсов и чьей-то сестры.

— Здесь как-то холодно, — говорит Лиор. — Хочешь ко мне?

Она пристально смотрит на Гришу.

Гриша прикидывает, за так ли это или за деньги. И что скажет мама. У Лиор минибус "Фольксваген". В нем пахнет каким-то благовонием и духами Лиор. Она лихо тормозит и поворачивает на большой скорости так, что свистят шины. Ее рот полуоткрыт, дыхание частое.

— Вот и все, — произносит она, улыбаясь, когда машина останавливается на стоянке позади дома номер 107 по Аллее Сионизма. Она кладет тонкую руку Грише на плечо.

— Поможешь достать мне кое-что сзади?

Они выходят из кабины минибуса и залезают через заднюю дверцу в кузов. На дне кузова постлан ковер. Ничего там нет.

— Так что поднять? — спрашивает Гриша.

— Например, меня.

— Пардон?  
— Ну уже... Воспитанный мальчик. — Лиор откидывает голову и закрывает глаза.

\* \* \*

Оказалось, что Лиор живет с Гришей на одной площадке. Гриша с мамой никогда не знали, кто их соседи. Мама очень боялась “сабров”.

- У тебя, наверно, давно никого не было?
- Да, спасибо тебе.
- Тебе тоже. Растворимого или натурального?
- Можно чаю?
- Ты что, плохо себя чувствуешь?
- Нет, почему же... Можно и кофе, — забормотал Гриша.

Лиор вернулась из кухни с подносом и села на подушку у Гришиных ног. Квартира ее по планировке была точной копией маминой, только стены были крашенные, а в гостиной не было ничего, кроме пары кресел, колченогого столика и подушек на суконной дорожке, покрывавшей плитки пола.

— Я тебе сейчас кое-что расскажу, — начала Лиор торопливо, обхватив ноги руками и глядя на пол.

Она говорила быстро, не своими словами, сухо и монотонно, так быстро, что отдельных фраз Гриша не понимал. Она продолжала смотреть вниз, иногда вскидывая голову с распущенными длинными волосами, как бы желая убедиться, что ее слушатель на прежнем месте.

— И когда я решила сюда вернуться, было непонятно, что делать. Зарабатывать яани.\* У меня раньше не было таких проблем. Абу-Кассах\*\* был крупным рисом\*\*\*, а в Яффо он распоряжался побольше Чича.\*\*\*\*. Я так и не прознала, еврей он или араб. Есть такие арабы, которые нарочно говорят из Танаха, чтоб было не понять. Журналисты писали, что кроме строительных рабочих он имел долю на Блошином рынке\*\*\*\*\* и в ночных клубах и еще

---

\* (араб.) как бы, вроде бы.

\*\* букв. зн. (араб.) — отец смерти

\*\*\* (араб. в изр. контексте) поставщик рабочей силы с территории в изр. хозяйство.

\*\*\*\* кличка Ш. Лахата, мэра Тель-Авива.

\*\*\*\*\* Рынок подержанных вещей в Яффо.

всякое. Журналисты много врут. Свои его звали Зогар.\* Он был со мной редко. Обучал меня "стайлу". Просто так, ему это было не нужно, понимаешь? А в один прекрасный день сказал: "Знаешь, Джинния... (а у меня тогда было имя Джинни\*\* — яни Вирджиния)... Знаешь, Джинния, уходи. Ты у нас лейди теперь, а я чек конченный. Халлас, я-хабибти"\*\*\*. А денег он всегда давал. Тебе сколько лет?

— Двадцать пять, — соврал Гриша. Он опустился с кресла на пол и теперь сидел напротив Лиор. Гриша смотрел на ее руки, сложенные ложечкой между ног в потертых джинсах. Он хотел ее взять тут же на полу, но желание исчезло в ту же минуту, как появилось. У него заныло под ложечкой, и как шелест эвкалиптовых листьев пронеслась какая-то короткая мысль: "Бессмертие... пришло бессмертие"... Чье бессмертие пришло? Этого Гриша не понял, но мысль о загадочном бессмертии заставила его похолодеть в душном вечернем воздухе Эмек-а-Хессед.

— Мне двадцать восемь, — соврала Лиор, ощущая всю сухость своей кожи, лишь подчеркнутую кремом. Ей недавно исполнилось тридцать два, но это никак не выговаривалось. Нельзя уставать, говорил Зогар Барселона, именуемый Абу-Кассах, уставших приканчивает Бог и добивают ангелы. "Жизнь и смерть поставил Я сегодня перед тобой и выберешь жизнь"\*\*\*\* — и я рада, что вернулась сюда. Ты не подумай, что я просто блядь .

— Нет, что ты, — махнул рукой Гриша.

— А хоть бы и блядь, может, ты меня за это и любишь. Я органирую вечера этим, из Бнэй-Бейтха\*\*\*\*\*, — стол, кассеты с записями, девочки с Яркона или из Яффо, смотря по цене. Ты что так глядишь — дело прибыльное, налоги плочены.

— Лиор!..

— А, мало тебе, да? Пошли, покажу! — Лиор вспорхнула и отворила дверь в соседнюю комнату. Младенец в голубом комбинезоне лежал, укрытый сетчатым колпаком от комаров, и ровно дышал.

— Это Эмануэль! Когда мне все надоело, я его завела. Ему уже пять месяцев.

---

\* (иврит) букв. сияние, также название важнейшего трактата Каббалы.

\*\* (араб.) бесовка.

\*\*\* (араб.) хватит, дорога.

\*\*\*\* цитата из кн. Исхода.

\*\*\*\*\* Программа министерства строительства, поощряющая строительство частных вилл, обычно для зажиточных слоев населения.



— Ты его так одного оставляешь?

— А что поделаешь? Смотри, как он спит! — Она достала из-под подушки пару ножниц и Писание в карманном издании армейского раввината.

— Это от дурного глаза.

— Ты в это веришь? — спросил Гриша. Он хотел узнать, от кого ребенок.

— Нет, наверно. Не знаю. Мне так мама всегда делала, когда оставляла меня одну. Знаешь, кто сандак?\*Эли Ваакнин.

— Заместитель мэра?

— Да. Он мне помог и квартиру получить.

— Так он из "этих", из Бнэй-Бейтха?

— Смотри, быстро соображает. Только не за это я тебя люблю. Эмануэль высунул два розовых кулачка из рукавов, потянулся и, не просыпаясь, перевернулся на живот. Лиор счастливо засмеялась.

— Смотри, какой! Мне через час его кормить.

Наконец Гриша неуклюже поволок ее к себе.

— Как мне хорошо! — воскликнула Лиор.

— Хочешь за меня замуж? — спросил Гриша.

— Это мы еще посмотрим, — усмехнулась Лиор и, подтянув колени к подбородку, стянула трусики.

\* \* \*

Гриша еще не понял, что происходит, а уже надо было что-то решать. В три часа ночи, когда он выходил из квартиры Лиор, на площадке ждала его мама с вытаращенными от ужаса глазами и, держась обеими руками за непроизвольно качавшуюся из стороны в сторону голову, стонала:

— Один сын, да и тот недоумок. Ох, тяжело мне, тяжело. Какую ссволочку я вырастила! Ночами из-за него не сплю, а он эту прости-господи себе нашел и матери — родной матери — в лицо плюет. В самую грязь лезет, и все с ним делают, что хотят. Ты, паскуда, думаешь, я ничего про тебя не знаю? Я все про тебя знаю... Люди добрые подсказали, с проституткой, говорят, уехал ваш сыночек. Елена Витальевна знает, и Григорий Самойлович знает, и Аркадий Семенович, и доктор Беркович — всем я звонила, старая дура, сына искала, может, его машина сбила, а он себе тешится... Кого я вырастила!!!

\*восприемник; анал. крестному в христианстве

Гриша повел спотыкавшуюся мать на кухню принять валиум. Она всегда так вела себя — и в Новосибирске, когда он приходил со студенческих вечеринок, тоже. Он знал, как себя вести.

— Поклянись моей жизнью, что ты больше не пойдешь к этой проститутке!

— Мама, не беспокойся, я уже взрослый. Я знаю, что делаю.

— Я сообщу на нее в полицию! Ее заберут отсюда! Какое право она имеет отнимать у меня сына?! Гриша, она тебя заразила.

— Мама, сейчас три часа ночи, иди спать.

— Какой сон, когда сын, мой единственный сын связывается с проститутками! Ты позоришь меня на весь город. Григорий Самойлович уже знает, и доктор Беркович с моего отделения, и Елена Витальевна, старшая сестра. У меня нет сына... Будь проклят! Убирайся! Не-ет, постой! Я знаю, ты снова пойдешь к ней. Она агент КГБ. Я на нее в Шин-Бет\* сообщу. Иди спать, подлец, ты свою мать привез сюда и растоптал. Растоптал и смешал с грязью. Нет. Постой. Ты пойдешь, как боров, спать, а мать оставишь одну с головной болью? А завтра опять пойдешь к этой паскудине! Помогите! Помогите!!

И был вечер, и было утро. День первый.

И был день последний. В семь утра Гриша с Лиор позавтракали яичницей с помидорами и кофе. Эмануэль, держась обеими руками за прутья кровати и сияя, торжественно выехал на середину комнаты. Гришина мама вышла в халате с окаменевшим выражением скорби и ужаса в глазах. Она заметно постарела в последние месяцы.

— Вы когда вернетесь? — спросила она вместо приветствия.

— Доброе утро, тетя Ра'айя. Гриша — как всегда, а я буду в пять, наверно.

— Так мне готовить обед?

— Спасибо, у нас есть.

— Знаю, как у вас есть. Голодранцы вы, вот вы кто.

— Да, тетя Ра'айя, вот апельсиновый сок, дадите ему, а то вода ему уже надоела.

— Ладно. Эмик, маленький, как ты спал?

Ами, он же Эмик, переезжает на пушистый ковер маминой гостиной. Дверь захлопывается. Лиор возвращается к себе, а Гриша уже повязывает галстук, черный в белую полоску, какие обязаны носить служащие банка "Маоз". Когда они спускаются по лестнице, внезапная волна страха, холодная и липкая, охваты-

\* Израильская служба безопасности

вает Гришу целиком. Как тогда, на военных сборах под Красноярском, когда, стоя на посту, он в одиночестве выпил “маленькую” водки, а потом стрелял из “калашникова” в воздух и пел “хава-нагила”. Тогда его, способного студента, спас парторг кафедры. Сейчас спасения не было. Дирекция банка “Маоз” пронюхала об утечке информации и начала негласное расследование. Круг смыкался.

Гриша крепко обнал Лиор за талию. Они были совершенно одного роста, только Лиор стройная, а он поросенок, “хазирон”, как он сам себя называл.

- Что с тобой?
- Я тебя люблю.
- Вдруг?
- Я тебя всегда люблю.

Так, в обнимку, они дошли до площади Пальмаха, хрустя листьями и корой эвкалиптов, осыпающихся круглый год. Площадь была еще пуста. В середине у скульптуры “Помянем сынов наших”, состоящей из трех красных поставленных друг на друга кубов (подарок мисс Барбары Флейссман, Хьюстон, Техас), маленький обезьяноподобный человечек по кличке Хомейни соорудил из трех куч мусора одну, в страстном упоении трудом – живая иллюстрация социального учения А. Д. Гордона. Угловой киоск “Шлом а-Галиль” был уже открыт.

Лиор подошла к нему купить леденцов – старая детская привязанность. Проспер Ваакнин, хозяин киоска, протянул ей леденцы и, потрепав по щеке, сказал:

- Потом как-нибудь рассчитаемся.
- Что вам надо от моей... подружки? – заволновался Гриша.
- Ты оле-хадаш, я тебя не понимаю, – ответил Проспер и пустил ему в лицо струйку дыма. Видно было, что он волнуется не меньше Гришиного.

Пепел сигареты упал ему прямо на темно-синий в горошек галстук. Гриша оглянулся в поисках Лиор. Она уже стояла на остановке. Гриша отошел от киоска, приблизился к ней и взял за узкую холодную руку. Лиор продолжала смотреть перед собой. Гриша проследил ее взгляд. Он был направлен на девятиэтажную гостиницу для репатриантов, высившуюся через дорогу. Там ничего особенного не было.

- Лиор!
- Что?
- Что-то случилось?

- Не знаю. Гриша, я, может быть, задержусь сегодня в кибуце.
- А в чем дело?
- Не знаю.
- Ну скажи...

– Оставь ты меня в покое сегодня! – Лиор выдернула свою руку и резко повернулась, изогнувшись и став как бы меньше ростом. – Оставь меня в покое сегодня, понял?

Подождал автобус и заглотил Лиор и солдат обоего пола с близлежащей базы "Йошуа" (на плече – изображение танка, выкатившегося из пасти льва).

В банке Гриша сел за свой стол и начал бесцельно перебирать бумаги, оставшиеся со вчера. Ципи, секретарша, подошла к нему, виляя бедрами, и сказала:

- Цви, в восемь тридцать будешь у директора...

Гриша посмотрел на часы. Было восемь двадцать две. Подождя, пока Ципи уйдет, он встал и вышел из банка. Коммерческий шпионаж, в который он был вовлечен, вот-вот должен был раскрыться. Он пошел было домой, но на полпути передумал и решил заглянуть в "Ронит" выпить "колы".

У самого кафе зеленоглазая девушка с распущенными волосами, в солдатской форме, с золотым магген-давидом на цепочке в вырезе гимнастерки, едва сдерживая смех, голосила перед щуплым, похожим на птенца офицером:

- Я к тебе со всей душой, а ты? Ты меня не любишь, да? У тебя другая, да? Скажи мне, кто она, я ей все глаза повыцарапаю. Офицер стоял молча, бледный и печальный.

Шимон, в сером костюме и темно-синем галстуке в горошек, вышел из-за стойки и направился прямо к Грише. Широко улыбаясь, он спросил:

- Ты пришел уплатить за разбитую посуду?
- Разве я что-нибудь разбил?
- Конечно, мой милый, конечно. Вот счет! Ты, может, иврита не знаешь, так я тебе прочту: мраморная крышка стола, три хрустальных пепельницы, зеркало в туалете.
- Но это же не стоит ста тысяч!

– Стоит, стоит, для тебя еще как стоит. – Улыбка на лице Шимона стала еще шире. – Инфляция, понимаешь? Сегодня не заплатил – завтра себе дороже.

- Я здесь вчера не был.

— Это неважно. Скажем, подруга твоя была. Роскошная девушка, не правда? А ебется как!.. Верно, ребята?

Гриша судорожно обернулся. За его спиной стояли трое в серых пиджаках и темно-синих галстуках в горошек. Все трое широко улыбались.

— Шимон! Опять задираешься? — перед кафе возник заместитель мэра Эли Ваакнин. Шимон моргнул глазами и удалился за стойку, где рядом с фотографией премьера и местной футбольной команды соседствовало теперь быкоподобное лицо министра обороны и похожий на редьку начальник генштаба.

Эли Ваакнин, полный человек в сером костюме, прошествовал на антресоль, предназначенную для особо почетных гостей. Гриша испытал ни с чем не сравнимое облегчение.

Он пришел домой, рухнул на постель и проспал, не просыпаясь, четырнадцать часов подряд. Когда он проснулся, Лиор все еще не было. Тогда он встал, завел "субару" и поехал в полицию.

"Маарив" от 15 августа 198... года:

"... Убитая Джинни Фархи, как удалось узнать нашему корреспонденту, была правой рукой знаменитого Абу-Кассаха (он же Зогар Барселона) — короля преступного мира. Ее тело было найдено в трех километрах от центра кибуца Кфар-Майзелис, где она в последнее время работала воспитательницей в детском саду... Убийство связывают с сетью коммерческого шпионажа, которая расстроила предполагаемую сделку между банком "Маоз" и трестом "Дженералз". Об этом смотри нашу корреспонденцию на стр. 9..."

\* \* \*

Гриша Шехтман живет с мамой в доме номер 107 по Аллее Сионизма. В его комнате много книжных полок. На полках стоят собрания сочинений Анатоля Франса, Генриха Манна и Шолом-Алейхема. С ними соседствуют "Архипелаг ГУЛаг" и брошюры, несущие свет иудаизма в массы репатриантов. За книгами — номера "Пентхауза" и "Плейбой", которые Гриша прячет от мамы. Окончив рабочий день в банке "Мивцар", Гриша ложится на постель и читает Солженицына. Он знает "Архипелаг ГУЛаг" почти

наизусть, и у него есть свои излюбленные места, к которым он возвращается с некоторыми интервалами, чтобы не наскучило.

— Гриша, ты пойдешь ужинать? — спрашивает мама из соседней комнаты. Она очень обеспокоена сидячим образом жизни сына. “Хоть бы гулять вышел”, — думает она. Впрочем, она сама тоже не любит гулять среди эвкалиптов и олеандров. Много мух и вся эта молдавская публика, как она выражается.

— Где-нибудь перед “Мабатом”<sup>\*</sup> — отвечает Гриша на вопрос мамы об ужине.

— Ты бы хоть серию<sup>\*\*</sup> посмотрел, а то все хадашот<sup>\*\*\*</sup> да хадашот. Как ты думаешь, выйдет Элизабет замуж?

— Какая Элизабет?

— Ты же видел прошлую часть?

— Думаешь, я помню? — и он утыкается в описание лесоповала. Морозов. Жестокостей чекистов.

Через полчаса он слышит, как мама кричит во двор:

— Эмик! Иди ужинать.

— Сейчас, дода<sup>\*\*\*\*</sup> Раая! — откликается Эмануэль.

---

\* Ежедневный выпуск телевизионных новостей.

\*\* (эмигр. русский) — многосерийный телефильм.

\*\*\* (иврит) — новости.

\*\*\*\* (иврит) — тетя.

*К. Тынтарев (р. 1956, Ленинград) — математик, в Израиле с 1979 г., живет в Иерусалиме. Его рассказы публиковались в израильской русскоязычной прессе.*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО “МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”  
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ  
КИРИЛЛ ХЕНКИН  
“РУССКИЕ ПРИШЛИ!”**

**300 стр.**

**14 долл.**

В своей новой книге известный автор (“Охотник вверх ногами” и другие) задается вопросом о том, как формировалась “третья эмиграция”. Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции “Свобода”? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданности...

**Заказы и чеки принимаются по адресу: “Москва—Иерусалим”, п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.**

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бывает, говорит человек что-нибудь с жаром, как вдруг вылетает у него изо рта брызга слюны и — прямо в собеседника. Или же — посреди обеда — в чужую тарелку. Такое случилось с юношей по имени Шкурца. Он сидел летним вечером на скамейке в общественном саду возле девушки, которую был страстно увлечен, с волнением говорил о своей жизни — очень откровенно говорил и не без дальнего прицела — и когда наконец сказал, глядя ей прямо в лицо, "я люблю тебя!" — изо рта у него вылетела брызга ей на подбородок. Девушка была ошеломлена, отдернула голову назад, но тут же вернула ее в прежнее положение и сидела неподвижно, а под нижней губой у нее, словно покрытая пеной жемчужина, блестела маленькая мокрая капля. Из деликатности девушка не стерла слюну, ей неприятно было смущать парня, поэтому она сделала вид, будто ничего не случилось, застыла на месте — одни только глаза, что на секунду забежали быстро-быстро из стороны в сторону, свидетельствовали о каких-то лихорадочных мыслях, промелькнувших у нее в голове. Шкурца не знал, как себя вести. Притвориться, что ничего не заметил? Оставить свой

*Ханок Левин*

**ЧЕТЫРЕ РОМАНТИЧЕСКИХ  
ПРОИСШЕСТВИЯ  
НА САДОВОЙ СКАМЕЙКЕ**

плевков там, где он есть? Стереть его пальцем и извиниться? Или поцеловать девушку и, как бы между прочим, уничтожить его языком или губами? Он не знал, что ему делать, а потому вообще ничего не сделал.

Прошла долгая минута. Девушка никак не могла отвлечься от этого плевка, она ощущала его на подбородке, словно ожог, от которого пылала вся кожа на ее лице. Шкурца испытывал ужасные страдания, он смотрел в землю, переводил взгляд на звезды, от нервного напряжения у него перехватило в животе, он неудобно ерзал в поисках какой-нибудь разрядки. Желая хоть что-то сделать, он увидел лист, упавший к его ногам с дерева, нагнулся поднять и при этом вполне случайно и неожиданно, словно легкий храп, испустил ветры. Звук был негромкий, но в безмолвии, царившем в саду, это прозвучало, как взрыв гремучей ртути. Он подпрыгнул и сразу же уселся совершенно выпрямленный, будто не веря тому, что вытворяет с ним его перенервничавший организм. Дабы затушевать случившееся, он стал шумно, с силой колотить ногой по земле, а вдобавок режущим слух фальцетом пропищал: "Пойдешь за меня?", в то же время рукой, что была дальше от девушки, отчаянно пытался разогнать у себя за спиной вонючий воздух по ночным просторам. Девушка снова была шокирована — второй раз за одну эту минуту, — когда услышала исторгнутое им неблагозвучие, она опять напряженно застыла, но все же пыталась сделать вид, будто ничего не слышала и ничего не произошло. Однако Шкурца, мельком взглянув на нее сбоку, сконфуженно убедился, что она не дышит. Она сидела неподвижно, словно забитая в землю свая, затаив дыхание, пока не пройдет запах, но, как ни старалась сохранить на лице выражение обычной беззаботности, все же натянутая верхняя губа да нос, что слегка морщился от отвращения, выдавали ее. Глаза ее были опущены, но боковым зрением она заметила, как по лицу Шкурцы пробежала болезненная судорога, и девушка подумала, что если отвергнет сейчас его брачное предложение, то он истолкует ее отказ так, будто она придает всему этому какое-то значение — и тому, что он обрызгал ее слюной, что нечаянно пукнул, — да, поди, решит, что она нелиберальна и вообще мелочная девчонка, а еще пытается о нем судить по своим узким и отсталым взглядам. Поэтому она поспешила исправить впечатление, которое, возможно, произвела, и с усилием, словно губы у нее одеревенели, но теперь уже ясно показывая лицом, что ничего не случилось,



хотя и голосом более густым, чем ей хотелось, сказала: “Да, я согласна пойти за тебя”. И рука Шкурцы, еще пытавшаяся отчаянными движениями развеять облако вони, которое никак не желало исчезнуть, застыла в воздухе.

Когда они рука об руку уходили из сада, в сущности уже жених и невеста, — девушка с опущенной в раздумье головой и юноша, вдыхающий воздух полной грудью, — капля слюны уже высохла, а вонь разошлась и бесследно растворилась в пустоте вселенной. И хотя девушка убеждала себя, что такие, вроде бы несчастные, а по существу, пустяковые, случаи вовсе не свидетельствуют о самом человеке, она не радовалась, совсем не радовалась будущему, ожидающему ее. А Шкурца был уже не так взволнован. Его потная рука держала ладонь девушки пока еще неуверенно, но теперь он говорил, не разбрызгивая слюны, и работа его кишечника уже вполне наладилась. Шкурца был спокоен и беспечен, речь его плыла, как рыба в воде, а девушка, его будущая жена, шедшая рядом с ним и опирающаяся на его руку, была ему слегка противна, и это чувство у него только усилилось после того, как они покинули сад.

#### РАЗОЧАРОВАНИЕ

Один чувак сидел под вечер на скамейке в саду с чувихой на предмет ее поиметь. Был он не то чтоб уж очень молод, этот чувак, да и чувиха была несколько поблекшей. Когда-то она была чуток миловидной, но это у нее прошло. Правда, она пробудила у чувака некоторую охоту, но охота эта возникла у него оттого, что она была все-таки женщиной, да еще к тому же встретились они в саду, у излучины моря, и вообще, чувак в принципе был не прочь. Жаль было ему этого чудного вечера на лоне свежей, вечно молодой природы, — в самый раз обстановка для встречи с клевой бабой, а он тут разменивается на кусок пресного, вяленого мяса. То-то же останется приятное воспоминание, чтобы похвастать перед корешами... Холоден и разочарован, сидел чувак, опустив глаза, и вдруг посмотрел на нее сбоку. Она сидела, уставившись прямо перед собой, обратив к нему свой профиль, облитый синеватым, слабым светом луны, взошедшей над морем. И тут случилось то, что случается у некоторых некрасивых женщин, случается изредка, да и то — если смотреть на них при известном освещении и под строго определенным углом: лицо ее

на какое-то крохотное мгновение стало приятным, и вот уже видение исчезло. Но чувак успел вовремя зажмурить глаза, чтобы запомнить и сохранить в своем воображении это промелькнувшее очарование, приблизил свои губы к ее губам и — поцеловал. Губы ее были холодны, впрочем, как и его губы, и, прикоснувшись к ним, он почувствовал себя так, будто поцеловал огурец. Наверное, и ей мечталось найти себе такого парня, чьи чары заставили бы всю слизь ее страсти хлынуть, словно из родника, мощным и жарким любовным потоком. Но, увы, ее кавалер был не таков.

Несколько поодаль от места холодного поцелуя, шагах в пяти, за изгородью из невысоких кустов, прятался и подсматривал человек. Уже с полчаса стоял он, пригнувшись в тени кустов, и сверлил косым взглядом пару, сидящую на скамейке, ждал, когда в конце концов разразится буря страстей. До чего же ты мучительно сурова, жизнь соглядатая. Нет у него собственных ночных радостей, словно этакий сексуальный гриб, подглядывает он искоса за кострами страстей, что разожжены не для него, греется у них украдкой, охвачен страхом, кабы не застучали, взволнованный, немой свидетель, с разинутым ртом взирающий на жизнь, что проходит мимо него. Вон он — стоит, пояс расстегнут, брюки приспущены, одна рука время от времени потирает член, чтобы разморозить, разогреть его. Он ждет и ждет, но все понапрасну. Трудно ночью разглядеть, однако он-то уже знает: чувиха некрасива и сконфужена, а чувак серый и холодный. И этот холодный чувак не щупает у нее грудь, не задирает ей платье, не всаживает в нее свой страждущий... словом, лютый, гнетущий мороз, а не чувак. Сколько можно стоять, согнувшись за кустами в таком напряжении? Уж спину ломит! И ночь на исходе. Разве это жизнь? Вот красавица блондинка из Скандинавии и молодой южанин-брюнет — те мяли друг друга, так это да! У соглядатая тогда аж дыхание сперло, а член сам по себе вскочил да ка-ак плюнет!.. А тут? Не красавица блондинка и не южанин-брюнет, а так, две соленые галицийские селедки. Член совсем вскакивать не хочет. Ободряешь его, ободряешь, а он пугливо приподымется да сразу и опадает, будто в обмороке.

Там, где кончались кусты, пролежала в саду тропинка, а по другую ее сторону росло дерево, все усыпанное цветами, и под ним укрывался, слегка съжившись, любитель мужчин, который жадно смотрел на зад соглядатая, стоявшего как раз спиной к нему. Какую часть он любит больше всего, любитель мужчин?

Всем известно: любит он это приданное мужчине сзади мягкое, круглое, расчлененное надвое место, из которого ноги растут. Женские же ягодицы, на вкус любителя мужчин, — пища для простолюдинов, пресная и дешевая, вроде арбуза в летнюю пору: нести тяжело, душа вон, пока дотащишь до дому, опротивеет и к тому же одна вода. То ли дело мужские! Они напоминают, скорее, орехи: маленькие, плотные, упругие — мышца так мышца! Короче, настоящее яство. Мало их, этих любителей пощелкать орехи, в сравнении с пожирателями водянистых арбузов. Большинство из них сжигают себя по ночам в испепеляющих грезах, лежа в своих постелях или сидя в кино. Они видят на светящемся экране прокурора — спортивного вида молодого мужчину, сидящего на стуле, — а напротив него красавицу, обвиняемую в убийстве, и кем из них они себя в этот момент воображают? Понятно же, стулом, к которому крепко прижата прокурорская задница. А если они видят тайного американского агента, стоящего спиной к стене, и русских солдат, надвигающихся на него с оружием наизготове, то кем в этом случае? Стеной! Знайте же, высокоуважаемые кинозвезды, что в то время, как вы разговариваете, стреляетесь, целуетесь, стоя лицом друг к другу, кто-то тайно разыгрывает целый роман с вашими задами. Ночью после кино бродит этот охотник до мужчин по улицам или высматривает в саду, окончательно изнывая в мучительной тоске по задней стороне человека. И вот, наконец-то попалась ему пара ягодиц, и он с заоблачных вершин, куда вознесло его кино, от американского прокурора и тайного агента в один прием катапультирует в бездну отвратительной действительности, к ничтожному, пугливому, немолодому мужику, стоящему задом к нему со скупердяйски приспущенными штанами, так что и обнажен-то лишь малый, плоский и волосатый клочок этой жалкой, поношенной кожи, натянутой на тощих бедрах, а под ними — узкая полоска несвежих подштанников и пара линялых брюк, и — ничего кругленького, лоснящегося, нежного, никакой гибкости, утонченности — одна удручающая дешевка. О, Азия, Азия, измученный голодом материк, китайцы, индийцы, мусульмане, миллиард разинутых ртов, перевороты и землетрясения, и задницы — кожа да кости.

Возле дерева, под которым стоял любитель мужчин, была травяная лужайка, а посреди нее — небольшая цветочная клумба. На этой клумбе стоял на своих четырех, вовсе не думая пря-

таться, кот. Стоял, направив два блестящих глаза на туфлю любителя мужчин. Чего может хотеть кот, стоя летним вечером на цветочной клумбе в саду? Обычно кот хочет мышь или птицу, но в этот поздний час перед сном он предпочел рыбу. Рыбы же дремлют теперь в глубине недвижимого моря, мыши спят в своих норах, птицы — в кронах деревьев, а коту остались цветы. Но цветы его невыносимо злят. Что коту от цветов? Сосать их и источать мед? Припилить цветок за ухом и охмурять очередную кошку? К черту цветы вместе со всей красотой агрономических достижений! Кот хочет рыбы! Рыбы!! Напряженно выгнув спину, он как замороженный смотрит на истоптанную, нечищенную остроносую туфлю любителя мужчин. Ее скольжение по траве создает в воображении кота силуэт рыбы — вначале земной, прозаический, который затем превращается в сияющее небесное видение. Пленный на несколько мгновений своим обманчивым воображением, он почти бросается на рыбу, но образ ее тускнеет и гаснет, и опять перед ним туфля, всего лишь туфля, а ему так хочется рыбы, и вновь разгорается огонь воображения, что-то движется, рыба трепещет, и туловище кота напрягается... но нет... опять туфля, просто пыльная туфля.

Так стоят они чередой, измученные низкие твари, и каждая из них питает столь большие надежды: кот в смертельной тоске глядит на пыльную туфлю охотника до мужчин, тот из последних остатков своего душевного пыла всматривается в плоский, волосатый клочок тела соглядатая, а этот жадно наблюдает за двумя удивительными созданиями, что сидят на скамейке, переглядываются и запечатлевают друг на друге мокрые, липкие поцелуи, в которых топят свои вожеления.

О, сколько надежд, которые невозможно осуществить, возлагает каждый из них в мучительном ожидании на того, кто находится перед ним! Но если бы все они повернули головы назад и увидели разочарование и муки, что они причиняют — каждый из них тому, кто стоит позади, — разве нашли бы они в этом какое-то утешение?

#### ЮМОР

Когда юноша по имени Бейсерглик, сидя вечером на скамейке в саду, попытался потрогать грудь девушки, последняя с рассчитанной мягкостью отвела его руку. Девушке стало понятно, что он

страстно ее желает, а посему с ним можно, не откладывая, начать серьезный разговор. Опустив глаза и томно улыбаясь, она спросила его, что он думает, то есть не вообще, а, например, конкретно о самом себе, о ней да о них двоих — в личном плане, понятно (государство в тот вечер ее не интересовало), — о их общей совместной жизни, главным образом — в будущем; понятно, что не в самом ближайшем будущем, а в более отдаленном, в дальней перспективе, как говорится, о их будущем, оформленном в законном порядке, вот именно, отныне и до самой смерти, — как раз обо всем этом она хотела бы от него услышать и — как можно скорее. Правда, она не требует от него уже сейчас оформления каких-то обязательств — у нее тоже не горит, чтобы так уж быстро бежать под венец, — но, с другой стороны, он может быть уверен — и тут в ее голосе послышались нотки сдержанного гнева, — что если он стремится к легкой добыче, быстрой победе, к спешной разрядке животных страстей, то должен знать, что пару нашел себе неподходящую. Мужчина может добиться ее, если она ему очень и очень желанна, но не так скоро и — ценой страданий, тяжелых усилий и затрат; у нее разрядки страстей удостоиваются уже усталыми стариками, и грудь у нее так запросто не трогают: всякое прикосновение непременно должно быть обосновано определенным тезисом — а каков же он, его тезис? Брак или же неупорядоченные отношения? И пусть он ни секунды не думает, что сможет бегло изложить свои тезисы и наброситься на ее грудь, — не-ет, сударь, вам придется крепко защищать свои тезисы, она подвергнет самой резкой, убийственной критике этого Бейсерглика, мелкого воображалу, никому не известного мышонка, чье имя можно найти разве что в телефонной книге, если у него вообще есть телефон.

Бейсерглик сидел вспотевший и пришибленный. Верно, парень я серьезный, размышлял он, не отнимешь, однако и серьезные парни нуждаются время от времени в небольшой разрядке. А его заставляют вместо этого делать доклады и давать обязательства. Где же колдовство страсти? Где тут игра? Где все это легкомыслие, о котором пишут в журналах? Весь мир погружен в развлечения, а Бейсерглику потеть?!

Девушка ясно высказала все, что у нее было, и теперь сидела на скамейке удовлетворенная, словно праведник, что съел обильную, жирную трапезу и вот-вот рыгнет, воздавая благословение Господу. Довольная собой, она вобрала подбородок, так что на

шее у нее выпятилась и провисла жировая складка, а на складке обнаружилась маленькая бородавка, из которой произрастал волос. Бейсерглик, ранее не замечавший волосатой бородавки, поскольку ему не представлялось случая рассматривать эту девушку снизу вверх, с секунду смотрел на нее, и легкая волна отвращения обдала его. Это ведь все равно, что войти в уборную американского дипломата и увидеть коричневую брызгу, размазанную на стенке унитаза. Девушка утратила в его глазах все свое достоинство. Что тут много рассусоливать да цацкаться с этим унитазом, сказал себе Бейсерглик, не может быть, что она такая привередливая, не слишком-то на нее бросаются, наверняка можно выказать ей свое пренебрежение, да ей это даже понравится — небось, даст пощупать и без изложения всяких там тезисов. Он, не откладывая, вновь протянул руку к ее груди. Девушка не любила свинства. Она отстранила его потную ладонь, встала, оправила рукой подол платья, измятый при сидении, и пошла энергичными шагами.

Бейсерглик всю жизнь полагал, что женщина, разглаживающая платье на своем заднем месте, проявляет большую наглость и бросает вызов мужчине, находящемуся позади нее. Он тотчас вспыхнул, метнулся вперед и с размаху нанес порядочный пинок по этому большому, тучному заду. Девушка схватилась обеими руками за свое обильное сокровище, остановилась и повернулась к нему. По ее лицу разлилось выражение безграничного изумления, она просто не верила тому, что произошло. Она смотрела на него так, будто видела впервые, и резким голосом спросила: "Что ты делаешь?"

Бейсерглик отступил назад, полный страха перед тяжким наказанием за содеянное, и, опустив голову, уставился в землю.

"Что ты делаешь?" — снова спросила девушка, зло сощурив глаза, будто желая пронзить его взглядом. Она добилась: он раскаивается, он унижен и сконфужен, но она не снизойдет к нему с тех вершин, где обитает, на презренную низменность его поступков — напротив, тяжелой карой за эти его поступки будет то высокомерное презрение, которое она испытывает к нему, этому несчастному дебилу. И она вновь, вобрав подбородок и обнажив волосатую бородавку, развернулась, обратив свои ягодицы к Бейсерглику, и зашагала с сознанием собственного достоинства.

"Криц-приц", — издавали ее трусики царапающие, тонкие звуки, а ягодицы ее все удалялись, совершая вызывающие и непристойные

колебания прямо перед физиономией этого смехотворного Бейсерглика. Он бросился, настиг ее в два больших прыжка, занес ногу и снова увесисто лягнул в эту большую, тучную задницу. Ягодицы ее — упругий, хорошо смазанный механизм — отпрянули, затем колыхнулись обратно, и она, стремительно развернувшись, с лицом, искаженным от гнева, и вытягивая для удара руку, прыгнула на него. Но девушка — она ведь неуклюжа, неповоротлива, пухлая, что твой кулич, а у Бейсерглика ноги, как у лани, особенно в слабую минуту. Он быстро отбежал назад и остановился. Девушка шагнула ему вдогонку раз или два и тоже остановилась. Смешно было на нее глядеть. Куда делось высокомерное презрение к дебилу? Языки яростного пламени освещали ее искаженное лицо и вместе с голосом, столь же обезображенным, как и лицо, рвались к Бейсерглику.

“Скотина! Что ты делаешь?! Скотина! Что ты делаешь?!”

О-о, вдруг она перестала понимать, что он делает, что вообще происходит, вдруг оказывается, что она не такая уж умная, она целиком потрясена — вместе со всеми своими тезисами и волосатой бородавкой на жировой складке. Предложи он ей вдруг посреди Судного дня обед по-китайски — это она поймет, это ее вдохновит, еще посчитает его человеком интересным и незаурядным. Еще бы, жрать змею в середине Судного дня — вот это да! А получить вечером буднего дня пинок по своей большой, жирной жопе — это нет, это для нее непостижимо.

Но поскольку сил настичь его и ударить у нее не хватило, и, кроме этих раз шесть брошенных ему в лицо “Скотина! Что ты делаешь?!", ей нечего было противопоставить его ляганию, девушка простояла еще с минуту молча, будто приросла к месту, а затем, в усилии соблюсти на своем лице выражение превосходства и высокомерного удивления, вздернула брови, повернулась и продолжила свой путь. А что ей оставалось делать? Не могла же она простоять в саду всю ночь — она же не дерево и не урна для мусора, — а идти вперед, вывернув голову назад, в сторону Бейсерглика — еще споткнешься обо что и упадешь под его ликующий смех, — да такое было бы высшей наградой этому дебилу за его выходки. Увы, придется удалиться от него самым что ни на есть естественным способом — что она и сделала. Но Бейсерглик неожиданно исполнился великого гнева на это чудовище с тезисом вместо головы и толстой, жирной жопой, пожирающее змею в середине дня святого поста, и, как только этот монстр отвернулся

от него, чтобы продолжать идти, прыгнул и в приступе религиозного фанатизма в третий раз врезал ему по корме. И снова содрогнулись ее ягодицы, она остановилась, повернулась и уставилась на него — не произнося на этот раз ни слова. Похоже было даже, что выражение лица у нее немного смягчилось. Брови не были уже вздернуты, а маска превосходства и высокомерия будто спала, так что гневное безобразие ее лица сменилось уродством менее отталкивающим, более симпатичным, даже пробуждающим в глубине души сострадание. Она стояла против него, обыкновенная девушка, в сущности, еще девочка, которой надавали по попе, как будто сам рок наносит удар за ударом по этой вызывающей жалость невинности. Так она стояла, и безмолвный, вечный как мир вопрос был в ее глазах: "За что?" Видно было теперь по ее скучившемуся лицу, что она в самом деле вот-вот заплачет. И стыд за содеянное морозом продрал вдруг Бейсерглика. Еще немного, и он сам разревелся бы, позор такому негодяю, ему подобает испытывать страшные муки совести и сожалеть, что вообще появился на свет. Однако еще больше, чем стыд за свои выходки, причиняло ему боль сознание того, что нет ему возврата и нет ему прощения. Воистину, факт — тварь бесхитростная, но и бескомпромиссная: что сделано — сделано, что с языка — или с ноги — сорвалось — и то, что обратилось в реальный факт, никогда уже не изменится. С первого-то взгляда это как будто даже разумно, что этакий малюсенький, дурацкий фактик должен быть менее устойчив, нежели какой-то важный фактище. Ан нет, являются законы действительности и опровергают это: женщина — автор философского труда — ведь факт же, и, скажем, легкий ночной храп — тоже факт; два этих факта существуют, оба устойчивы и не подлежат обжалованию или отмене, и никуда ты от них не убежишь, оба они монументы факта в пантеоне действительности. Вот ведь смехотворная реальность: как это больно, сколь ужасно, когда предстают перед тобой факты чьей-нибудь трагической жизни; но во сколько раз больней и ужасней факты маленькие, презренные, нарушающие дешевые представления о стыде, факты настолько незначительные с виду, почти улетающие, что могли и вовсе не быть, — такие, что можно с легкостью их предотвратить, а если не предотвратить, то, по крайней мере, ими пренебречь, — факты, которые произошли от нечаянного поступка; и вот теперь они существуют во всей своей законной силе и вымазывают нас салными пятнами, которых уже



никогда не стереть. Вот, скажем, сидит человек, обедает и вдруг замечает на тыльной стороне своей ладони маленькую крошку. Он встряхивает рукой, но крошка не падает. Тогда движением пальца он слегка толкает эту крошку — она не сдвигается. Еще раз — крошка ни с места. Ему становится понятно, что крошка пристала к руке, он принимается соскабливать ее ногтем, а затем снова толкает пальцем — крошка все там же. Он опять скоблит ее ногтем, прежде поспевав его, энергично растирает крошку, чтобы размягчить ее, несколько минут трет ее, трет да трет, от этих энергичных усилий аж кожа у него покраснела, но только крошка так и не сброшена. Он подносит руку к глазам и хорошенько рассматривает, и — вот оно что! — это вовсе не крошка, это родимое пятнышко, ранее не замечавшееся им, такое маленькое и ничтожное, но — вечное. Таков он, факт, господа. Или вот, презренная, абсолютная мелочь — пинок по седалищу девушки, разновидность ничтожного факта — ему бы кануть в вечность, — а он успел за один миг удвоиться, и утроиться, и обернуться в трех горбатых мегер, что будут преследовать Бейсерглика отныне и до самой смерти.

Стоя с этими мыслями перед девушкой, Бейсерглик был охвачен жалостью к самому себе, чувствовал себя погубленным, оставленным, брошенным в отвратительном и злом мире. И когда девушка снова отвернулась от него и продолжила идти, на этот раз вся какая-то поникшая, даже ягодицы двигались теперь скромно и застенчиво, Бейсерглик последовал за нею, полный обиды и горечи. И словно маленький ребенок, который повторяет свои проказы снова и снова, потому что ему кажется, что нет у него выхода и он вынужден их продолжать, пока не исчерпает всю обиду и не успокоится или не получит хорошего шлепка и тогда разразится горьким плачем, приносящим облегчение, знал теперь Бейсерглик, что начатое он не оставит. Он приблизился к девушке сзади, сделал скачок и в четвертый раз заехал по ее большому, тучному заду, впервые прицелившись на этот раз узким носком своей туфли в эту дурацкую щель между двумя его половинами — нововведение свежее и смешное. Девушка взвилась в воздух, вернулась на землю и — даже не обернулась на этот раз. Бейсерглик расхохотался. Девушка была уверена, что он рехнулся. Она ускорила шаги, почти бежала, вернее, катилась. А Бейсерглик преследовал ее и бил, настигал и бил, хорошо, всласть,

по ее большой, тучной заднице и смеялся ликующе и с молодым задором.

Вот уж забава что надо — лягать по женским ягодицам, — игра, доставляющая истинное наслаждение, дар Божий мужчине за перенесенный им стыд. Какой он невесомо легкий, взмах ноги — движение, в коем переплелись спорт и танец. Как приятно коснуться тяжелой стопой нежнейших женских ягодиц! До чего жаль, что удар по седалищу не может заменить собой эту вынужденную, утомительную обязанность поднимать слабый, обнаженный, беззащитный член и с усилием втискивать его в переднюю женскую дырку. Ведь в сравнении с ним насколько тверже носок ботинка всегда прямой, готовый, начищенный, торчащий. Бац! — воткнул его даме сзади, и раздеваться не надо, а еще в этом есть что-то удивительно смешное, в то время как при общепринятом лежании с женщиной в постели ни тебе комизма, ни радости нет никакой, ни юмора, все так мрачно, натянуто, напряженно, физиономии искажены, тела потеют, дыхание тяжелое, крики, причмокивания и стоны — подслушивающий за стеной может подумать, что пять старух собрались там вместе и агонизируют, — мужские бедра колошматят по женским, а женские — по кровати, кровать удручающе пищит и стучит об пол, от этих злых ударов этажом ниже с потолка осыпается штукатурка — прямехонько в раскрытый рот старика, больного астмой, который от этого раздражается страшным кашлем и задыхается насмерть еще до рассвета; и наконец, ослабевший, охваченный головокружением, ты идешь в ванную и подмываешься, мочишь полотенце, возвращаешься с ним в комнату, счищаешь пятна на простыне, бросаешь полотенце обратно в ванную, снова возвращаешься в комнату, облачаешься в пижаму — а она, кстати, тоже немного испачкалась во время всей этой суматохи, — забираешься в постель, тушишь свет, укрываешься одеялом, а ко всему этому еще не забыть про поцелуй — тоже мокрый — своей подруге, от которой все еще воняет, лежащей, раскорячив ноги и тупо уставившись в потолок, да еще спрашивающей у тебя, нет ли чего покушать. Какая уж тут радость? Зато нет ничего лучше чистого, гигиеничного пинка: стопу ноги облегает носок, носок ботинка, и ты лягаешь по седалищу, не пачкаясь, не вымазываясь слизью — все сухо, чисто и весело.

У выхода из сада девушка пошла уже медленной, очень медленной походкой, она поняла, что спешка ей не поможет. Она шла

сгорбившись, горько рыдая от страшной обиды, а позади нее двигалась фигура мужчины, то и дело подпрыгивающего, блеющего, как козел, и мощно лягающего ее по ягодцам, так что вместе с верхней половиной ее тела, содрогающейся от плача, хотя в ином несколько ритме, но все же весьма гармонично, при каждом его пинке сильно сотрясалась вперед и назад и нижняя половина.

Когда же девушка вышла из сада на улицу, Бейсерглик оставил ее, он боялся снующих там прохожих, а в особенности – патрульной полицейской машины, которая могла случайно появиться в любую минуту. Он остановился у ворот сада, прислонился к дереву и глядел вслед девушке, в безысходных рыданиях уходившей в ночную тьму, а вместе с ней удалялись и исчезали удивительные, комические образы. Однако же, чувствовал Бейсерглик, оставалось еще что-то неполностью выраженное, какое-то незавершенное, не исчерпанное до конца переживание.

Он ненадолго вернулся в сад, порыскал по тропинкам, нашел кучку свежего собачьего помета, сунул в нее носок своей туфли, а затем на одной ноге поскакал обратно к воротам и там стал ждать. Редкие прохожие, в большинстве обнявшиеся пары, следовали перед ним. Он ждал. Спустя этак четверть часа одиноко прошла маленькая ветхая старушка. Он быстро подскочил к ней и пнул по задку. Старуха на секунду остановилась, глянула на него, испустила вопль на всю Европу и в панике засемила прочь, довольно-таки быстро, не ведая о том, что уносит с собой грязный, вонючий мазок. Вот будет ей дома сюрприз! Она войдет и всюду, куда ни ткнется, будет чуть отвратительный запах; сперва поищет его источник во всех углах, потом стащит с себя подштанники и обследует их изнутри, хорошенько проверит подметки своих туфель, а затем, отчаявшаяся и усталая, в то время, как вонь забивает ей нос, опустится в кресло и от злости на эту таинственную, неизбывную вонь, преследующую ее, заплачет так горько, как и в трауре не плачут, а между тем этот мазок на ее платье прилипнет также и к обивке кресла, а старуха еще и не подозревает, какая изнурительная, презренная работа ждет ее, чтобы вычистить все это.

Бейсерглик иронически усмехнулся. Только и всего. Казалось ему, что проделал он все возможное в сфере своего комического бунтарства. Пожалуйста: целый град ударов по девичьим ягодцам нанес? – Нанес. Платье старухе измазал? – измазал. Чего еще

можно требовать от смертного? И все же оставалась у него какая-то неудовлетворенность после всего этого. Да и туфля изгажена — как ее теперь очистишь? Смешно, конечно, но жаль. Может, все же лучше было изложить ей тезисы?

### БАНАЛЬНОСТЬ

Парнишка по имени Гиволи не желал произносить банальности. А поскольку мысли у него были сплошь банальные, он старался молчать. Как-то поздним вечером сидел он рядом с девушкой на скамейке в саду, и очень хотелось ему сказать что-нибудь необычное, а он не знал что, Девушка сидела, опустив глаза, и ждала. Время шло, Гиволи не отверзал уст, и девушка начала ерзать на своем месте. Гиволи понял, что надо что-то сказать. Его мысль лихорадочно рыскала по всем областям, в политике, искусстве, в личной жизни, пытаясь отыскать что-нибудь неожиданное — такое, что другой юноша не сказал бы, что принадлежало бы только ему, им запатентовано, подписано и скреплено печатью. Чтобы девушки, услышав могли бы сказать: “Такое может выдать только Гиволи”. Но все, о чем бы он ни думал, мог сказать, к великому его огорчению, любой, кто и не был Гиволи. И он сидел, сомкнув губы, и молчал.

Наконец он ощутил, что так дальше уже совсем нельзя. Или сказать, или сделать что-нибудь, или черт знает что. Потому что девушке уже надоело, ее нервные движения говорили, что она собирается встать со скамейки и уйти домой. Гиволи понимал, что если она сейчас встанет, то он потеряет ее навсегда. А тут еще теснящий комок подкатил к горлу, и Гиволи все пытался побыстрее сглотнуть его — уж как нередко этот комок был ему трапезой в минуты отчаяния! Вдруг девушка оторвала взгляд от земли, с секунду разглядывала его ходящий ходуном кадык, а затем вперила в его глаза, словно говоря: “Ну, Гиволи, что, что?” Гиволи не мог выдержать ее взгляда, его глаза сразу убежали в сторону, он все продолжал трудно и быстро глотать, дюжину глотков сделал и за это время сообразил, что все, потерял ее окончательно и бесповоротно, ничего уже не поможет. На секунду веки его замигали, он раскрыл и закрыл рот, будто готовился промолвить какое-то слово, но ничего не вышло, не было у него никаких оригинальных мыслей, и молчание продолжалось.

Совсем уже отчаявшись, Гиволи решил, что ничего не остается, как попытаться поцеловать девушку: уж тогда-то его губы будут заняты и не обязаны что-то говорить. Ведь нельзя же целоваться и говорить в одно и то же время, зато, наоборот, именно поцелуями можно выразить то, что не дано словам, самое большее — их можно сопровождать неясным бормотанием и стонами. Он потянулся к девушке, приблизился к ее лицу и выпятил губы для поцелуя. Но она отвернулась от него, и его губы уткнулись в ее щеку. Теперь уже было ясно, он наверняка ее потерял. Жжение, почти слезы ощутил Гиволи в своих глазах. И все-таки он поцеловал ее в щеку долгим поцелуем, прервал на секунду, а потом опустил пониже, к шее, и стал целовать ее долго, страстно и жадно. Однако, как ни старался Гиволи придать пылу своим поцелуям, не было в них настоящей страсти. Он уже был напуган своим грядущим поражением, одиночеством, которое окружит его после того, как девушка уйдет, — а он уже знал несомненно, что она уйдет. Дрожь била Гиволи, но он продолжал целовать ее шею, щеку, скулу. Так и бродили его губы сверху вниз да снизу вверх, а девушка сидела, подставив ему свой неподвижный профиль, и нетерпеливо дышала. Снова на секунду прервал Гиволи свои поцелуи, наклонил голову назад, глянул в лицо девушки, еще раз моргнул, открыл рот, словно собираясь что-то сказать, и — опять ничего не нашел, разве что самые обыденные, банальные слова. И снова нагнулся вперед, чтобы оказаться вровень с девушкой и погрузить свои губы в какое-нибудь место на ее шее, заткнуть их ее телом и оправдать это непереносимое, давящее молчание. Он готов был бы так и заснуть — с губами, увязшими в ее теплом теле, заснуть навсегда.

Позже, когда они расстались и девушка на самом деле отказалась с ним встречаться впредь, брел себе Гиволи в одиночестве домой и с грустью копался в причинах своей неудачи. Не лучше ли было говорить банальные вещи? Ведь говорят же большинство парней буквально глупости, а их девчонки ничего, смеются и довольны, еще поддакивают беспрестанно, и рады с ними встречаться вновь и вновь, и в конце концов замуж за них выходят. Да больше того, вот он молчит, а может, само его молчание — оно тоже банально? Много есть молчалников, многие стремятся воздержаться и не говорить банальностей, и много есть на свете Гиволи, но банальность, как ни пытайся ее избежать, сильнее всех. Обо всем уже говорено и переговорено, все молчания перемолчены и вымолчены, и если юноша провожает девушку домой и притом философ-

ствует перед ней, так ведь и это банально. Или, скажем, он озорно подпрыгивает — тоже банально. Даже, к примеру, вытащи вдруг из кармана пистолет да всади себе пулю в башку — и об этом уже наслышались. А если так, то как же жить, думал Гиволи, все продолжая глотать бесконечный кусок, застрявший у него в горле. Как жить, что делать? Как прожить жизнь без того, чтобы принуждать себя к этой деланной молчаливости, не прикидываясь умным? А главное, как облегчить себе душу?

Гиволи повернулся и направился к дому, где жила девушка, и позвонил у двери. Девушка уже успела переодеться в ночную сорочку и, лежа в постели, читала перед сном роман, но все-таки впустила его в дом. Она снова легла в постель и, укрывшись одеялом, уставилась в потолок, а Гиволи сидел на краю ее кровати. И вдруг он разразился плачем. Он сам не знал, как это произошло. Такое с ним еще никогда не случилось в присутствии девушки. Он не прикоснулся, даже не приблизился к ней, а только сидел на краешке кровати и плакал горько, навзрыд, и слезы текли и текли. Он плакал минут десять, вполне обыкновенно, простыми, банальными слезами. А девушка поглаживала его рукой по колену, механически, просто так, не более того. Затем он встал, умыл лицо в ванной комнате и ушел.

На улице ему полегчало — выплакался, да и убедился: и без его умничания не любит она его. Просто не любит, банален он или не банален, прикидывается он умным или ведет себя естественно, она просто не любит Гиволи. Так как же себя вести? Теперь он убедился, что ему ничего не поможет, как бы он себя ни вел. Беда в том, что он Гиволи, а его в этом качестве не хотят, и поскольку перестать быть Гиволи он не может, то нечего делать, просто-напросто нечего и все. И он тер глаза, опаленные горячими слезами, и улыбался самому себе жалкой улыбкой отчаяния.

*Перевел с иврита Валерий Кукуй.*

## СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ (пьеса)

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Эль (юноша) }  
Аль (девушка) } сиамские близнецы  
Кен, профессор  
Им, врач-анестезиолог  
Эт, доктор  
Зот, проститутка  
Хэй  
Судья  
Сын Небес, представитель религиозной организации  
Женщина, представительница женской организации  
Адвокат, представитель юридической лиги  
Сестра в клинике  
Певец  
Полицейский

### К ПРОЧТЕНИЮ ПЬЕСЫ

Актеры, исполняющие основные шесть ролей (Эль, Аль, Кен, Им, Эт, Зот), могут, если того потребуют условия постановки, играть и роли остальных персонажей. Из героев трое — Эль, Аль и Хэй — не являются такими же "реалистическими", как остальные, вполне земные люди. Роли Эль и Аль подходят, пожалуй, для мимов или балетных танцоров, так как мимикой и движением они выражают себя лучше, чем в словах. Ритм, пластика, полная согласованность их движений и речи должны создавать впечатление наивности, детскости, красоты и некой идеальности этой пары. Хэй — явление миров, так сказать, нездешних. На сцене он только потому, что его увидели Кен, Им и Зот.

Фрагменты Пятого концерта Бетховена указывают лишь на характер необходимой музыки и не являются обязательным музыкальным текстом.

Также и Пролог указывает лишь на то, что пьеса может сопровождаться такого рода песенными вставками, комментирующими действие. Но песенка может и не быть, как не быть и приведенного в начале пьесы Пролога. А говоря более широко, текстовая необязательность является одним из основных стилистических и, если угодно, формообразующих элементов пьесы. В тексте имеются реплики и целые эпизоды, помеченные знаком (! !), который означает, что сопровождаемый им фрагмент является приблизительным и что в нем сообщается лишь общий смысл эпизода, его эмоционально-тематический строй, но отнюдь не единственно-точное словесное воплощение "темы". Например, Кен, рассуждая о свободе, может перечислить совсем иные житейские примеры; люди, входящие в кабинет Судьи, могут для отстаивания своих требований выдвигать не те аргументы, что выписаны в тексте, а другие. То же относится к репликам близнецов и т.д. Понятно, что полная "разработ-ка" текста в этих случаях становится тоже необязательной, и тогда бывает достаточным указать лишь длительность соответствующего фрагмента, например: (! ! — 2 минуты).

Этот стилистический прием, именуемый "алеаторика" (от латинского *alea* — игральная кость, случайность), заимствован из современной музыкальной практики, в которой вновь, как это было в прошлом, исполнитель (и, значит, слушатель) становится менее зависим от точного нотного текста. Здесь, конечно, не место обсуждать те различные причины, которые в свое время побудили меня к мысли ввести алеаторику в свои литературные тексты (я это сделал впервые в пьесе-повести "Медведь Великий. Алеаторические записки", 1977 г.). Отмечу только одно: прибегая к этому приему, я рассчитываю на читателя (постановщика, актера, зрителя), который готов делить с автором его работу и при каждом прочтении текста создавать его вновь и вновь, не позволяя ему застыть в словесной однозначности.

Ф.Р.

## ПРОЛОГ (! !)

Полный свет

Певец (*поет под гитару*).

Откиньтесь на спинки кресел,  
Расслабьтесь... Еще... Вот так.  
Истома... покой... Легкость чресл.  
Осветители! Дайте мрак!

*Свет гаснет.* Певец в луче "пистолета".

Прекрасно. Темно, как дома  
Перед экраном "ти-ви".  
Щелчок — и сюжет знакомый



На вечную тему любви  
Прокручивается пред глазами  
То грустный, а то смешной...  
Мы шепчем: "Ах, это мы сами,  
Так было с тобой и со мной!.."

Любимы и нелюбимы,  
Наивны, расчетливы, злы,  
Бесполье, как серафимы,  
И в похоти, будто козлы,  
Речисты и медоточивы  
И скованные немотой —  
Как будто змеи, извивы  
Всевластной любви святой!..

Кому это все надоело, —  
Прошу, господа, в буфет,  
А наша кассирша Бэлла  
Вам деньги вернет за билет.  
Но... может быть, повремените...  
(*В кулису*) Готовы уже, близнецы?  
(*В ответ что-то кричат*)  
На сцену, на сцену, ввозите!  
(*В зал*) Никто не ушел? Молодцы.

Итак, мы сварганили пьесу,  
Где кровь, и убийства, и секс  
Густому подвергли замесу, —  
Не пьеса, а сытный кекс.  
Приятного вам аппетита,  
Приятных вам пары часов,  
А если за тупостью быта,  
За бредом истершихся слов

*(Через динамики в зал начинает транслироваться  
громкое биение двух сердец.)*

Былая любовь позабыта  
И нет уже прежних снов, —  
Прислушайтесь к сердцебиению,  
Прислушайтесь к току крови —  
Это твоё явление,  
Чудо людской любви!..

*Затемнение. Певец уходит.*

Стук двух сердец. Учащенное дыхание. Слышно невнятное бормотание, что-то, напоминающее любовные стоны. Слабый свет. На середине сцены —

стеклянный куб, у которого обращенная к публике передняя стенка отсутствует, а основанием служит пол. В кубе — ложе, сделанное из никелированных трубок, всем своим видом подобное современным кроватям для клиник, — позволяющее поднимать изголовье, опускать ноги и т.д. Как и в клинике, здесь есть штативы и кронштейны для установки приборов, — словом, все, как в клинике, только это ложе обладает еще рядом дополнительных сооружений, позволяющих жить на нем, как дома: подставки для книг, например, или ящички составляют его неотъемлемую часть. Но главное — ложе двойное: оно для близнецов. По сторонам ложа, ближе к сцене, два кресла для посетителей. Отдельно, в левой части сцены (глядя из зала), тоже пара кресел и столик, на котором лампа и что-то вроде видео-экрана и пульта управления.

В полумраке чуть видно, что под звуки пульса, дыхания и слабых стонів на кровати среди белых покрывал происходит слабое, но непрерывное движение. В этот момент зрителю еще нельзя дать догадаться, что на ложе два человека. Свет уменьшается почти до полной темноты, и одновременно высвечивается столик слева. В креслах Эт — молодой, импозантный, склонный больше к действию, чем к мысли, и Кен — чуть старше, но не пожилой, с бородкой, задумчиво-медлительный — во всем противоположность доктору. Некоторое время оба слушают пульс и дыхание, звуки которых при начале диалога постепенно микшируются и смолкают.

Эт. Опять.

Кен. Да.

Пауза. Оба слушают.

Эт. Теперь это каждый день. Бывают дни, когда по несколько раз. Да, все взаимосвязано: рост сексуальной возбудимости и рост агрессивности. После той неудачной попытки побега они ничуть не успокоились. Эти их письма, заявления-протесты (*смеется*) — борьба, борьба, дорогой профессор, за демократию! И будьте покойны, они свою угрозу голодовки приведут в исполнение и найдут способ уморить себя. (*Выжидает. Кен молчит.*) Вы все еще против? (*Кен молчит.*) Мне изготовили манекены для варианта с неполным разделением бедер. Конечно, не очень... (*со смешком*) удобно, однако получается (*смеется неестественно*).

Кен (*устало*). Жаль, что я не сказал вам раньше. Вопрос, возможно ли совокупление близнецов при частичном разделении, обследовался на манекенах лет семь или восемь тому назад.

Эт (*растерянно*). Извините, я не...

Кен. Нет, дорогой мой, это я должен просить извинения: я ничего не стал записывать в историю.

Эт. Вы... боялись? Таких, как я?

Кен. Скажем, что так. По отношению к ним мы слишком... Слишком боги... Мы с вами об этом уже говорили.

Эт. Да, я понимаю.

Кен. Я предвидел, обдумывал, но, как вы знаете, ничего не предпринимал.

Эт. Кстати, кто им дал имена?

Кен (*грустно улыбается*). Я.

Эт. Вы им бог и вы им отец.

Кен (*с неожиданным раздражением*). Глупости! Итак, моя позиция такова. Я подал прошение об отставке, и срок моего ухода с должности наступил вчера. Следовательно, право решения принадлежит вам, и только вам, доктор. Целиком и полностью.

Эт. Профессор...

Кен. Это бесповоротно. Разумеется, я готов во всем быть полезным и далее, но лишь как лицо неофициальное. Я ушел, доктор, я ушел.

Эт (*он рад, но вежливо это скрывает*). Благодарю вас, профессор. Я никогда не забуду, что ваша рекомендация... что ваш выбор остановился на мне... Для меня большая честь продолжить начатое вами. И... (*останавливается*).

Кен (*смеется*). Вам лучше сказать: "Но..."

Эт (*решительно кивает*). Но я решил, профессор. Я пойду на риск. Вы будете в этом участвовать?

Кен не отвечает. Снова стук сердец, но пульс и дыхание теперь ровные. Оба слушают.

Кен. Они успокоились.

Левая часть сцены затемняется, Кен и Эт уходят. Полный свет. Музыка – начало Пятого концерта для фортепиано Бетховена. Эль и Аль на кровати. Верхней простыни нет. Их ноги спущены, так что они полулежат. Эль – слева (из зала), Аль – справа. Близнецы касаются друг друга бедрами, где у них общая набедренная повязка. Грудь Аль закрыта бюстгальтером. Эль читает. Аль держит альбом и рисует.

Аль (*продолжая рисовать*). Что ты читаешь?

Эль (*читает*). "Поверхность океана почти гладкая, но яхта зарывается носом, поднимая густую пелену брызг. Морские птицы пленяют меня. Лапки альбатросов трясутся и дрожат, когда птицы оказываются с подветренной стороны парусов..."

Аль (*продолжая рисовать*). Я рисую море. Погляди, парус, – это так?

Эль (*взглядывает в альбом, берет из ее правой руки карандаш своей левой, поправляет*). Линия вот такая. Там внутри ветер.

Аль. И солнце.

Эль. Ветер солнце и брызги воды.

Аль. Совсем не жарко.

Эль (*интонации обоих входят в единый строй, один продолжает мысль другого*) берега не видно, небо и вода

Аль. и птицы

Эль. под килем

Аль. под килем?

Эль. клеочет, на палубе скрипит-поскрипывает: раз-два, раз-два...

Аль. раз-два... раз-два... Мы справляемся с яхтой?

Эль. Смотри. Сидим здесь, держишь руль, управ-ля-ешь... а если тянуть за конец, парус поворачивается... (*Имитирует движения, о которых говорит, Эль одновременно с ним делает те же самые жесты, но как бы в зеркальном отображении.*)

Аль. и яхта кружится

Эль. солнце то справа, то слева

Аль. мы в тени от паруса

Эль. ветер и брызги воды...

Пауза. Их руки повисают в воздухе, не докончив последнего жеста.

Аль. Они не позволят.

Эль (*волнуясь*). Мы не преступники!

Аль (*волнуясь*). Не в тюрьме!

Эль. Не имеют права!

Аль. Мы люди, мы люди!

Эль. Не эти их паршивые мыши!

Аль. Не кролики!

Входят в стресс. Эль и Аль поочередно нажимают на кнопки двух звонков, так что поднимается двойной трезвон, – как у сигнала скорой помощи. Входят Эт и Кен.

Эт. Ну-ну, друзья, мы здесь, мы здесь! Что это вы растрезвонились с утра пораньше?

Аль. Мы написали!

Эль. мы вам отдали!

Аль. вы сказали, не позже двадцатого, это сегодня!

Эль. это сегодня!

Аль. это сегодня, сегодня!

Оба повторяют в возбуждении “это сегодня, сегодня!”, доходя до крайнего возбуждения. Профессор останавливающе поднимает руку. Близнецы начинают стихать и постепенно смолкают. Пауза. Кен и Эт садятся в кресла около ложа.

Кен. Прежде всего мне хотелось бы сказать вам кое-что. Но сначала повторю то, что говорил уже не один раз: это опасно. Шансы на удачу пятьдесят на пятьдесят. Но, предположим, все, даст Бог, окончится благополучно. Готовы ли вы к тому, о чем просите? Ведь вы еще совсем юны. Вы совершенно не знаете жизни, этого огромного и, смею вас уверить, страшного мира. Вы хотите шагнуть в него. Превосходно. Однако зачем? Нужно ли вам торопиться? У вас есть все. Здесь ваш дом. О вас заботятся. Вас кормят. Вас обеспечивают всем необходимым. Уверен ли ты, дорогой мой Эль, что сможешь позаботиться о нашей Аль?

Аль. Я сама тоже смогу о себе позаботиться. И о нем.

Эль. Я о ней, она обо мне, разве вам не понятно? Мы все равно вдвоем.

Аль. вдвоем и будем!

Кен (*перебивает*). Вот именно, все равно вдвоем! Чего же вам не хватает?

Эль и Аль (*вместе*). Свободы, свободы!

Музыка Пятого концерта Бетховена

Кен (! ! — 2 минуты, кричит на героическом фоне музыки). Какой вам, к черту, свободы?! Нет ее, нет!!! Запомните, глупые ваши головы: люди придумали этих лживых слов — “свобода”, “счастье”, “справедливость”, чтобы обманывать таких, как вы, молоденьких щенков! Ты выходишь из дому — свободный, ни от кого не зависимый, бродишь бездумно по городу или идешь по дороге где-нибудь среди полей или в горах, но спустя час или два у тебя возникает потребность набить свой желудок едой — желудку надо переваривать пищу, а потом испражнять остатки, черт возьми, и ради этого ты сворачиваешь, сворачиваешь со своей дороги, бросаешь где-то по

пути свои мечты и приходишь куда-то, где можно заработать пару-тройку монет, и уже ты пойман, ты в клетке, имя которой – жизнь, мои милые, просто жизнь! А еще тебе могут не дать этой самой работы или дать, а потом выкинуть с нее, оскорбить, ударить, обмануть, ты можешь вдруг заболеть или быть сбитым автомашиной, – где тогда они будут, ваша “справедливость”, ваше – “счастье”?! Здесь ваш мир! И другой вам не нужен! Поберегитесь его! Он готов вас сожрать!

Эль и Аль (!! – 40 секунд, вместе и поодиночке, экстатически почти декламируют) . Море, яхта, Малайи, горы и доли, парус, Нью-Йорк, музеи, картины, дальние страны, Гонконг, пирамиды, друзья, у которых, – Париж, ветер, нюхать цветы, – неправда, что люди лишь врут, – Иерусалим, облака, слушать музыку, у нас все впереди, кино и театры, Амстердам, Фудзияма, мы так не будем рассуждать, мы, когда состаримся, мы, – мы хотим бороться, справедливость, свобода, Ниагара, у каждого свое счастье...

Аль. если любишь

Пауза.

Кен. Что ты сказала?

Аль молчит.

Эт. Они любят друг друга, профессор. Они хотят сказать, что если любишь, то ради любви можно пойти на все. Даже на смерть. Я правильно излагаю то, о чем вы мне говорили?

Эль. Да.

Аль. Да.

Кен. А что это такое?

Эт. Простите?

Кен. Скажи мне, Эль, ты говоришь, что любишь Аль. Объясни, что это значит: “Эль любит Аль. Аль любит Эль.”.

Эль (*просто, с готовностью*) . Мне нравится ее трогать и гладить. Особенно вот тут, у нее между ног (*дотрагивается до интимного места Аль*) , и тут, ее грудь. Особенно левую. У меня выпрямляется фаллос, мне хочется прижать его к Аль

Аль. мне хочется прижать его к себе, чтобы Эль прижался ко мне, особенно тут (*показывает, где*) .

Пауза.

Эль (*неуверенно*) . Мы что-то напутали?

Эт. Нет-нет, о-кей, все в порядке.

Кен (*к доктору*) . Ну, что вы скажете об этих прелестных дурачках? Мне нравится ее трогать и гладить! (*К Эль*) Мне нравится гладить кошку!

Эль (*просто*) . Ты разве ее не любишь?

Кен. Я глажу кошку, ты гладишь Аль, я люблю кошку, ты любишь Аль.

Эль. Ты любишь кошку просто так. Для себя. Ты ведь не умрешь из-за своей любимой кошки. А я, если не буду любить Аль

Аль. умру, если он не будет любить меня, а я его, мы умрем без любви.

Эль. Мы умрем от любви, если нам не дадут любить. Мы хотим свободы

Аль. свободы

Эль. свободы

Музыка второй, медленной части Пятого концерта Бетховена.

Эль и Аль нежно ласкают друг друга. Их движения плавны и пластичны, как в замедленной съемке, и совершаются в соответствии с ритмом и звуковой динамикой музыки. Это красиво, как дуэт в классическом балетном па-де-де. Оба приподнимаются с ложа, встают, — соединенные у бедер, они движутся с необычайной согласованностью и в то же время с внутренним надломом из-за невозможности соединиться и прильнуть друг к другу всем телом. Через динамики транслируется стук сердец, дыхание, шепот и смех, хотя близнецы и молчаливы. Эль влечет Аль к ложу, они спускаются на него и затихают.

Пауза.

Кен (*с трудом, при общей тишине*) . Я вас не обманул. Я обещал, что сегодня будет ответ. Вы его получите. Но не от меня. С сегодняшнего дня я уже... Словом, я ухожу из клиники. (*Встает.*) Вашего врача вы хорошо знаете (*жест в сторону доктора*) , так что слушайте его. Только его и никого другого больше. Надеюсь, вам все понятно.

Пауза. Близнецы "симметрично", повторяя один другого, выражают свою растерянность .

Прошу вас, доктор. Прошу вас, займитесь ими. Мне лучше уйти.

Идет за кулисы влево. Навстречу выходит Им. Она и Кен стоят друг перед другом.

Им. Мне минуту назад сказали, что ты... Это правда?

Кен. Да.

Им. И что завтра...

Кен. Да, завтра.

Уходят вместе. Пауза.

Эт (*не знает, с чего начать, с излишней бодростью*). Ну, как наше самочувствие? Как мы позавтракали? Зарядку уже делали? Прекрасно, прекрасно... (*Близнецы в немом волнении смотрят на него.*) Итак, еще сегодня вас начнут готовить к операции. Завтра мы сделаем попытку разделить вас. Я верю в успех, и вы должны верить вместе со мной. То, что наш профессор прежде не хотел этого, не должно вас беспокоить, поскольку... э-э... затрудняюсь вам объяснить... Им руководят не только медицинские (*чуть иронично*), но и, так сказать, моральные опасения. Разумеется, социальные последствия будут для вас действительно серьезными. Уход из клиники, где вы прожили всю свою жизнь, будет сопряжен для вас с большими потрясениями. Вам придется надеяться лишь на себя. Вы попадете в мир, который будет сплошным хаосом по сравнению с хорошо организованным, столь знакомым вам миром клиники. Здесь царит порядок. Но у вас, разумеется, нет достаточной свободы, например, права на нестесненное передвижение. Вы написали в своем протесте, что не хотите больше быть принадлежностью клиники. Согласен, в какой-то степени вы, пожалуй, принадлежали клинике. Но принадлежали ей, я бы сказал, естественно. В той же степени, в какой клиника принадлежала вам. Во всем есть свои плюсы и минусы. Но вам хочется иного — полной независимости, свободы от всех стесняющих вас рамок. Завтра мы поможем вам сделать первый шаг к этой свободе — свободе жить и любить друг друга. Разумеется, все мы понимаем, что профессор во многом прав и разделяем его опасения за ваше будущее. Но я принял вашу сторону. Как поется в песне: тот, кто возжаждал свободы, уже парит в вышине. Вы получите желанную свободу. Вы будете любить друг друга. Все будет о-кей. Между прочим, профессор и я — мы проведем операцию вместе. До завтра, до завтра. Бай-бай!



Затемнение. Высвечивается певец. Песня "On a wagon" (1 !). Вновь затемнение. Затем дается небольшой свет на стоящие слева столик и кресла. В креслах Кен и Им. Свет застает их в середине разговора за чашкой кофе. Им нервно оживлена.

Им (! ! – 40 секунд). ...открываю дверцу, у меня не получается. А он как будто и не собирается помочь. Ну, мне его как-то жаль, я решила немного замазать ситуацию и говорю: в нашем возрасте это так не делается, мы уже слишком консервативны, чтобы сразу давать ответ. О, говорит он, значит вы не отвечаете "нет", это уже половина согласия (*деланно смеется*). Как тебе нравится? Он не такой кретин, как мне всегда казалось. (*Без перехода*). Дорогой, ты пригласил меня выпить кофе, чтобы слушать мою болтовню?

Кен. Конечно, нет. Что здесь, в клинике, говорят обо мне?

Им. Боже мой! Что ты уходишь и что рассечение делаем завтра. Этого мало?

Кен. Что ты думаешь об этом?

Им. О чем именно? Впрочем, не объясняй. Всем понятно, что операция – причина твоего ухода.

Кен. Я не о том. Не увиливай. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Я ухожу – но что я для тебя?..

Им. Перестань!

Кен. Мы были любовниками только однажды, в тот раз, когда решили обогатить науку, – я своей спермой, ты – яйцеклеткой.

Им. Хо-хо! Мы тогда немало поострили на эту тему. С чего это ты решил вернуться к старым шуткам?

Кен. Почему мы не стали любовниками?

Им. Да что с тобой, в конце концов? Я этот вопрос слышала и пять, и десять, и пятнадцать лет назад: почему только однажды, почему мы не любовники! Потому что я фригидна и могу обойтись без мужчины, потому что мы дали жизнь существу, которым, как показали исследования и как то подтверждает внешнее сходство, является особь женского пола, а именно Аль, и мы, таким образом, в значительной степени исчерпали естественную потребность в близости. Тень прошлого, милый мой, тень прошлого. (*Пауза.*) Ты прекрасно знаешь, почему. В конце концов... это жестоко.

Кен. Ну уж нет! Жестоко! Обрати внимание, ты сказала, что слышала мой вопрос пятнадцать лет назад. Ты хорошо помнишь, когда это было. Через год, ровно через год после нашего с ним дурацкого путешествия и его дурацкой гибели (*Им делает протестующий*

жест), — а разве нет? Конечно, дурацкой. Так уж нужны были ему эти Гималаи. Он струсил, да-да, не возражай, он струсил, вторично убежав от бремени жизни, от науки, от долга перед ребенком, наконец.

Им. Мы не должны судить мертвого.

Кен (*упрямо*). А сначала он убежал от твоей любви. Он знал, что ты мне была небезразлична, и это он предложил, чтобы совокупались я и ты, а не он и ты...

Им. Умоляю тебя...

Кен. ...себе же взял проститутку, великолепно, кстати сказать, сыгравшую роль студентки-медички...

Им. Как?! Что ты говоришь?!

Кен. ...за деньги, дорогая, за деньги! —

Им. Боже, откуда это?!

Кен. —...так что сыночек Эль обошелся нам, обоим папам, дороже, чем наша с тобой доченька, его сестрица Аль, тогда это были бешеные деньги, мы оба дали по триста долларов, и сейчас, учитывая проценты и инфляцию, это составит... (*Хохочет. Пауза.*)

Им. Ты никогда об этом не говорил.

Кен. Еще бы!

Им. Я не верю этому. Она... она была красива...

Кен (*устало*). Ты видела, что он хочет ее, а я хочу тебя. И ты уступила, его — ей, себя — мне. Вы оба, ты и он, были достойны друг друга.

Им. Что ты хочешь сказать?

Кен. Что и твоя уступка была трусостью.

Им (*медленно поднимает голову, в глазах ее насмешка*). И только наш уважаемый профессор чист как стеклышко. Он поставил эксперимент, принесший ему всемирную славу, и заодно снял сливки — переспал с девушкой, которая ему отказывала. Уж не за меня ли ты заплатил ему те деньги, на которые вы наняли проститутку?

Кен (*спокойно*). Вовсе нет, не за тебя, а за себя. Ведь перед этим я к ней ходил. Ходил довольно часто, мне надо было снимать напряжение, которое возникает, если не можешь обладать любимой женщиной, особенно при том, что эта женщина постоянно рядом с тобой, целый рабочий день. Мы договорились, что она примет участие в эксперименте, получит за это деньги и уедет.

Им. Ах, вот как... Вот почему она сразу исчезла. Ты говорил, что студентка вышла замуж и не хотела больше быть связанной с этой историей. Сколько же во всем этом лжи!

Кен. Не больше, чем в каждой любовной истории, если она протекает негладко с самого начала. На самом же деле только та, кто их родила и заплатила за это жизнью, осталась безупречна. И знаешь, почему? Она следовала только инстинкту и не рассуждала. Она хотела родить и была готова на все. Инстинкт, по существу, вне морали, он сама природа. А природа не жлет.

Им. Они тоже следуют только инстинкту... Как я боюсь, как я боюсь!..

Кен. Я знаю. И потому решил хоть как-то подбодрить тебя. Это не получилось, извини. Надеюсь, нам всем удастся пережить завтрашний день.

Им (*с каменным лицом*). Сколько раз, глядя на них, я всю себя сжимала в комок, лишь бы не произнести: “дети... наши дети... его сын... ты моя дочь... наша с тобой дочь” (*вытирает слезы*) ... Если мы ее... мы их потеряем... – нет, я не вынесу.

Кен. Они выросли. Они стали взрослыми, вот и все. Дети уходят из родного дома, это выглядит именно так. И родители должны расстаться с ними. Вот и все, дорогая моя, вот и все...

Затемнение. Затем высвечивается певец. Песня “О, мама, я твой сын” (!!). Вновь затемнение. Музыка второй части Пятого концерта Бетховена. Освещается вполсилы стеклянный куб. Эль и Аль.

Эль. Завтра

Аль. завтра

Эль. нас усыпят

Аль. мы спим

Эль. спим

Аль. спим

Эль. а потом просыпаемся

Аль. и чувствуем

Эль. вот здесь, где я продолжался в тебя

Аль. и я в тебя

Эль. нет, ты только подумай, как смешно (*с веселым недоумением*), вот это я (*трогает общее бедро*), всегда, всю жизнь тут был я (*его рука движется дальше, к животу и лону Аль*), тут еще я... я и ты... а тут уже ты, ты – ты, где тоже хочу быть я, – а когда проснемся завтра, – тут я – и сразу ничего, пустота. И только дальше за пустотой, снова начнешься ты

Аль. пустота, а за пустотой ты. Эль, зачем? Если мы родились

без нее, без этой пустоты? Мы одно, мы неразделимы. Ты и я — одно тело, почему между нами должна быть лишняя пустота? Я твоя сестра, и ты мой брат, я это ты...

Эль . Мы же знаем, что это не так. Мы оба читали ту книгу о близнецах, и профессор нам все объяснил.

Аль (*как заученное наизусть, размеренно, с тоской*) . "Мы не брат и сестра

Эль. "потому что развились из яйцеклеток, взятых у разных женщин

Аль. "мы не брат и сестра

Эль. "потому что каждую яйцеклетку оплодотворил другой мужчина

Аль. "мы не брат и сестра

Эль. "потому что, хотя мы и развились в чреве одной женщины, это не повлияло на нашу наследственность

Аль. "с самого начала никто не знал имен тех двух пар, кто согласились на изъятие оплодотворенных яйцеклеток для пересадки в матку этой женщины, которая не могла забеременеть и хотела ребенка

Эль. "у нас общая мать, которая выходила нас в своем чреве и которая умерла при родах, но мы не брат и сестра. Поэтому завтра нас усыпят. Мы погрузимся в сон, в крепкий сон...

Аль. "И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию".

Эль. "И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку". (*Бытие, 2; 21-22*)

Аль (*чуть не плача*) . Он ошибся, Эль, профессор Бог ошибся! Я хочу оставаться твоим ребром!.. Если Он создал нас одной плотью, зачем он нас разделяет? Я сестра твоя, я жена твоя, я в тебе, я это ты, ты, ты, мой любимый!..

Ласкает его, Эль нежно ей отвечает.

Эль. Наши тела разделятся, чтобы сблизиться еще теснее. Я войду в тебя.

Аль. Ты будешь во мне

Эль. ты будешь вокруг меня

Аль. и мы прижмемся животами

Эль. не будет пустоты

Аль. мы наполним друг друга собою

Эль. не будем даже говорить, а только любить и любить

Аль. любить, любить, всю жизнь, и вместе умереть

Эль. лицо к лицу и тело к телу

Аль. у нас одни мысли, а мысль, нашу мысль — разве можно разделить на две?

Эль. Только бедра можно разделить, чтобы мы могли соединиться.

Аль. Только бы пережить нам завтрашний день

Эль. только завтрашний день

Аль. завтрашний день

Эль. завтрашний день

Аль. завтра

Эль. завтра

Аль. завтра...

Затемнение. Пауза. Затем возникает музыка последних тактов Пятого концерта, которые звучат на этот раз не через сильные динамики, а слабо доносятся от левой части сцены. Вслед за последним аккордом слышен Голос диктора (! !): “Дорогие радиослушатели, наш концерт закончен, и мы предлагаем вам, как всегда после программы “Нотная библиотека”, написать нам, какие произведения исполнялись сегодня. А сейчас — новости науки”.

Слева дается небольшой свет. В кресле, за столиком, уткнувшись лицом в раскинутые руки — Зот. Около нее стакан и бутылка бренди. Здесь же транзистор, который, как можно понять, включен. Голос диктора продолжает.

“Мы приготовили для вас сенсационное сообщение. Время от времени в прессе, по радио и телевидению рассказывалось о сиамских близнецах Эль и Аль, родившихся в результате пересадки в чрево женщины двух оплодотворенных яйцеклеток, взятых от разных матерей. Этот уникальный случай вызвал и продолжает вызывать огромный интерес у биологов и медиков всего мира. Завтра произойдет событие... Впрочем, у нас в студии доктор Эт, который расскажет об этом событии не только как специалист, но и как непосредственный его участник. Пожалуйста, доктор.”

Зот поднимает голову, прислушивается, затем резко поворачивает ручку транзистора, усиливая звук.

Эт (*голос по радио*). Сиамские близнецы, которые все эти годы оставались под постоянным наблюдением в нашей клинике, готовятся покинуть ее и приступить к самостоятельной жизни. То, что они выросли и готовы войти в человеческое общество, — большое научное и социальное достижение. Несколько фактов из прошлого. Профессор Кен, занимавшийся проблемами совместимости живых

тканей, в частности и проблемами пересадки живой яйцеклетки из одного женского организма в другой, как-то раз получил сообщение, что в его клинику хочет обратиться женщина, которая в силу неисправимого органического недостатка не могла забеременеть. Профессор предложил пересадить ей чужую оплодотворенную яйцеклетку. Женщина согласилась, поставив условием, что никто не будет знать имен доноров. Профессор также предложил пациентке участвовать в уникальном эксперименте, на который она также дала согласие. Ей были пересажены сразу две оплодотворенные яйцеклетки. Предполагалось, и это действительно так, что вероятность приживания и дальнейшего развития плода тем самым повышается практически вдвое, то есть, если погибнет одна яйцеклетка, то может выжить другая. Как мы знаем, результаты оказались непредвиденными: из яйцеклеток родились близнецы, так называемые сямские близнецы, но которые в данном случае близнецами не являются. Для женщины ход родов оказался трагическим: она умерла от сердечной недостаточности, и новорожденных пришлось спасать, применив кесарево сечение.

Голос диктора. Итак, в нашей клинике выросли всем нам хорошо известные милые молодые люди Эль и Аль, брат и сестра.

Эт (голос). В том-то и дело, что они не брат и сестра. Я бы сказал, что на сегодня они — жених и невеста!

Голос диктора. Это просто потрясающе, то, что вы говорите! Они полюбили друг друга?!

Эт (голос). Совершенно верно. Именно эта новая ситуация заставила нас принять нелегкое решение: сделать попытку разделить близнецов, сросшихся в области бедер.

Голос диктора. Есть ли в этой операции опасность для их жизни?

Эт (голос). К сожалению, да. И как можно понять, мы бы не решились пойти на нее, если бы не настойчивые требования самих наших юных пациентов...

Голос диктора. Когда операция?

Эт (голос). Завтра днем.

Г о л о с д и к т о р а. Благодарю вас, доктор, и желаю удачи. Это интервью было записано вчера, так что, дорогие слушатели, операция, может быть уже началась и о ее исходе мы вас проинформируем, как мы надеемся, еще сегодня. Переходим к другой теме: новые источники энер...

Зот неподвижна, будто в шоке. Звук микшируется, левый свет уменьша-

ется до темноты, тогда как на середине сцены свет постепенно добавляется и позволяет видеть движение людей в белом вокруг операционного стола. Возникают звуки двух сердец и дыхания. У стола Кен, Эт, Им, Сестра. Их лиц мы не видим, они скрыты под масками. На столе (это может быть та же кровать близнецов) укрытые белым две неподвижные фигуры.

Кен. Давление.

Сестра. Норма.

Кен. Пульс.

Сестра. Норма.

Кен. Дыхание.

Сестра. Норма, профессор.

Кен. Очки потеют. Между прочим, доктор, отправляясь на сложную операцию, старайтесь обойтись без новых вещей. С ними всегда какие-нибудь сюрпризы. Эти очки я купил вчера, и вот, пожалуйста, — потеют.

Эт. Мне, напротив, нравятся новые вещи.

Кен, не отвечая, медленно отходит от стола ближе к сцене, подносит руку в перчатке ко лбу и замирает как бы в мгновенном оцепенении.

Им. Ввожу первую дозу, по полтора кубика слева и справа. Кен, с тобой все в порядке?

Кен (*в том же положении*). Да-да. Я жду, пока отпотеют очки.

Резкий звонок.

Эт (*сестре*). Не подходите. Мы начинаем.

Пауза. Второй резкий звонок.

Сестра. Это линия шефа.

Эт (*грубо*). Ну узнайте, чего ему?

Сестра включает Голос.

Голос. Прошу извинить. На какой стадии подготовка?

Им. Пациенты под наркозом, ввела стабилизирующее.

Голос. Очень сожалею, операцию придется отложить.

Пауза. Стук сердец и дыхание.

Эт (*кричит*) . Это невозможно, шеф!

Голос. Простите? Подойдите, пожалуйста, ближе к микрофону.

Эт (*подбегает к кулисе, кричит в нее*) . Не-воз-мож-но! Мы начали!

Голос. Профессор, пожалуйста...

Эт. Репутация клиники требует!..

Голос. Именно об этом идет речь. (*Нетерпеливо*) Профессор, распорядитесь, прошу вас.

Кен медленно идет к кулисе.

Голос. Профессор?

Кен (*в кулису, спокойно*) . Я не совсем понимаю. Я в отставке, и это вы теперь руководите клиникой. Я лишь принимаю участие в операции. Я не имею права давать административные распоряжения.

Пауза.

Голос. Гм... Вы, пожалуй, правы. В таком случае, мне придется взять это на себя. Дело в том, что у меня судебный исполнитель. Он требует отложить операцию. Вам надо явиться в суд. Окружной судья вынес соответствующее постановление.

Кен. Что за вздор?

Голос. Подана жалоба от ROSH. The Religious Organization of Sons of Heavens.

Кен. Что-что? Что это такое?

Голос. "Сыны Небес". Какое-то религиозное течение. Я думаю, фанатики. Добиваются отмены операции.

Кен (*после паузы*) . Но... откуда им... Откуда, черт возьми, они узнали?

Голос. Как? С утра все газеты полны... Доктор Эт дал вчера интервью агентству новостей и...

Кен. Что-о?! Вы дали интервью?!

Эт. Я полагал, что если... средства информации...

Кен (*кричит*) . Да как вам это в голову пришло?!

Эт. Не понимаю, профессор!

Кен. К черту вас! К черту клинику!

Голос. Профессор, этот человек ждет вас. Я имею в виду господина, присланного судьей. Он хочет, чтобы вы вместе с ним поехали в суд.



Им *(быстро)*. Я еду с тобой. *(Сестре и доктору.)* В палату. Приследите за выходной кривой. Как обычно.

Сестра. Не беспокойтесь.

Кен. Вы хотели этого, доктор. Сенсация! Что ж, вы далеко пойдете. *(Начинает смеяться, сперва беззвучно, потом громко. Снимает перчатки. Все с тревогой смотрят на него.)* Они входят в жизнь! *(Хохочет)* Суд! "Сыны Небес"! Газеты! Бог! Дьявол! И эти два ребенка со своей младенческой любовью! *(Хохочет)*.

Затемнение. Вторая часть Пятого концерта Бетховена. На кровати неподвижные Эль и Аль, укрытые простыней. В стороне сидит Сестра, которая почти до конца сцены остается безучастной. Эль и Аль постепенно пробуждаются. Их первые реплики звучат как бы в полубессознательном состоянии.

Аль *(зовет)*. Э-э-ль...

Эль. А-аль?

Аль *(как бы прислушиваясь)*. Эль?

Эль. ...плывем

Аль. и летаем

Эль. светится

Аль. синее-синее светится синее

Эль. на лице

Аль. паутина

Эль. мы спим

Аль. осветлело

Эль. мы... Аль!

Аль. Эль?

Эль *(просыпаясь)*. Мы... где мы? Было?

Аль *(просыпаясь)*. вчера было ... значит

Эль. сегодня — прошло?

Аль. Эль, Эль, — это было? —

Эль. ну да, усыпили

Аль. укол, мы заснули

Эль. теперь, значит, мы!..

Аль *(быстро)*. Осторожно, Эль! *(Пауза.)* Не шевелись, пожалуйста. Я боюсь. Мы — лежим. Хорошо? Мы лежим, мы лежим. Подождем. Мы подумаем.

Аль. Подожди. Я не хочу почувствовать. Отдельно от тебя? Ты знаешь, может это быть, что мы лежим — отрезанные... ты и я... и сами по себе... Мне страшно... Обними. Нет-нет! Не шевелись! Не обнимай, не трогай, ничего не делай! *(Пауза.)* Эль... Эль...

Эль. Мы... мы лежим... я лежу и ты... Вместе? Я не... чувствую... что отдельно... Мне хочется тебя гладить...

Аль. Нет-нет, мне хочется тебя обнять, но... если мы пошевелимся... Я боюсь.

Эль. Я хочу... вот я сжимаю пальцы

Аль. Эль! Медленно-медленно, хорошо?

Эль. медленно, пальцы, ладонь... и вторая рука... и... *(Под простыней осторожные движения. Громким шепотом)* давай руку, давай...

Аль. мы дотронемся вместе... какой невозможный холод...

Под простыней все вдруг замирает.

Эль *(с ужасом)* наши бедра?! остались! нас — нас... обманули?!

Аль *(с тайной радостью)*. мы вместе?! все по-прежнему... ничего не... вместе!

Сестра *(встает и подходит к ним)*. Ну вот и проснулись. Как себя чувствуете?

Эль и Аль садятся, Аль придерживает простыню на груди.

Мне очень жаль, я понимаю ваше разочарование. В последний момент пришлось отменить операцию. *(Мнется.)* Вам, наверно, потом объяснят, я не знаю, может быть... что-то с аппаратурой?..

Эль *(обреченно)*. Мы их собственность...

Аль. Холодно...

Сестра. Да, холод — это следствие наркоза, так же как и тошнота. Вам следует еще поспать.

Эль *(нетерпеливо)*. Идите, у нас все в порядке.

Аль *(нетерпеливо)*. Нам надо поговорить.

Сестра. Хорошо, отдыхайте. Все будет о-кей!

Уходит. Появляется певец и поет "Спи, моя радость, усни" (! !). Певец уходит. Эль и Аль неподвижно сидят на кровати. Тишина. Потом Эль поднимает руки, сгибает ноги в коленях и последовательно — медленно и аккуратно — выполняет действия, которые производят, садясь за руль автомашины: включает зажигание, нажимает педали, переводит ручку сцепления и т.д. Все это через динамик сопровождается имитацией звуков заводящейся машины. Аль неуверенно копирует его движения. Они как будто едут. В динамике — ровный звук работающего мотора.

Эль. Если бы мы были в Англии, они бы нас не поймали.

Аль. В Англии?

Эль. В Англии руль у машин с моей стороны, понимаешь?

Аль. В тот раз я перепутала педали. Но я обещаю тебе... Я научусь, я больше не ошибусь, вот увидишь. Посмотри, как у меня сейчас? На третью... торможу... сцепление... по-во-рот...

Эль (*отпускает свой "руль", следит за Аль*) не торопись... на вторую.

Аль. на вторую... в обратную... газ...

Эль. еще газ, еще!

Аль. на третью... и — на четвертую! Едем! Куда мы едем, Эль?!

Эль. Мы едем к морю, в порт. (*Опять берется за "руль".*) Это не далеко. Пока они опомнятся...

Крадучись входит Зот. Наблюдает за происходящим.

мы на скорости сто можем, знаешь, как быстро доехать!

Едут. Звук мотора. Картина, которую видит Зот, приводит ее в восторг.

Зот (*хохоча и хлопнув в ладоши, подходит к кровати*). Деточки вы мои! Какие миленькие! На машинке! Мы покатаемся вместе!

Хохоchet и тоже имитирует езду, затем в изнеможении бросается в кресло. Все ее поведение — вульгарная буффонада, паясничанье. Между тем для Эля и Аль это что-то живое, интересное, их удивление переходит в наивный восторг, они тоже смеются, по-детски весело.

Зот (*успокаиваясь*). Ну, здравствуйте, детки! Вы оба точь-в-точь такие, как на фотографиях в журналах!

Эль. Вы — кто?

Зот. Эль, мальчик мой! (*Подбежав, целует его, сюсюкает, как с младенцем.*) А-тю-тю-тю-тю!.. Я твоя мамочка, Эль! (*Раздельно и жестко, с ноткой злобы.*) Я! Твоя! Мать! Запомнил? Я твоя мать! Об этом узнает весь мир! Я! Он не давал мне об этом сказать! Он всю жизнь затыкал мне рот своими грязными долларами! Ну нет! Довольно! Эль! Пред тобой стоит твоя мать! (*Всхлипывает*) Бедный мой сирота! (*Злобно*) Скоро они узнают всю правду! Где он? Я хочу его видеть! Я останусь тут, пока он не явится! И никакая сила не стронет меня с этого места. (*Вынимает из сумочки маленький пистолет.*) Вот! Я буду в них стрелять! В конце концов, тут мой сын, а я мать, верно, моя крошка? Я остаюсь со своим ребенком! (*Без перехода, играя пистолетом.*) А-тю-тю-тю-тю!..

Затемнение. Освещается левая часть сцены. Кабинет судьи. Стол, кресла. Судья, Кен, Им. На столе перед Судьей микрофон, рядом кипа газет. Кен читает одну из них, потом резко отбрасывает в сторону.

Судья. Теперь вы понимаете, почему мне пришлось вмешаться. Я глубоко сожалею, что вынужден был оказать на вас давление, профессор. Но я, как и вы, следую своему профессиональному долгу.

Кен. Что вы от меня хотите теперь?

Судья. Боюсь, не смогу дать вам конкретного ответа. На первых порах я просил бы от вас сотрудничества. Я понимаю, что вы и дальше будете настаивать на операции, однако ничуть не сомневаюсь в том, что вы готовы проявить объективность.

Им. Профессор вовсе не настаивает на операции.

Судья (*удивленно*). Вот как? Но доктор Эт...

Им. Доктор Эт делает себе рекламу. Он, кажется, уже великолепно преуспел.

Судья. Понимаю, понимаю... Признаться, я был удивлен, обнаружив, что вы хранили молчание и, как я сейчас убедился, даже не читали утренних газет. Это меняет дело. (*Подумав.*) Позвольте мне в таком случае начать не с вас. Там в зале все эти люди...

Кен. Кто?

Судья. Так сказать, персонифицированное общественное мнение.

Кен. Понятно. Отдельные тучи из бури протестов.

Судья. Есть и ваши сторонники.

Кен. Мои сторонники? Да нет у меня никакой стороны, черт побери! Все это дерьмо! Пусть в нем возятся новый шеф клиники и доктор Эт! С меня довольно!

Им. Успокойся, прошу тебя!

Судья (*настойчиво*). Я предлагаю вам остаться здесь. Мне нужна ваша помощь, профессор. Я сожалею. Госпожа...

Им. Я хотела бы тоже остаться.

Судья. Прекрасно. (*В микрофон.*) Организация "Сыны Небес"!

Сбоку появляется певец. Песенка о Боге (! !). Певец уходит. Входит Сын Небес. Его религиозное облачение соответствует господствующей в данном месте религии. (Эпизод (! !) — 3 минуты до ухода Сына Небес).

Судья. Вы обратились в суд, требуя запретить операцию по разделению близнецов. Прошу вас, мотивируйте ваше требование.

Сын Небес. Бог, да будет благословенно Имя Его, создал человека и хранит его тело и душу. Только Он волен распорядиться плотью рожденного.

Судья. Вы отрицаете вмешательство медицины?

Сын Небес. До определенного предела — нет. Но эксперименты, которые ставят себе целью проникнуть в тайну зачатия, богопротивны, и мы их отвергаем.

Судья. Вы имеете в виду условия, при которых близнецы родились на свет, не так ли?

Сын Небес. Да.

Судья. Но это дело прошлого. Что же вызывает ваше неприятие сейчас?

Сын Небес. В том, что близнецы родились соединенными, сказался Божественный промысел. По милосердию Своему, Он дал жизнь зачатым существам. Но Он же, исправляя проступок человека (*жгучий взгляд в сторону профессора*), соединил их, предостерегая от любовного соития, чтобы не случилось, не дай Бог, кровосмешения.

Судья. Профессор Кен?

Кен. Божественный промысел относится к его профессии, а не к моей. Что касается единства крови... Боюсь, мой оппонент меня не поймет. Близнецы родились и развивались с кровью двух составов, как это и бывает у неродственных организмов. Возможность инфильтрации крови через место соединения на бедре мы постоянно нейтрализовывали посредством специально разработанной методики и аппаратуры — еще в чреве матери и затем в течение всех этих лет. Именно постоянная опасность смешения крови всегда представляла для нас проблему, и до сих она является угрозой для жизни близнецов. Рассечение, в случае его успеха, позволит им обходиться без постоянного врачебного надзора. Кстати, у первых людей, Адама и Евы, не была ли кровь одинаковой, как по-вашему?

Сын Небес. Господь Бог это знает, только Он. Нам не дано на это ответить. Первые люди, однако, не вышли из чрева человеческого. Но так как этих близнецов родила одна мать, этого достаточно, чтобы считать их братом и сестрой.

Судья. Я вижу в ваших словах логическое противоречие. Если они брат и сестра, то и отделенными друг от друга они останутся братом и сестрой, как и любые другие. В чем же тогда проблема? Итак, благодарю вас. О судебном разбирательстве, если таковое

состоится, вас известят. *(В микрофон.)* “Общество защиты прав человека”!

Сын Небес уходит. Входит певец. Песенка “Демократия, демократия!” (! !). Певец уходит. Входит Женщина. (Эпизод (! !) – 4 минуты до ухода Женщины).

Судья. Я вас слушаю.

Женщина. Ваша честь, эти религиозные фанатики всюду суют свой нос. Сейчас они готовы покуситься на личную жизнь двух молодых людей, судьба которых небезразлична всей стране. Профессор *(быстрая улыбка в его сторону)*, – мы все знаем вас, профессор, – совершил научный подвиг, и теперь, когда великий эксперимент близится уже к окончательному...

Судья *(прерывает)*. Извините. В чем смысл вашего обращения в суд?

Женщина *(торопливо достает из сумочки бумагу)*. Вот... Минуточку... Я зачитываю по пунктам. Первое. Следует обеспечить право сямских близнецов на полноценную половую, социальную и общественно-политическую жизнь. Второе. Суд должен вынести постановление, которое полностью исключит право каких-либо идеологических кругов вмешиваться в личную жизнь человека. Третье. Суд должен постановить, что религия не имеет права вмешиваться в науку, в частности в медицину, и гарантировать такое невмешательство. Четвертое. Молодежь, которая наравне с...

Судья. Простите, сколько всего пунктов?

Женщина. Восемнадцать.

Судья. Прошу вас, оставьте это мне. Я внимательно ознакомлюсь со всеми восемнадцатью.

Женщина. И кроме того, ваша честь. Уже то, что вы своим распоряжением заставили отложить операцию, является нарушением демократии, против чего наше общество будет публично протестовать.

Судья. Благодарю вас. О времени разбирательства вам сообщат. *(В микрофон)* “Юридическая лига”. Коллега, прошу вас.

Женщина уходит, входит певец с песенкой “Закон и право” (! !). Певец уходит. Входит Адвокат.

Судья. Рад тебя видеть, дружище.

Адвокат. Добрый день, господа. *(К судье)* Ну, я тебе не завидую!

Судья. Да, ничего веселого.

Адвокат. Тем не менее, шуму будет много, вопрос, поможет ли это твоей карьере или наоборот...

Судья (*разводит руками*). Значит, в случае суда ты и будешь представителем лиги?

Адвокат. Смею тебя уверить, что не хотел бы им быть. Я вообще был против этой затеи. Но по требованию трех членов комитета мы утром собрались — и вот я тут.

Судья. Что же скажут господа юристы?

Адвокат. Ты можешь быть мне благодарен. Я настоял на том, что мы прежде всего обратимся к тебе с просьбой обсудить проблему неофициально. С этим я к тебе пришел.

Судья. Очень рад такому подходу. Я пригласил уважаемых медиков, надеюсь, ты не возражаешь.

Адвокат. Напротив, напротив! Видишь ли, речь идет о дееспособности пациентов.

Кен. Что вы имеете в виду?

Адвокат. Я начал бы с другого. Кто, собственно, стал настаивать на операции? От кого исходит инициатива?

Кен. Я понимаю. Пожалуй, что от них. От близнецов. Хотя, разумеется, мы думали об операции с самого начала. Но сейчас — от них. Они стали взрослыми.

Адвокат. О! Как раз в этом-то и вопрос: взрослые ли они? Иными словами, требуя операции или принимая на себя ответственность за свою судьбу, являются ли они достаточно дееспособными, чтобы мы могли позволить им это?

Кен. Кто мы?

Адвокат. Общество. Закон.

Им. В психологическом плане у них нет никаких отклонений от нормы.

Адвокат. А жизненный опыт? Какой он у них?

Им. Разумеется, ограничен.

Адвокат. Как бы вы это назвали? Некий — инфантилизм, может быть?

Им. Д-да. Возможно, что так.

Адвокат. А если так, то мы можем предположить здесь недееспособность, мы должны требовать, чтобы ответственность за решение, связанное с опасностью для их жизни, принял за них кто-то другой, родители, например, или другие родственники.

Пауза. (Эпизод (! !) – около 5 минут до реплики Судьи “Простите, профессор”, и т.д.)

Кен. Кто определит, дееспособны они или нет?

Судья. Судебно-медицинская экспертиза. Если дело дойдет до суда.

Адвокат. И второе. В случаях, связанных с опасностью для жизни, или при угрозе инвалидности, родителям или близким родственникам следует сообщить об операции. Здравый смысл подсказывает необходимость установить родство близнецов с теми, кто были... э-э... донорами.

Кен. Вы прекрасно знаете, что тайна донорства была условием, без которого они б и не родились. На этом настояла умершая женщина, и на этом настаивали также мы, врачи и биологи.

Адвокат. Да-да, мне это известно. Но видите ли, дорогой профессор, ситуации, связанные с жизнью человека, – они так меняются! Представьте себе, что не в этом, а в другом, аналогичном случае, родившая таких же близнецов женщина благополучно будет здравствовать, а имена доноров будут известны. Каким образом вы квалифицируете родственные связи между детьми и родившей их женщиной?

Кен. Почему мы должны заниматься сейчас... теоретическими рассуждениями? Той женщины нет в живых.

Адвокат. Но доноры не исключаются. И следует определить, являются ли они родителями в юридическом смысле.

Кен. Их никто не знает. Их нет.

Судья. Простите, профессор. Я должен вас предупредить. Судя по тому, что происходит вокруг близнецов, не исключено, что на вас окажут сильный нажим с целью выяснить, кто же все-таки доноры. Возможно, мне как судье придется в какой-то момент потребовать от вас прямых ответов. Не сейчас. Я говорю о возможности.

Пауза.

Кен. Я откажусь дать ответ.

Судья. Представьте, что кто-то из этих доноров прибегнет к шантажу. Положим, потребует от вас компенсации за то, что вы в свое время лишили его ребенка.

Кен. Какая чушь! Это тоже из области теоретических рассуждений? Только, простите, уж больно они грязны!



Судья. Согласен. Однако, хотя проблему... родства доноров и близнецов стал обсуждать мой уважаемый друг и коллега, должен сказать и я, что мы, по-видимому, уже сейчас должны будем заняться этим не в теории, а на самом деле.

Адвокат  
Кен *вместе* { Любопытно!  
                          { Что такое?

Судья. Незадолго до нашей беседы мне звонил комиссар полиции. Некая особа, которую там, в полиции, хорошо знают, вдруг явилась к ним и потребовала арестовать вас, профессор, за то, что вы якобы держите взаперти ее ребенка и не пускаете ее к нему.

Им. Боже мой!

Судья. Она заявила, что именно она мать одного из близнецов и что она раскроет, как она выразилась, "тайну профессора Кена". В полиции ей объяснили, что она со своими обвинениями должна обратиться в суд. Из газет комиссар полиции уже знал, что я буду связан с делом близнецов по иску "Сынов Небес", поэтому он и решил сообщить мне о странном визите. Он предупредил, что эта дама скорее всего шантажистка.

Кен (*вскакивает в возбуждении*). В клинику! Быстро! Она там! Вы понимаете? Она, конечно же, должна быть там! Проклятые газеты! Проклятый доктор Эт! Теперь борьба за научный успех идет не среди белоснежных полей больничных кроватей, а на грязных поверхностях вот этих паскудных листков (*потрясает газетами*) — вот, вот, вот!

Им (*спокойно, с твердостью*). Нет, дорогой мой. Не тут и не там. В душе. В нашей совести, — там, где всегда. Только там. То, что ты сказал о Гималаях... о побеге...

Кен. О Гималаях?

Им. Да, о трусости. Его и моей. Может быть, нас — и его и меня, тех, какими мы были тогда, теперь во многом можно обвинить, — теперь, когда ты видишь последствия давних наших поступков. Но сейчас струсил ты. Ты ушел в сторону. Ты испугался принять решение в одиночку. Это ты отдал судьбу детей в руки доктора. Ты спрашиваешь, почему мы не стали любовниками? Ты никогда не был мужчиной.

Пауза. Кен пораженный смотрит на Им.

Кен (*тихо*). Я еду в клинику. Думаю, тебе не стоит туда возвращаться.

Им. Я еду с тобой.

Уходят.

Судья (*после короткого размышления набирает телефонный номер. Говорит в трубку*). Комиссар? Да-да, это я. Мне кажется, полезно было бы направить в клинику одного-двух ваших ребят. Да, эта женщина, вероятно, там. Во всяком случае, профессор хорошо ее знает. (*Кладет трубку. Раскуривая сигарету, к адвокату*). Видишь ли, коллега... Эта особа... Она утверждает также, что профессор и та госпожа, что была с ним здесь сейчас... Словом, что это они зачали одного из близнецов.

Затемнение. Музыка: октавные пассажи в разработке первой части Пятого концерта Бетховена. Когда дается свет, на середине сцены, близко к рампе, стоят Кен, напротив и на некотором расстоянии от него Зот, между ними и чуть глубже, так что все трое составляют как бы треугольник, — Им. Свет застает Кена и Зота как будто на полуслове. Все в напряженном возбуждении: Кен и Зот с вызовом смотрят друг на друга, Им беспокойно переводит взгляд то на Кена, то на Зота.

Кен (*угрожающе-тихо*). Ты плохо кончишь, Зот. Ты переходишь границы.

Зот (*с издевательским торжеством*). Какие такие границы? Нет границ. Ты, чистюля, интеллеktуал, профессор, из года в год таскался ко мне в мою несчастную маленькую комнатку и за деньги спал со мной, когда хотел, — ты мне говоришь, что я перехожу границы? А где они у тебя, эти границы?

Кен. Я говорю, возьми себя в руки, Зот. Мы можем все обсудить спокойно.

Зот (! !). А что мне с тобой обсуждать? Чтой-то ты не появлялся у меня последнее время? (*Хихикая*) Или ты стал импотентом? А может, ты начал, наконец, спать с ней (*мочает головой в сторону Им*)? Боже, сколько слюней ты пускал, рассказывая, какая она хорошая, какая галантная и умная! Подумаешь! Старая дева! Ты плохо думал обо мне, вот что! Я бы приняла тебя и так, и без постельных штучек, которые ты так любил. Я бы приготовила твой любимый кофе по-турецки с ванильной травкой. Вот видишь? Я все помню. (*Угрожающе*) Я все помню, и не смотри на меня такими глазами. Тьфу! (*Как бы плюет издали в лицо Кену.*) Мне нечего обсуждать. Эль — мой сын и весь мир об этом узнает.

Кен (! ! — кричит) . Замолчи, идиотка! Тебе никто не поверит! Тебя сочтут за дешевую шантажистку, и мне не нужно будет даже стараться, чтобы тебя уперкли в больницу для умалишенных! Вспомни, сколько раз ты была уже на грани белой горячки, и я спасал тебя? Но однажды я и пальцем не шевельну. Ты плохо кончишь, я это знаю!

Зот (! !). Ах, ты меня спасал? А кто давал мне деньги, кто держал меня на привязи всю жизнь — и не женился, и не бросил? Ну, не женился — хорошо, я понимаю. Такой чистоплюй, как ты, он может спать с грязной девкой, но никогда не женится на ней. Хорошо. Но почему не бросил вовремя, скажи, а? Почему? Молчишь?

Кен. Прекрати же, наконец...

Зот (! !). Молчишь? Я скажу, почему! Потому что ты был похотлив, вот почему. Потому что я была красивой, вот (к Им), смотри (выставляет грудь), ему нравились мои полные круглые груди, — сколько раз ты мне это говорил? — и моя вот эта красивая жопа — сразу ниже тонкой выгнутой талии — “изгиб, как у античной лиры” — ты так говорил?

Кен (орет, готов броситься на нее) . Вон, подлая тварь!

Зот (все больше распалаясь) . Ты что, не знал, что ко мне ходят другие мужчины? Знал прекрасно! Только тебе было на это плевать. Тебе было нужно мое (рыдает наполовину деланно) ... мое красивое... юное... мое чистое тело... Это ты, ты развратил меня... Если бы не ты, я бы пошла работать... я бы...

Кен. Сколько раз я тебя устраивал на работу?!

Зот. И опять приходил и опять приносил мне деньги, да?

Кен. Ты напивалась снова и снова, тебя выгоняли, и все начиналось сначала!

Зот (с нейтральной интонацией) . Двадцать.

Пауза. Никем незамеченный входит Хэй — в белой блузе и белых штанах, в сандалиях, — похожий на индуса. Он молча встает в стороне и слушает.

Зот. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч долларов, и я уеду.

Кен. И предварительно подпишешь то, что я продиктую.

Зот. Нет. (Ханжески) Как это я, мать, отрекусь от своего ребенка? Ты с ума сошел. Мой сын мне этого не простит. Так же, как дочь...

Кен (кричит, кидаясь к ней) . Ни слова!!!

Зот (тихо, удовлетворенно смеется) . А-а, вот чего ты боишься

больше всего... Ты выдал себя... Тебе это будет стоить... Это будет стоить...

Им (*про себя*) . Это невозможно больше выносить...

Кен (*к Им*) . Я же просил тебя не возвращаться в клинику.

Им. Бедные дети...

Зот. Сколько же это будет стоить... "Тайна профессора..." (*Хочет*) А вы знаете, я напишу мемуары. Детектив. Напишу там все, как было! Хо-хо-хо!.. А что? У меня есть знакомый корреспондент из газеты. Я буду рассказывать — он писать. Куча денег! Сейчас все так пишут, — проститутки, гангстеры, министры, любая шваль. (*Воодушевляется.*) И начну с того, как с вершины горы — как она? — Гималай? — лезут двое — будущий профессор и его друг... (*Всхлипывает.*) Бедняжка... Эль, крошка моя! Его бедный папочка погиб... разбился и лежит еще, наверно, там где-то, в глубокой пропасти, в снегу...

Хэй выступает из тени вперед. Он улыбается улыбкой йога.

Зот (*первая замечает его. Кричит в ужасе.*) А-а-а!..

Все оборачиваются к нему.

Кен. Что это... значит? Вы... ты... нет!..

Им. Хэй? Это — ты, Хэй? (*Шатаясь, идет к нему, на полпути останавливается.*)

Хэй. Вчера я услышал, что должен увидеть всех вас. Вот почему я здесь. (*Садится на пол, скрестив ноги в йоговской позе.*) Я расскажу с самого начала. Видишь ли, Кен. Когда ты сорвался с уступа и не удержал веревку, я тоже потерял опору. Но я попал на нижний карниз. Ты не видел меня. И все заносило снегом. Если бы ты, поднявшись, снова попытался обогнуть уступ, ты смог бы увидеть меня и опустить мне веревку с карабином.

Кен (*с ужасом*) . Уступ?.. обогнуть тот уступ?.. Ты был мертв... ты был мертв... ты разбился!..

Хэй (*качает головой, улыбается*) . Ты не видел меня мертвым, Кен. Ты не обогнул уступ. Если бы ты его обогнул, ты бы увидел меня. Но ты двинулся в другую сторону, к лагерю. Все заносило снегом, Кен.

Кен. Ты был мертв... Ты рвался в эти Гималаи, чтобы погибнуть там. Хэй, я поехал с тобой, потому что знал, что...

Хэй (*кивает, улыбаясь*). Да, я в то время думал о смерти. Тогда любой из нас мог погибнуть.

Кен. Ты хотел... ты вовлек меня в это безумное соревнование — кто окажется ближе к смерти.

Хэй. Я оказался ближе. Но ты не подошел. Там было двенадцать шагов до поворота, и ты бы увидел меня внизу, на карнизе, Кен.

Кен. Мы потом пытались вернуться. Все заносило снегом.

Хэй. Ты знал, что я думал о смерти, и ты решил, что я разбился...

Зот (*всхлипывает. С прежними жестами и мимикой, с прежней интонацией повторяет конец своей предыдущей реплики.*) Бедняжка... Эль, крошка моя! Его бедный папочка погиб... разбился и лежит еще, наверно, там где-то, в глубокой пропасти, в снегу...

Кен (*кричит*). Убирайся вон, мерзавка, или я выброшу тебя отсюда как паршивую тварь!..

Зот (*с удовольствием от скандала*). А-а-а, вот как-а? Он угрожает мне насилием!

Кен. Пиши, наконец, письмо и убирайся!

Зот (*уже не слушая*). Он мне угрожает?! Я буду защищаться (*входя в роль*) — вот! Сейчас! (*Роется в сумочке, достав пистолет, отбрасывает ее.*) Ну — смотрите! (*Наставляет пистолет на Кена.*) Я считаю. Тридцать тысяч, — ну?

Кен (*спокойно*). Убери его сейчас же и прекрати истерику. Это уже столько раз повторилось, что теперь-то я его, наконец, отберу у тебя (*направляется к ней*).

Зот (*отступает*). Не подходи! Сорок тысяч долларов, или я (*чуть приподымает пистолет*)...

Выстрел.

Зот (*падая и держа в руке пистолет, удивленно*). Это... не я... разве я... стреляла?..

К ней кидаются Им и Кен. И когда Им опускается над ее телом, рука Зот в последней судороге нажимает на курок. Второй выстрел. Им падает на тело Зот.

Вбегает Полицейский.

Полицейский (*его трясет*). Почему второй выстрел?! Я разве промахнулся?

Кен (*поддерживая Им, берет из руки Зот пистолет*). Нет-нет,

сержант, можете не беспокоиться. Все в порядке. Вы не промахнулись.

Подносит пистолет к своему виску. Вместе с третьим выстрелом гаснет свет.

Звуки двух сердец и дыхания. Музыка второй части Пятого концерта Бетховена. На середине сцены постепенно добавляется свет. Медленно проступает картина, во всех деталях повторяющая мизансцену эпизода начала операции. Кен, Им, Эт и Сестра. Кен стоит неподвижно ближе к рампе, держа руку у лба — в позе, какую он принял после слов Эта "Мне нравятся новые вещи". Соответственны этому эпизоду и положения остальных.

Им (*повторяет свою реплику в прежних интонациях*). Ввожу первую дозу, по полтора кубика слева и справа. Кен, с тобой все в порядке?

Кен (*выходя из оцепенения*). Да-да. Я ждал, пока отпотуют очки.

Идет операция. Стук сердец, дыхание, музыка. В глубине появляются и медленно движутся к авансцене Эль и Аль. Их бедра стянуты общим бинтом. Продвигаясь вперед, они медленно разворачивают бинт, передавая его конец друг другу из рук в руки. У края сцены последние витки бинта опадают. Их бедра свободны. Эль и Аль поворачиваются лицом к лицу, заключают друг друга в объятия и в любовных ласках опускаются на землю.

Затемнение.

Конец.

29 сент. — 9 окт. 1981 г.

**Феликс Розинер**  
**101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ**

Цикл с поэтикой аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи: 13 отдельных листов в папке на рисовальной бумаге "Энгр".

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть.

11 долл. (в шекелях) — для Израиля  
15 долл. (с пересылкой) — за границей.

F. ROZINER, P. O. B. 1039, Bene-Beraq, 51110, Israel

Без пяти минут три. Мы с Юлей поцеловались, она погладила меня по щеке, открыла дверь, я успел увидеть милиционера внутри, и дверь за ней закрылась.

Постепенно начало смеркаться. Я ходил туда и обратно по дуге Дворцовой площади перед фасадом Управления. Доходил до одного угла, бросал взгляд на перспективу улицы Герцена до института Бонч-Бруевича, поворачивал обратно и шел к другому углу, там смотрел на Капеллу, но не видел ничего ни там, ни там. Да и нечего было видеть. Всей душой, всем сердцем, всеми глазами я был внутри этого здания. Мне представлялся бесконечный коридор, узкий, холодный, с длинными скамьями вдоль стен, и двери, двери, двери. И коридор пуст. И только одинокая фигурка, сидящая в углу скамьи возле двери номер 211.

Половина шестого и шесть. Ее не было. И начал расти во мне ужас. Я заметил, что внутри у меня звучит одна и та же мелодия: "Юля, Юля, как же так?" Я все ходил и повторял эти слова. Раз, на углу, я посмотрел не на Капеллу, а на набережную Мойки. Там, на задах Управления, стояли машины, штук десять, и даже "воронок" один.

*Борис Поляков*

**АВТОПОРТРЕТ  
С  
ЮЛЕЙ**

(окончание; см.  
"22", № 33)

Ясно, что Шрайбера и Коваленко как-то привезли, заехали, конечно, внутрь. И увезут... А Юля? Не думать.

Ноги у меня гудели. Я остановился против входа у фонарного столба. Снег теперь сыпал густо, и все вокруг было затянуто пеленой. Ужасно захотелось в уборную.

На этой большой и холодной площади некуда было деться. Я боялся уйти и пропустить Юлю. А зайти в милицию я не хотел. Весь этот дом внушал мне ужас и отвращение. Я был один на этой стороне площади. Вдалеке сквозь снег видны были трамваи, автобусы, там, возле ограды Александровского сада, шли люди, там была какая-то жизнь. Здесь же в прямом смысле — мерзость и запустение.

Спросить? Кого? Этого сержанта, что стоит при входе? Что он может знать? Допустим. Как спросить? Простите, вы не знаете, какова судьба девушки, которая вошла сюда четыре часа тому назад, нет, четыре часа и тридцать семь минут назад? Попросить его, чтобы позвонил в 211 комнату? Вдруг в ответ: она арестована и уже три часа находится в Крестах?.. Нет, об этом не думать! А о чем думать? О чем можно думать, стоя на этой площади? Воплощенное имперское величие. Перекочевало из Зимнего дворца напротив. Пожалуйста, справа налево: Штаб Военного округа, Управление милиции, Штаб ПВО, как мне кто-то сказал. И посередине фаллос взбодрили, и стоит, освещенный прожекторами со всех сторон. Самое пустое место в городе. Зато красивое. Да, я знаю, что красивое, но...

Какое отчаяние. Юля, Юля, как же так, где же ты? За каким из этих двенадцати освещенных окон? Как трогательно она это сказала: "Пойду сменю воду в аквариуме"... Я бы тоже сейчас "сменил воду". Но не могу уйти. Господи, уже пять часов прошло! Какому Богу молиться? Иисусу, Иегове, Аллаху? Не умею. Мякинину? Мякинин, пожалей ее. И меня. Смотри, как я замерз, стою здесь, весь облеплен снегом, и мучительно хочу "сменить воду в аквариуме"...

Я стоял, и тупо смотрел на дверь, и не видел, как сержант подошел к двери с той стороны и стал дверь отпирать. А увидел я вдруг Юлю, она вышла и подошла ко мне.

— А вот и я, — сказала она тихо.

— Все в порядке? — спросил я, а сам уже увлекал ее под арку на улицу Герцена. И вот — полуоткрытые ворота. — Стой на "атасе"! — крикнул я и юркнул во тьму...



— Чего ты плачешь? — спросила Юля.

— От радости. А ты?

— От обиды. Вся эта очная ставка продолжалась минут сорок, а пять часов этот подлец заставил меня просидеть у его двери. Ты не можешь себе представить, чего я только не передумала за эти часы. О тебе все время думала, как ты тут, или ушел, я бы не обиделась. Я так любила тебя там, в коридоре этом...

Мы ехали в автобусе, и она рассказывала мне на ухо, что там было. Вовсе Шрайбер и Коваленко друг на друга не кричали, а главное, оба выгораживали Юлю. Следователь особенно интересовался тем, как они готовили билеты для продажи... Но в общем, все было не так страшно, как ожидалось. Когда Шрайбера и Коваленко увели, они оба стриженные, страшные такие, следователь сказал, что суд будет примерно через месяц, и Юля будет выступать как свидетельница обвинения...

\* \* \*

Роза Борисовна и дядя Марк сидели за столом. Стоявшая на столе бутылка коньяка была наполовину пустая. Оба были слегка навеселе.

— А вот и наши бедагаи, — сказала Роза Борисовна. По нашим лицам она увидела, что поход кончился благополучно. — Все хорошо? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — А мы уже отмечаем. Ты знаешь, Витя, мне сегодня пятьдесят три годика исполнилось. Юля, ну-ка доставай из шкафа бутылку и рюмки. А я сейчас из кухни принесу, что наготовила.

— А я вас поздравляю, — сказал я, — вот вам эти гвоздики, наш с Юлей подарок.

— Я-то прихожу с работы, вижу букет. Я так и подумала, что это от вас. Спасибо, детки, — и она вдруг прослезилась.

— Ну, мать, ты уж совсем пьяная, — сказала Юля. — Садись, я все сама принесу.

Мне налили полный стакан водки, промерз, мол, до костей, быстрее согреешься. И я как-то удивительно быстро опьянел. Так хорошо и тепло было сидеть под этим желтым абажуром, возле стола, уставленного всякими салатами, рядом с этими милыми людьми, рядом с любимой моей Юленькой, слушать их разговоры, проваливаться куда-то, и снова выплывать, и опять слушать...

— Ну, дальше, — сказал дядя Марк. — Рассказывай, Роза...

— ...Однажды утром я проснулась, как будто меня кто-то толкнул, а толкать меня было некому, и подумала: что же это происходит? Куда жизнь уходит? Скоро тридцать пять, а я все одинокая и одинокая. И тогда я пошла и отдалась, как последняя проститутка, только бесплатно, но зато человеку, который меня любил. Мы бы, может, и поженились бы, неважно, что я его не любила, Юлька росла, и он в ней души не чаял, но тут началась война, и он бесследно исчез... А что ты на меня так смотришь? — вдруг спросила она Юлю. — Ничего плохого я не сделала. Во всяком случае, главное назначение женщины — родить хотя бы одного ребенка — я выполнила. Ты даже не представляешь себе, как ты меня спасла в блокаду. Свалилась бы за милую душу, и какой-нибудь людоед мне ляжку отгрыз, хотя чего бы он отгрыз, ноги, как палки, одни кости, груди болтались пустыми мешками, а кожа на заднице висела складками, я и сидеть-то не могла... Только ради тебя и выжила...

Тут я опять немного поспал.

— ...Помнишь, дядя Марк, как мы липу жрали, а помнишь, кошку съели? Это еще до того, как ты меня в свой эвакогоспиталь взял. А Свиденских помнишь? Прихожу однажды, а она мне говорит, как же ее звали?

— Клава, — напомнил дядя Марк.

— Точно, Клава, говорит, тебя три дня не было, отец твой, говорит, Борис Григорьевич, умер, я зашла, а он лежит, вытянувшись. Думали тебя обождать, но тут возчик обходил, он и забрал. И отвез его на Сенную, там в штабель сложил. И не знаю, где его похоронили. А помнишь, клей столярный ели? А потом сама Клава померла. Казимир на фронте был. Я вошла к ней в комнату, смотрю, всякое барахло валяется и билет в театр, в Музкомедию, на завтра. Пошла к театру и обменяла билет этот на буханку хлеба. Военный какой-то. А в госпитале, ты этого не знаешь, дядя Марк, один солдатик был, молодой такой мальчик, вот как Витя, нет, постарше, он все просил, чтобы я дала ему, но негде было, да и не могла я. А однажды ночью он никак не мог... Какие-то подвиги у меня все не трудовые...

— Глупости говоришь, Роза. А какая работа была в госпитале! Этого не помнишь? И как все мы с ног валились, и сколько умерло...

Роза Борисовна заплакала и закрыла лицо руками. И вдруг закричала не своим голосом:

— Сволочи, подлюги, бандюги, гады!

— Ну что ты, мамочка, — жалобно простонала Юля и тоже заплакала.

— Угробили три миллиона человек, уморили голодом и холодом, да сами немцы никогда не смогли бы этого сделать. Ну, убили бы триста тысяч евреев и еще столько же других, как везде, так они все равно умерли, но ведь не три миллиона же. Город же был совершенно пустой, никого же не осталось!..

— А как же... — начал было я.

— Как же камни? Эрмитаж? — закричала она. — Да провались они, эти камни, эти картины. Им камни были нужны, а не люди. Вон, Варшаву целиком разрушили, и плевать, зато люди остались и отстроили, а где наши люди? Вот были же немцы в Киеве, в Минске, в Одессе, но ведь нигде же не погибло все население... Немцы и пришли, чтобы нас уничтожить, с ними счеты простые. Но зачем это было делать собственными руками?..

— Не плачь, Роза, — спокойно сказал дядя Марк и похлопал ее по руке.

— Ну как же, как же не плакать, дядя Марк, — ответила Роза Борисовна, — когда такое одиночество тут вот, — она положила руку на грудь.

Юля пошла проводить меня до дверей. На лестнице мы поцеловались, и Юля сказала:

— Я так люблю тебя, мне ужасно жалко, что ты должен уйти.

Я еще не протрезвел и в автобусе заснул, но все-таки на своей остановке вышел. И придя домой, взял том Энциклопедии, которую исправно выкупал МД, и прочел в статье о Ленинграде, что фашистская блокада причинила огромный ущерб советскому народу, и было сказано о количестве разрушенных зданий и ни слова о количестве человеческих жертв.

## ГЛАВА 14

К двери возле Юлиного звонка была прикреплена записка: "Витя, зайди ко мне. М. А."

Я постучал, мне открыл майор Опенкин и, хотя я очень вежливо поблагодарил, что-то долго ворчал неразборчиво.

Дядя Марк сидел в любимом кресле, заложив ногу на ногу, и длинными тонкими пальцами с аккуратными ногтями разминал "беломорину".

— Здравствуйте, — сказал я, — а где Юля?

— Юлوشка ушла по делам, в ломбард, что ли, толком не сказала, куда. Велела мне тебя развлекать.

Я придвинул стул и сел возле письменного стола.

— Ну, развлекайте.

— Сейчас развлеку, — сказал дядя Марк и закурил. — Налей-ка мне коньяку, вон там, в буфете.

— А мне?

— И себе тоже.

Мы выпили по рюмке. Дядя Марк был явно настроен поговорить.

— Роза права, — сказал он, — женщина она, можно сказать, неграмотная, окончила школу после революции, что это была за школа? Так и просится грубое слово. Потом мотало ее по великим стройкам пятилеток, Комсомольск этот строила вместе с зэками. Так ничему и не научилась, только книжки читать. Но она права: там, — он указал пальцем в потолок, — там сидят одни бандиты. — (Палец у него был удивительно кривой. Я был поражен, когда увидел его впервые. Юля сказала, что его дяде Марку сломали во время пыток в 52-м году.) — Малообразованный человек, зато лучше чувствует.

Он закурил, выдохнул дым через ноздри и продолжал:

— Какое счастье, что я скоро умру. Бежать бы в какую-нибудь страну, на остров, в берлогу, в норку, куда-нибудь, но только в такое место, куда они придут позже всего. Но мне, слава Богу, уже не нужно.

Он задумался, дымя папиросой и разглядывая свой изуродованный палец.

— Болит он у вас? — спросил я.

— Иногда. Но должен тебе сказать, что когда я ночами просыпаюсь в холодном поту, и сердце колотится так, что кровать ходит ходуном, я вспоминаю чаще не то, как мне ломали пальцы, или просто и вульгарно избивали, или тушили об меня папиросы, это делал обычно один следователь, Смирнов, а вспоминаю я другого следователя, фамилия его была Цадиков, и был он большой интеллектурал. Он знал даже, что в Париже живет писатель — мой полный тезка, Марк Александрович Ландау. Вот послушай, может,

тебе будет интересно. Однажды ночью в ноябре, я уже полгода просидел, доставляют меня к Цадикову, и он мне говорит примерно так: “Наконец-то, Марк Александрович, мы знаем, за что вы сидите у нас. Вы — участник огромного сионистского заговора врачей, которые поставили своей целью уничтожение наших руководителей”. — “Каким образом?” — спрашиваю я. — “Неправильным лечением!” — “Но я не имел никогда никаких дел ни с одним руководителем”. — “Это не имеет значения, — говорит Цадиков. — Важно наличие заговора. А заговор налицо”.

Дядя Марк сделал большие глаза, наклонился ко мне, как будто я был он, а он — Цадиков, и сказал:

— Вот тут у нас папочка, номер по описи 13-й, 162 страницы полные и еще десять строчек на 163-й странице. — И показывает мне Цадиков мою рукопись “Эвакогоспиталь 10–16”. Однажды в 49-м году пришел ко мне один мой бывший работник (а я два с половиной года был главврачом и начальником этого госпиталя) и говорит, что ему нужно оформлять пенсию, а документы госпиталя погибли уже после блокады. Мы с Розой ходили к нотариусу и подтвердили, что он с нами работал. И загорелось мне написать историю нашего госпиталя: обо всех врачах, сестрах, санитарках, которых я помню. Три года писал. И по странной прихоти душевного выбора это писательство было мне дороже предыдущих сорока пяти лет работы врачом. — Здесь, — говорит Цадиков, — чуть ли не двести человек, но нас особенно интересуют два врача-хирурга, Ося Сандлер и Лазик Гастер, как вы их называете в одном месте. В Ленинграде они не проживают. Расскажите мне подробно все, что вы знаете об Иосифе Сандлере и Лазаре Гастере.

Дядя Марк опять закурил.

— И что же дальше? — спросил я.

— Ничего. Три месяца таскали на допросы, а потом вдруг оставили в покое. А еще через месяц, а точнее, 28 марта 1953 года я пришел домой. Потом просил вернуть мне папочку. Ни черта. Уничтожена, говорят. Но это ложь. Они ничего не уничтожают. Поэтому я просыпаюсь в холодном поту: те, кого я любил, о ком писал с любовью, там, готовый заговор, и я виноват, что они там.

— Вы преувеличиваете, Марк Александрович, — сказал я, — времена переменялись.

— Не смей меня, мальчик, — сказал он. — Это годы идут, а

времена стоят. Как в 17-м году остановились, так и стоят. Новое средневековье... А давай-ка еще выпьем. Скажи тост.

— Давайте выпьем за то, чтобы вы умерли в своей постели.

— Молодец, — сказал дядя Марк и громко засмеялся. — Но, во-первых, я не со всяким разговариваю, а во-вторых, я ничего не боюсь. Самое страшное, что может быть, это физические страдания. Именно поэтому так боятся смерти. После смертельной боли жить нельзя, она непереносима. Так что не нужно бояться, что останешься жить. Смотри, миллиарды уже эти страдания прошли — и ничего... все умерли. Чокнемся.

И в этот момент стукнула дверь и вошла Юля. Она была очень красива, раскраснелась на морозе, пахла снегом и свежестью. Она поцеловала меня в щеку, а дядю Марка в макушку.

— Ты обедал? — спросила меня.

— Я есть не хочу.

— Тогда будем чай пить. — И она унеслась на кухню.

Потом мы пили чай. Дядя Марк думал о своем.

— А я тут рассказывал Вите про рукопись мою. Помнишь, Юлешка, как я писал, а ты мне мешала? У меня там даже стишок одного солдата был. Славный парень, провинциал такой, полудеревенский. Умер от гангрены. Теперь бы пенициллином его вылечили. А так Лазик Гастер сделал ему две операции, сначала ногу по колено, а потом — совсем.

— Да ну, дядя Марк, — сказала Юля, — о чем вы рассказываете? Лучше стихи прочли бы, если помните.

Дядя Марк посмотрел на нее долгим взглядом.

— Смешные, длинные, наивные, — сказал он, — но милые, все у него сплетался город с деревней. Трамвай — пастух, люди на работу идут — как стадо. Кончалось на пронзительной такой ноте. "Я слышу утренний рожок трамвая, голосивший звонко. Я помню дождик и снежок... Те дни. Тот город. Та девчонка..."

Мы с Юлей ушли в ее комнату. Дядя Марк снова сел в свое кресло и взял в руки книжку.

\* \* \*

— Смотри, что я тебе купила, — сказала Юля, радостно улыбаясь. Это была пара коричневых кожаных перчаток с мехом внутри.

— Вот это да! — сказал я восхищенно. — Никогда ничего подобного у меня не было. Спасибо, Юленька! — Я померил перчатки,

побоксировал “с тенью”, постукал кулаком одной руки в ладонь другой. — Просто чудо какое-то. Теперь я понимаю, почему тебя целый день не было.

— Ага, — сказала она, — сначала в ДЛТ, потом в “Пассаж”, в “Гостиный двор” — нигде ничего. А потом вспомнила, что у Лиды подруга во Фрунзенском универмаге работает. Она мне и достала.

— А по какому случаю такой подарок?

— Удивительный случай: я тебя люблю.

## ГЛАВА 15

Плохой день. Юля нездорова. Утром ругался. Вечером — съезд родственников.

Да, не умею держать себя в руках.

Комитет комсомола был закрыт. Я зашел в учебную часть. Те же лица — Тина, Гоша, Элла, Григ. И новое лицо — Галя. Все смотрели на меня с презрением. Громкий разговор со смехом прекратился, когда я вошел.

— Здравствуй, Галя, — сказал я. — Ты здесь теперь прописана?

— Это не твое дело, — резко ответила она.

— Мне безразлично. Хочешь послушать, пожалуйста. — И я обратился к Григу. — Ты ее любил?

Я думал, он разыграет удивление: “Кого — ее?”, но он молчал.

— Ты ее любил? — настойчиво повторил я.

— Нет! — крикнул он.

— Раз! — сказал я и загнул один палец. — Ей говорил, всем нам говорил, что любишь, а сам — “нет!” Ну, посмотри, как ты заврался. Столько ей наобещал, а все — обман.

— Да я рад, рад, — закричал он, — что освободился от этой шлюхи!

— Шлюхи? — изумился я. Какое поразительное совпадение формулировок! — Два! — я загнул второй палец. — Рад?! Так что же ты тут развел, вместо того, чтобы честно сказать: спасибо, товарищ Новиков, что ты освободил меня от этой шлюхи?!

— Лицемер! — крикнула мне Элла.

Тина Николаевна и Гоша с большим интересом следили за нашей перепалкой. Нравилось им, что я взбешен.

— Три! — и я загнул еще один палец. — Значит, Григ — не обиженный, значит, он рад, что освободился от Юли, от необходимо-

сти притворяться влюбленным, убеждать ее, что она чудная, умная, неповторимая. Значит, я не сделал ничего плохого. Так что же вы тут сидите и перемываете нам кости, и выдумываете, какую нам еще гадость сделать, куда позвонить — моей бабушке или ее маме? И в каком бы грехе нас еще обвинить?

— Он думает, что все только о нем и говорят, — сказал Гоша. — Пуп!

— Не смей разговаривать в таком тоне! — вступила и Тина.

— А в каком тоне с вами разговаривать? Нежно благодарить за то, что вы в душу плюете?

— Это ты всем в душу наплевал, — сказала вдруг Галя.

Я посмотрел на нее с деланным удивлением, перевел взгляд на Грига и сказал:

— Поздравляю с удачным приобретением!

— Да уж не хуже тебя, — сказала Галя.

— Во всяком случае, я не сплетник и не доносчик. И пусть я — пуп, зато не что-нибудь другое, как некоторые! — я повернулся и вышел.

Там сразу шумно заговорили и даже что-то крикнули мне вслед.

Вечером собрались родственники: МД с женой, СД с женой, Эся с дочкой. Севки, конечно, не было.

Почему я их не любил? У меня был ответ, но явно недостаточный. Это был один из тех вопросов, на которые нельзя ответить просто.

Нормальные люди. Но мне было с ними невообразимо скучно.

Вот и сейчас, пока готовили ужин и накрывали на стол, МД рассказывал широко известную историю об ограблении "Пассажа".

— Мальчишка, ремесленник. Изучил все ходы и выходы. Вечером спрятался между дверями возле туалетов, а там двери такие, — и МД показал ладонями, какие двери, — дождался закрытия, потом — пока сторож ушел чай пить, вылез, взял в отделе кожгалантереи чемодан, а в ювелирном отделе открыл все витрины и ящики, сложил все драгоценности и часы в этот чемодан, спокойно поднялся на третий этаж, вышел на чердак, отогнул какую-то доску и оказался в соседнем здании, там техникум, агротехнический, кажется. Отвез чемодан куда-то в Сестрорецк — и не попался бы, если бы не подарил одни часы своей девице, а она отнесла их в комиссионку. Там по номеру определили, что это краденые из "Пассажа". Парня этого посадили, а теперь ему исполнилось семнадцать лет, и его взяли в школу милиции. У него совершенно



необычные сыскные способности. — И МД обвел всех торжествующим взглядом, как говорят в романах.

— Ты еще забыл добавить, — сказал я, — что теперь во всех универмагах по ночам бегают сторожевые собаки. И вообще интересно, МД, чем это ты так восхищен? Ловкостью этого парня или мудростью нашей милиции?

— Не смей называть меня “МД”, — ответил он, не глядя на меня.

— Это все, что ты можешь сказать? — сказал я, встал и пошел звонить Юле.

— Ну, как ты? — спросил я.

— Ты же знаешь, когда у меня это начинается, я как вареная. Ничего не хочется, ни о чем не думается.

— А что будешь делать?

— Дядя Марк получил “Новый мир”. лягу и буду читать.

— Завидую. А здесь собралась вся компания. Скучно.

И ошибся. Когда я вернулся в комнату, жена СД держала в руках мои новые перчатки и говорила:

— Откуда это?! Я знаю, такие перчатки стоят не меньше ста двадцати рублей. Откуда у него такие деньги? Мы не для того даем вам деньги, чтобы он покупал себе вещи, какие мы себе не позволяем! — она повернулась к бабушке и отчитывала ее, как школьницу.

— Я ему денег не давала, — беспомощно защищалась бабушка. — Витя, откуда у тебя это?

— Бабушка, — зло сказал я, отбирая у жены СД перчатки, — разве в этом дело? Тебя куском хлеба попрекают...

— Да, — сказала бабушка.

Я в это время надевал пальто и не видел, к кому обращено это “да”.

Оказалось, что бабушка говорила это жене СД.

— Да, зачем ты так говоришь, конечно, вы все даете нам деньги, что же делать, если моя жизнь так сложилась, но некрасиво, некрасиво... Витя, куда ты?

Я ушел. Очень удобный повод. Ничуть я не расстроился. Все это было уже говорено тысячу раз.

Не нужно было родиться в 40-м году, потерять родителей во время войны. Потерять старшего брата. Остаться вдвоем с бабушкой, завязать в тугой узел свою и бабушкину жизни. Ничего этого не нужно было. Тогда не пришлось бы слушать эти еже-

месячные стоны: "СД — четыреста, МД — триста, Эся — двести. А ушло тысяча сто".

Я дошел до мастерской "Ремонт часов", которую все называли "Павел Буре". Здесь мы были с Юлей, хотели сдать в починку мои часы, доставшиеся мне от брата, но что-то в них было "цилиндрическое", и поэтому чинить их отказались. И внезапно я догадался... что нужно немедленно позвонить Юле. Первый автомат был испорчен, второй работал.

Юля сняла трубку.

— Почему ты подошла? — спросил я. — Ты же лежишь.

— А я знала, что это ты. Пришла Лида, мы с ней болтаем. И я все время внушаю тебе, чтобы ты позвонил.

Я засмеялся:

— Как же ты внушаешь?

— Представляю себе твою комнату, тебя, как ты сидишь за столом со своими дядями, и говорю тебе: Витенька, дорогой мой, поставь чашку, отодвинь стул, встань, пойд и позвони. Вот ты и позвонил. А чего ты звонишь?

Мы оба помолчали.

— А что, — сказала Юля, — у вас телефон возле окна?

— Почему ты так думаешь?

— Гудки автомобильные...

— Нет, Юленька, я на Невском, возле "Буре". Слушай, а где твои часы?

— Какие часы? — спросила она, помедлив секунду.

— "Победа". Предмет моей тайной зависти. Можешь не говорить, я и так знаю. Когда ты ходила в ломбард, ты их заложила. За сколько?

— За сто сорок.

— И купила мне перчатки? Спасибо. А что будет с часами?

— С декабрьской стипендии выкуплю. А как ты догадался?

— Потому что я тебя люблю. Все остальное — дело техники.

— Я тебя тоже люблю. Хочешь приехать?

— Нет. Ты разговаривай с Лидой. Интересно, о чем это вы там разговариваете? А я съезжу к Яше. Почти два месяца не был.

И я поехал к Яше, и просидел у него часа три, болтая на разные темы.

## ГЛАВА 16

Весь наш курс на двухнедельной практике. Моя группа первую неделю – в хирургии портовой больницы Чудновского, вторую – в роддоме на проспекте Газа.

Так приятно не находиться в стенах осточертевшего училища, не видеть эти лица, которые, как назло, встречались на каждом шагу, – что ходил бы на практику до самого конца учебы.

Вставать нужно было рано, чтобы успеть к раздаче лекарств, процедурам, перевязкам, уколам. Четыре раза присутствовали на операциях. Все мне было интересно. Только одного не хватало: возможности видеть Юлю на переменках между лекциями.

В те дни мы встречались с ней ближе к вечеру, бродили, взявшись за руки, потом я провожал ее домой и, бывало, мы подолгу стояли на площадке и целовались – Роза Борисовна была дома, по словам Юли, “у нее все время плохое настроение”.

И я не сразу заметил, что настроение плохое не только у Розы Борисовны, но и у Юли.

У нее появилась новая привычка: стоит неподвижно у окна, как-то зябко обхватив себя руками, и смотрит вдаль, поверх флигеля, в просвет между домами на садик, засыпанный снегом, на ребятишек, бегающих там.

– Я боюсь.

Это постоянные ее слова. Страх совершенно обессиливал ее. Глаза ввалились. Она похудела. Почти ни о чем не могла говорить.

– Но ведь ты же ни в чем не виновата, – говорил я ей в сотый раз.

– Не знаю. Теперь я ничего не знаю. Я чувствую, они меня засудят.

– Давай рассуждать здраво. По какой статье?

– Мошеничество. Так адвокат сказал. А чтобы меня не волновать раньше времени, успокоил, что мне обвинения не предъявят. Но я знаю, знаю, я чувствую...

Человек не должен испытывать такого страха. Это навсегда калечит душу.

... В последний день практики в больницу привезли утром парня лет двадцати, моряка со шведского судна. Острый аппендицит. Сделали операцию под общим наркозом и положили в кабинет заведующего отделением. То ли не должен он был видеть наше палатное убожество, то ли негоже было общаться нашим больным

с иностранцем. В общем, получил он люксовые условия – и постоянную сестру возле себя, спящего. Не знаю, почему, выбор завотделением пал на меня.

– Дежурная медсестра – Новиков, – сказал он. – Пост с восемнадцати вечера до восьми утра.

Юля расстроилась, что я не смогу прийти.

В шесть часов я был на посту. Швед спал, голова его была повернута на бок, ко рту приставлен почкообразный тазик на случай рвоты. Лицо у него было в прыщах, розовое, несмотря на наркоз, лоб резко разделен на два цвета: красный и белый, там, где у него всегда была надвинута фуражка. Я его запомнил, потому что провел возле его койки несколько хороших часов.

На столе лежало имущество шведа: две пачки “Честерфильда”, одна неполная, и пачка фотографий, штук, наверно, сорок, на которых мой швед был зафиксирован в обнимку с сорока разными девушками.

Тут же стоял телефон. Я набрал Юлин номер.

– Приглашаю тебя на ворованный “Честерфильд” и в картинную галерею, – сказал я.

Мы договорились, что она возьмет халат дяди Марка, наденет его под пальто, как делают все студенты, и ровно через полчаса я буду ждать ее у дверей больницы.

Юля пришла. Халат на ней был докторский, но гардеробщица ничего не сказала.

– Странно, – сказала Юля, посмотрев на шведа, – что он у нас делает? Разве залив еще не замерз?

Мы сидели за столом, курили потихоньку “Честерфильд” и разговаривали о разном незначительном.

Разглядывали фотографии.

– Какие девки все неинтересные, – сказала Юля.

– Он тоже не красавец.

– Но трогательно, что он их возит с собой. Любит всех, что ли?

– Да хвастается просто перед товарищами.

– Ты думаешь? – несколько наивно спросила она.

Потом наступила тишина, больные разошлись по палатам, швед спал, изредка доносился стон из какой-то палаты. Мы зажгли настольную лампу. Юле очень к лицу был белый халат. Лицо ее сделалось спокойнее. Мы тихо говорили, но не об “этих делах” и

предстоящем суде, и жаль было, что стало поздно, и ей пора было идти домой.

## ГЛАВА 17

Я сказал дяде Марку:

– Называется “К вопросу о счастье”. Вот, послушайте мой трактат. Авьось, развлечетесь. А когда станет совсем невмоготу, прервите.

Мы были в его комнате, Роза Борисовна с Юлей готовили на кухне воскресный обед. Юля, против обыкновения последних дней, была весела и оживлена.

– Послушаем, – сказал дядя Марк, – что ты настроил.

– “К вопросу о счастье. Счастье – понятие классовое. Для капиталиста какого-нибудь счастье заключается в том, чтобы выматывать жилы из людей, ничего не делать самому и только проводить жизнь в удовольствиях. Для советского человека счастье, во-первых, в том, что он живет в нашей стране. Наше советское счастье заключается в том, что мы можем трудиться на пользу других и в первую очередь (зачеркнуто, сверху надписано: и в том числе) для себя. Наше счастье – в наличии элементарных да и неэлементарных материальных благ. Наше счастье заключается в том, что советский человек может свободно любить представителя любой расы, человека любого цвета кожи, и не подвергаться опасности быть публично осмеянным и заклейменным. Счастье – сумма всех благ, которые дает наша замечательная страна. Советский человек счастлив потому, что живет в СССР. Поэтому не может быть счастлив рабочий капиталистической страны, и потому стремится он построить у себя такую страну, как наша, ибо дома он не может иметь тех благ, какие есть у нас”.

Я закрыл тетрадь и посмотрел на дядю Марка.

– Все? – спросил он. – Почему так мало?

– А вы не смейтесь. Это написано седьмого ноября 56-го года, после демонстрации. Я бы сказал, что и после прочтения шедевра “Дети горчичного рая”, но это неправда. В том году у меня был шестимесячный роман с советской властью. Он начался с публикации “Постановления о культе”, в то же время мы начали готовиться к фестивалю в Москве, а меня выбрали председателем школьного фестивального комитета, уже не помню, что

я там делал, а в сентябре меня приняли в комсомол. — (Дядя Марк курил и смотрел на меня совершенно серьезно и внимательно.) — И я просто физически ощущал свет, как у меня в этой же тетрадке написано, оттепель в мире взрослых людей, гром в феврале, живительное половодье того лета. И наступило все это как-то незаметно. Сначала был мрак. Еврейство, клеймо; с самого раннего детства я знал, что я отверженный, что нас, евреев, будут “чикать”, вот только недавно я вспомнил некоего Мамонтова, который мне все время это говорил: “чикать”, а еще он очень чутко был к словам, например, химик скажет: “жидкий натрий”, а Мамонтов меня локтем в бок: “Слышал? Жид-кий!” Мрак, жуткая темень, все шепчутся по углам: “Вы читали?” И к тому же выскочил карбункул вот тут, под подбородком, невыносимо болела голова, не мог глотать, в поликлинике разрезали, забинтовали голову, так что шапка не налезала, а на площади Труда радио — Левитан разорялся, зачитывал телеграммы соболезнования. А потом первый праздник, впервые шумно в доме, впервые улыбки: “У Тимашук орден Ленина отобрали”. И ничего не было, не было отравлений, не было убийств, не было вредительства, не было шпионства, не было связей с “Джойнтом”, а Михозл оказался великим советским актером, а не еврейским буржуазным националистом. И было только одно: “Бей жидов, спасай Россию!” Ну, и когда советская власть хотя бы косвенно в этом созналась, я в нее влюбился.

— А как же Венгрия? — спросил дядя Марк.

— Стойте, подождите, — почти закричал я, — я к этому и подхожу. Не заметил я никакой Венгрии, то есть, конечно, читал в газетах, знал о драке у нас на стадионе Кирова, помните, кричали милиции: “Не хотим Венгрию, палачи!” И что триста человек арестовали. Но как-то шло это мимо критики. И только глупый анекдот все во мне перевернул. В конце декабря я зашел к одному парню из нашего класса, а у них радость и пьянка: старший брат демобилизовался. Из Венгрии приехал. Рассказывал о восстании и о зверствах с обеих сторон. Между прочим рассказал анекдот, который венгры о нас сочинили: “Какая разница между немцами и русскими? Для русских все — евреи”. Этот анекдот произвел на меня самое тягостное впечатление. Кончился мой роман. Но попал я в неприятное положение. Я до глубины души ненавижу всю эту идеологию, все в ней противоречит моим чувствам. Но я должен молчать, ведь впереди вся жизнь. Газет я не читаю, по-

тому что это сплошные военные сводки — с трудового фронта, с идеологического фронта. Пастернак — враг, лягушка какая-то. А что он написал — ни слова. Я не могу так жить. И при этом мне не хочется быть двуличным. И я не знаю, что делать. И я знаю, в чем моя беда, В необразованности. Вы говорили, что в семнадцать лет читали Платона. А я в восемнадцать — по-русски со словарем, как говорят...

— Ты тяжелый человек, я так и думал, — сказал дядя Марк. На обед был бульон и жареная курица.

Юля спросила:

— Ну что, дядя Марк, развлек вас Витя?

— Ничего, хороший парень, — сказал дядя Марк.

И Юля была весела до самого вечера.

## ГЛАВА 18

Опять она стояла у окна. Забыла обо мне. На что она смотрела? Справа и слева безглазые брандмауэры, внизу двухэтажный флигель — жилконтора. Вдалеке садик. Темно. Фонари. Снег. Пустыня. Забыла, что хотела лечь. И я... Еще какой-нибудь месяц назад ощущение близости вызывало безмерный восторг, который оставался во мне весь день и медленно-медленно, очень медленно уходил, испарялся, растворялся в окружающем. То самое, что бабушка назвала однажды "наглым самодовольством". А сейчас я лежал и думал совсем о других вещах. Ну чего она стоит там?

— Юлик! — позвал я.

— Жулик, — откликнулась она, продолжая курить и ко мне не повернувшись, а раньше она смотрела на меня всегда, даже если я ее не окликал.

— Юленька, — снова позвал я, — ну, иди, ляг со мной. Хочешь, я тебе расскажу что-нибудь?

— О чем? — она потушила сигарету, и легла, и притиснулась ко мне спиной.

— Хочешь, о Тонкове? Замечательный мужик. Хоть и брат родной Тинин, а училищными делами совсем не интересуется. Знает только свою работу.

И я стал рассказывать ей (не слишком подходящая тема, если лежишь в обнимку с любимой девушкой) о практике в роддоме, о двенадцати абортницах, прошедших в тот день через руки Тонкова и еще одного врача, а также наши, практикантские: мы пооче-

редно держали зеркала, и о родильном зале, в котором шесть женщин на шести столах стонали, кричали, молчали, тужились, изумлялись, увидев, что они произвели на свет. И о палате номер один, в которой женщины лежали "на сохранении". И как раз сегодня Тонков надолго задержался у первой койки справа возле смазливой бабенки в бигудях, узкотазой. Она не соглашалась на кесарево сечение, жалко ей было фигуру, живот свой белоснежный.

— Как же я на пляж выйду? Ведь вы располосуете от пупка до самого низа! — говорила она.

— Послушайте, Евдокия Андреевна, — говорил ей Тонков, — у вас физиологическое отклонение от нормы, вы никогда не сможете нормально родить. Что же, вы согласны, чтобы мы разрушили человека, которого вы доносили?

— Это не человек, — со знанием дела отвечала узкотазая.

— Поймите, Евдокия Андреевна, — настаивал Василий Николаевич, — ведь то, что у вас в животе, единственное и неповторимое существо, второго такого никто никогда не сотворит... — Величайшее безразличие было написано на лице этой женщины. Тогда Тонков попробовал иначе. — Вы — учитель, правильно? Так написано в истории болезни. Что вы преподаете?

— Историю, — погордилась узкотазая.

— Тем более вы должны понять, что это существо — последнее звено в очень длинной цепи, которая берет свое начало в неведомой дали, сотни миллионов лет назад, от того фантастического мгновения, когда неизвестно почему родилась малюсенькая белковая клетка. Подумайте только, только представьте себе, какая длинная эта цепь, какое чудо, что она существует до сих пор. И вы хотите ее прервать?

— Делов-то — равнодушно сказала узкотазая. — Таких цепей четыре миллиарда на земле... Вот если я помру у вас на столе, — вдруг довольно резонно возразила она, — тогда ваша цепь действительно порвется. А я еще, может быть, и соглашусь когда-нибудь на кесарево. Лет через десять.

— Значит, договорились: разрушаем плод? — вздохнул Тонков.

— Ага, — кивнула узкотазая учительница истории.

— Тебе интересно? — спросил я Юлю.

Она помолчала, а потом сказала:

— Как ты думаешь, могу я прийти к вам на практику? Очень мне хочется посмотреть на роды.



Я обрадовался: не будет стоять у окна, не будет думать о предстоящем суде. Сказал:

— Завтра Тонков с утра в училище, практика у нас с часу до восьми. Я у него спрошу, позволю тебе, ты часика в три придишь...

Тонков — высокий, со сверкающей лысиной, с огромным животом, ладони всегда просунуты за пояс халата, большими пальцами жестикулирует, жизнерадостный сангвиник — отнесся к моей просьбе спокойно. Я сказал, что первокурсница из нашего училища хочет поприсутствовать при родах. Серьезная девушка, ей нужно знать, способна ли она вынести это зрелище.

— Все способны, — сказал Василий Николаевич, — пускай приходит.

Женщине было двадцать семь лет. Первые роды. Они продолжались уже больше суток. Схватки были не очень частые. Бесконечное ожидание, особенно ожидание неизбежной боли совершенно обессилило ее. Она вскрикивала и мелко дрожала. И звала все время то сестру, то доктора.

Тонков подошел к ней, мы все столпились вокруг стола.

— Что мы тут видим? — спросил Тонков. — Кто у нас мытый? — он оглядел нашу группу, задержал взгляд на Юле, она при этом отрицательно и испуганно покачала головой, улыбнулся и сказал: — Новиков, что вы тут видите?

Я доложил, что мы видим: раскрытие на три пальца, пузырь готов разорваться, положение плода нормальное, передний вид, первая позиция, предлежание затылочное.

— Студенческий случай! — бодро сказал я.

— А может быть, абдоминация? — спросил Василий Николаевич. — Уже двадцать восемь часов рожает.

Я посмотрел на него, он, конечно, шутил, провоцировал меня.

Потом были роды, был тот волнующий и ответственный момент, когда головка перестает уходить внутрь, и Тонков сказал спокойно и напряженно: "Ладонь — на головку, тремя пальцами дави, не дай ему развернуться лицом вперед!", потом, несмотря на все мои усилия, головка развернулась и родилась, почти ткнувшись плоским носом и толстыми губами в материнское бедро. ("Поцеловал маму, — сказала старшая сестра, стоявшая рядом со мной, — спасибо, мамочка, доносила.") Потом он весь родился, мальчик, мокрый и грязный, красный какой-то. Пуповину перевязали и перерезали. Показали его матери, надели браслеты. Я

понес его в смежную комнату, там обтер от крови, смазки и мекона, взвесил (4200 г), измерил (55 см), повесил медальон. Сестра забрала его.

Хорошо. Очень трогательно и серьезно.

Я вышел в коридор, потом в вестибюль. Юля сидела на скамейке и курила.

— Ну, как ты? — спросил я.

— Отвратительно. Никогда не видела ничего более неприятного. Это не для меня. И слово какое-то мерзкое он сказал, на "ация" кончается.

Все это она выговорила с отвращением, быстро, на одном дыхании.

— Абдоминация? Так он шутил, смеялся надо мной. Это он имел в виду операцию брюшной полости, кесарево сечение... При чем тут слово?

— И ты мне не понравился, такой у тебя был вид противный, самонадеянный... Вид отличника, который все знает и умеет...

Я в этот вечер Юле не позвонил. Но уже назавтра на перемене мы так обрадовались друг другу, как будто не виделись годы.

## ГЛАВА 19

Бабушка в который раз напомнила мне, что звонила Аглая и "настоятельно просит" меня прийти.

Я предупредил Юлю, что вечером не увидимся. Она огорчилась, но я чувствовал, что устал от ее молчаливого стояния у окна, от ощущения навалившегося несчастья. Хотел отдохнуть немного, да и в самом деле, то бегал к Аглае каждую неделю, а теперь уже два месяца не показывался.

Не было между нами отношений ученик-учитель, давно не было, уже с далекого дня в 56-м году, когда я пришел к ней домой в первый раз. Она жила с матерью, вернувшейся из лагеря, и с сыном Левушкой, тогда десятилетним дылдой с красными лопухими ушами. Он все свободное время играл в шахматы, ходил в шахматный кружок при Дворце пионеров. Увидев меня впервые, он предложил мне сыграть партию. Чтобы не обидеть мальчика, я согласился. Наша партия продолжалась полчаса, причем все это время думал над ходами я, он двигал фигуры не раздумывая. С тех пор мы играли постоянно, и я неизменно проигрывал.

Жили они в кишкообразной тринадцатиметровой комнате,

где все стояло вдоль и только стул поперек. Для Левушки на ночь ставилась раскладушка — ногами под стол, а подголовник загораживал половину дверного проема. И царила в этой комнате такая любовь друг к другу, что я тут же затосковал и захотел стать членом их семьи. Была Аглая лет на двадцать старше меня и вполне годилась мне в матери.

Летом — после окончания школы — Аглая со своей матерью и Левушкой отдыхали в Крыму, а я сдавал экзамены в институт, и мы с Аглаей обменялись письмами.

Мое было на двенадцати страницах: все мои проблемы, а потом признание, что я хотел бы иметь такую мать, как она.

“..Друг мой, — писала она в ответ, — скажу об этом в первый и последний раз, потому что об этом не говорят, — сердце мое всегда открыто для тебя, для твоих бед, горестей, радостей и сомнений. Так же открыт для тебя мой дом, как всегда. Ты знаешь, как любят тебя мои домашние...”

Когда она вернулась с юга, мы не сказали друг другу ни слова об этих письмах, но я сделался у них своим человеком...

На столе лежали стопки тетрадей. Аглая проверяла контрольные.

— Садись! — велела она.

Сейчас будет говорить умные глупости, подумал я. Как в воду глядел.

Аглая произнесла такой монолог:

— Как страшно ты выглядишь! Что происходит? Влюблен? Я знаю, мне сказали. Ну, хорошо, влюблен, так это же прекрасно. Но вот смотрю на тебя и сомневаюсь, так ли это прекрасно. На кого ты похож? Кожа да кости! И весь ты какой-то злой. Противопоставил себя всем, ну, пусть наоборот, все против тебя. Это одно и то же. Если ты любишь, если ты счастлив, тебе хорошо, то как же так происходит, что все вокруг несчастны? Все из-за вас страдают. Ты посмотри, что с бабушкой. Ты же ее убиваешь. Она не спит ночами. Естественно! Она вырастила тебя и выходила, дотачила тебя до училища, почти до диплома, а ты готов все растоптать, в то время, как всей жизни твоей не может хватить, чтобы вернуть бабушке долг. Я просто никак не думала, что ты способен на такую удивительную черствость. Я-то надеялась, что ты, с твоим умом и сердцем... не окажешься рабом мелкого чувства — (здесь я передернулся) — да, мелкого, потому что великое чувство не позволило бы тебе наплевать на всех. Понимаешь? А если ты ради

любви к ней готов всех других оттолкнуть, то это и не любовь у тебя вовсе, а чувство собственника, мое, мол, и подите вы все к черту.

Тут я засмеялся.

— Нет, делиться буду! Вот это мое, давайте вместе кушать.

— Ты меня неверно понял.

— Все я прекрасно понял. И имею возражения. Вы говорите, “раб мелкого чувства”, но это неправильно. Чувство любви не может быть мелким. Вы как будто считаете, что я не способен на любовь, а только на страстишку. Нехорошо... Чувство любви может быть долгим или коротким, но не мелким. (Черт его знает, так ли это, — подумал я.) И раз вы меня литературой давите (“Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом?”), то и я отвечу вам тем же. Вот у Толстого Наташа влюбилась в Анатоля, а Пьер и Соня в их любовь вмешались и не дали влюбленной паре бежать. Справедливо? Но сам Толстой, мне кажется, не был убежден, что можно посторонним людям вмешаться в чужую любовь. Поэтому, чтобы убедить себя и читателя, Толстой потом убрал Анатоля со свойственной ему жестокостью: вот, посмотрите, все равно не было бы у Наташи с ним жизни.

Аглая улыбнулась и сказала:

— Хватит литературы. Расскажи лучше про Юлю.

Но что я мог рассказать? Не мог и не хотел я рассказывать, почему она родная, почему близкая, не мог — про нежность, про руки, про смех, про теплое и шелковистое, ласковое, удивительное, опустошающее, про почерневшие глаза, про окно, про страх, про неизвестность, про то, что хоть и влюблен и счастлив, но не так счастлив, как хотелось бы, про то, что временами растерян, что еще неделя-две, а там — пустота и мрак, и что совсем неизвестно, нужны ли все эти разговоры, потому что сначала нужно дожить до этого будущего, а там увидим.

И я, помолчав, сказал:

— Она — чудная. Она — хорошая. Попробуйте себе представить.

Аглая помолчала, глядя на меня, и, представив себе, сказала:

— Трудно судить о человеке по этим эпитетам. Все мы бываем чудными и хорошими. Главное, суметь быть настоящими друзьями, помогающими друг другу стать чище, лучше и сильнее.

Долгая пауза. К счастью, дверь открылась, и пришли Левушка и Аглаина мать. Они в бане были. Левушкино лицо так и сверка-

ло. Уши были еще краснее и оттопыреннее, чем обычно. За это время он еще вырос.

– Витя! – заорал он. – Партейку?

И пока он расставлял шахматы, рассказывал возбужденно, что правильно мама послала его с бабушкой в баню, хоть и долго ждал ее, а на обратном пути она поскользнулась и чуть не упала, а он ее поддержал. И подскочил ко мне:

– Потрогай, какие у меня мускулы.

Быстро он со мной разделался, и, черт такой, не давал переживать. У него был первый разряд. Он только повторял:

– Очень мы любим шамать слоников! Очень мы любим шамать лошадок!

А бабушка, сидя на кровати и расчесывая свои редкие волосы, с любовью глядя на внука, говорила:

– Что это за слово “шамать”? Можно подумать, что я опять в лагере, шамовку раздают.

А поздно вечером смотрели на меня другие глаза – сухие, неожиданно блестящие, они напряженно ощупывали мое лицо. Бабушкины глаза.

Она ждала меня – каждый день, каждый вечер, всю жизнь. Рядом с ней лежала ее вышивка. Стоял стакан остывшего чая.

Я тоже налил себе чай. Намазал маслом кусок батона и сунул его в сахарницу. Очень я любил бутерброд с сахарным песком. А бабушка очень не любила, когда я так делал.

– Сколько раз нужно просить? Ты же знаешь, что я не выношу хлебные крошки в чае.

Я сразу разозлился. А бабушка спросила:

– У Аглаи Симоновны был?

– Был. Привет тебе...

И подпер голову руками, запустил пальцы в волосы – жест, перенятый мной у Юли.

– Почему ты мне не отвечаешь? – услышал я бабушкин голос.

– А что ты спросила?

– Ничего! Не желаю с тобой разговаривать! – она встала из-за стола, взяла свою вышивку и пошла к кровати.

## ГЛАВА 20

Не через неделю-две, как мне думалось, а в ближайший четверг пришла повестка и, как всегда это бывает, неожиданно. В чет-

верг пришла, а суд — в понедельник. И можно было что угодно делать: ругаться и мириться, любить и дуться, говорить и молчать, нельзя было только одного: сжать или растянуть это время, нужно было прожить эти дни, часы, минуты одну за другой, все без исключения.

Четверг. Мороз, как сказано, и солнце, день чудесный. С утра выдавали стипендию. Потом мы пошли в ломбард и выкупили Юлину "Победу". После этого довольно долго просидели в "Севере", купили в колбасном 200 граммов твердокопченной колбасы и сосали ее, как леденцы, и запивали кофе. Пусто было в зале и прохладно, но вдвоем нам хорошо было. А дома оказалась повестка, Опенкин расписался (Юля называла его Поганкин, не в глаза). Настроение упало. Юля заплакала даже. Пришел из Публички дядя Марк, хотел что-то рассказать, увидел повестку, расстроился, ушел к себе в комнату. Роза Борисовна пришла с работы, тоже расплакалась. Всем было страшно. И обедали в молчании, а потом убили вечер у телевизора.

— Не пойду завтра в училище, — сказала Юля. — Ты приходи пораньше.

Пятница. Я ушел после второй лекции. Приехал к Юле. Она возилась на кухне. Фартук, который я ей недавно подарил, она надела поверх халатика.

— Чего это ты? — спросил я. — Больше делать нечего, как на кухне толкаться?

— Фартук обновляю, — сказала она и поцеловала меня в щеку. — Вместо мамы обед дяде Марку готовлю.

Никого из соседей не было на кухне. Я курил в открытую форточку, следил за Юлей, а она, оказывается, очень ловко и умело все делала. Мурзик тут же терся. И опять мы не говорили о серьезном. Наконец она закончила готовку. Нетерпение мое, кажется, достигло предела.

— Мама сказала, что завтра на работу не пойдет, — сказала Юля.

— Вот видишь! — воскликнул я. — Пойдем быстрее.

Она засмеялась.

И мы были нежны. И мы хотели друг друга до темноты в глазах.

Суббота. Роза Борисовна дома. Поэтому я не торопился, обедал с бабушкой, не разговаривали (не о чем?), пришел к Юле, когда стемнело. Видел по ее лицу, что она очень меня ждала.

Настроение у всех жуткое. Сидели за столом и вяло говорили о какой-то чепухе.

Воскресенье. Встретились в десять у касс Витебского вокзала. В Пушкине полно лыжников, но много просто гуляющих, как мы. Дворцы и лицей на ремонте. Зато баховский Пушкин – чудо, сидит себе развалившись, отдыхает, задумался о своей судьбе. Ну, Юленька, посмотри, отвлекись, не думай. Или давай, пойдём, побродим ещё. Вот дом, в нём живет или жила Анна Ахматова. Давай, зайдём, может быть, Ахматова здесь...

– Нет, – сказала она, – не для меня такие приключения. Вот со Шрайбером поехать я могу, а это – нет.

И она не смеялась. Невыносимая жалость охватила меня. Я её обнял, она прижалась к моей шее носом, а люди какие-то шли и смотрели на нас, и я почувствовал, что у неё глаза полны слез.

Очень не хотелось, чтобы день этот кончился – не потому, что он был особенным, а потому что – завтра...

## ГЛАВА 21

Здание Горсуда на Фонтанке темное и вонючее. Пахнет бумагой, горем, тюрьмой и уборной. В зале было не меньше пятидесяти человек, публика расселась по двум сторонам от прохода. Мы были четвером: Юля, Роза Борисовна, Лида и я. Сидели мы где-то в середине.

Ввели Шрайбера и Коваленко. Оба были стриженными и выглядели очень испуганными. Шрайбер очень сильно хромал и, сев, тяжело навалился на ручку палки. Оба скользнули глазами по публике и попытались улыбнуться. То, что они сидели за барьером, делало их людьми другого мира. Можно было подумать, что нас разделяли не три метра, а вселенная.

– Алеша, – жалобно сказал женский голос впереди нас. Это была жена Коваленко. Он посмотрел на жену и вяло махнул ей ладонью.

Суд явился ровно в десять. Судья – женщина лет пятидесяти, в синем английском костюме, с университетским значком на лацкане, морщинистая, седая, с пучком волос на затылке. Два заседателя настолько безликие, что я их не запомнил. Прокурор поместился слева за маленьким столиком – мужик толстый и красный. Секретарша – девица с омерзительным голосом. Адвокат

один на двоих, тоже почему-то толстый и красный. И все время маячила позади обвиняемых высокая фигура милиционера.

Выступил прокурор. Выступил адвокат.

Подняли Шрайбера.

— Он ужасно постарел, — шепнула мне Юля.

Задавали ему вопросы, он отвечал не торопясь.

Бывшего режиссера Н. знает с довоенных времен. Оба семнадцатого года рождения. Н. был комбатом, капитаном, Шрайбер — комвзвода. Потом Н. ушел на дивизион, а Шрайбер — на его место. Коваленко был совсем мальчишкой, только 19 лет исполнилось, служил у Н. и Шрайбера шофером. Ну да, и на побегушках. Вроде ординарца. Н. до войны уже работал на студии, увлек Шрайбера мечтой. И у Коваленко родители — артисты. После войны в 46-м году поступил Шрайбер в Театральный институт. Но не закончил — в 50-м году попал под машину, одна нога стала короче другой на восемь сантиметров. Н. устроил на склад студии заведующим. Семь лет беспорочной работы. Вот, уже после... уже во время следствия проводили ревизию и не нашли никаких недостатков.

Судья негромко постучала карандашом по столу.

— Подсудимый, что вас толкнуло на путь преступления? — спросила она.

Шрайбер молчал.

— Может быть, вам нужны были деньги? — подсказал один из заседателей.

— Деньги? Конечно. Я получаю 900 рублей. Я человек одинокий. У меня “Москвич” старенький, развалюха, его чинить надо... Нужны деньги.

Подняли Коваленко. Он был небольшого роста, коренастый, с круглой головой, глаза глубоко сидели в черепе.

— Посмотри, — шепнула Юля, — какой у него взгляд.

Взгляд был ощутимо тяжелый; когда он посмотрел в нашу сторону, мне захотелось поежиться.

Голос у него был соответствующий: глухой и весомый. И говорил Коваленко тягуче, обдумывая каждое слово. Они со Шрайбером были очень разными, а казалось, что они очень похожи.

Коваленко тоже нужны были деньги.

— Не могу жене шубу купить. Вон она сидит, смотрите, какое у нее пальто...

— А кроме денег? — спросила судья. — Что еще заставило вас



принять участие в преступной группе, да еще в качестве главного исполнителя?

— Я — артист, — ответил Коваленко.

— Вы — артист? Почему же вы работали шофером?

— Работая шофером, потому что не повезло, жизнь так сложилась. Но я — шофер, а настоящее мое призвание — артист.

— Подсудимый, вам известно, что в нашей стране артист — это человек, закончивший определенное учебное заведение, как-то: театральный институт, училище циркового и эстрадного искусства, хореографическое училище, консерваторию или музыкальное училище, и получивший соответствующий диплом? У вас есть диплом об окончании какого-нибудь из перечисленных учебных заведений?

— Нет.

— Почему же вы называете себя артистом?

— Я — артист. — Коваленко пожал плечами.

— Вы где-нибудь учились?

— Да, я учился. У моих родителей. Петр и Алла Коваленко, очень известные на весь Союз фокусники — мои родители. В 1944 году они погибли вместе со всей концертной бригадой недалеко от Варшавы. Тогда я пошел на фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть моего отца и моей матери. Я хорошо водил машину. И до сих пор вожу.

В зале было тихо.

— Вот вы шофер, — сказал один из заседателей, — а занялись посторонним делом...

— Я — артист, — упрямо настаивал Коваленко, — мои родители начали учить меня, когда мне было четыре года. Я в совершенстве владею искусством фокусника. Это могут подтвердить как зрители, так и специалисты.

— Да, — согласилась судья, — в вашем деле, действительно, имеются отзывы. Но я вам уже сказала, что это не имеет никакого значения, так как у вас нет диплома, разрешающего концертную деятельность. Вы подтверждаете, что не имеете официального права на выступление в качестве фокусника и гипнотизера?

— Официального — не имею.

— Хорошо. Теперь расскажите нам о кинобилетах...

Битый час они возились с этими кинобилетами. Как, да что, да каким образом? Выходило так, что Коваленко приехал в "Луч"

как раз, когда все работники собрались в кинозале и разглядывали рухнувший потолок. Проходя мимо открытой двери кабинета администратора, Коваленко увидел на стуле мешок с билетами. Он хорошо знал эту упаковку. В кабинете никого не было. Коваленко взял мешок и вышел, никем не замеченный.

— Подсудимый Коваленко, почему вы украли эти билеты?

— Чтобы их использовать. Чтобы не иметь дела с билетами клубов, в которых мы выступали.

— Значит, вы не хотели, как вы говорите, связываться с государственными учреждениями? Значит, вы понимали, что идете на преступные действия?

Коваленко долго молчал и вдруг всхлипнул:

— Понимал... и раскаиваюсь.

И вот вызвали Юлю.

Сердце у меня бешено заколотилось, уши заложило, и я пропустил всю вступительную часть.

— Свидетельница Гехт, — сказала судья голосом, неожиданно более мягким, чем тот, которым она говорила раньше, — объясните суду, что побудило вас участвовать в этом преступлении?

— Я не знала, что это преступление.

— Отвечайте на вопрос.

— Мне хотелось переменить обстановку... Незадолго до этого у меня погиб жених.

— Вы оставили работу?

— Да, потому что Шрайбер сказал, что я буду получать такую же зарплату. И кроме того, он будет платить за еду. И вообще я думала, что будет интересно.

— И вы не заподозрили никакой махинации, когда подсудимый Шрайбер предложил вам работу и никаким образом это не оформил?

— Нет, ничего не заподозрила. Я в прошлом году летом работала один месяц в нашем ЖАКТе, и тоже никаких документов никто не оформлял.

— Так, хорошо, — сказала судья, — свидетельница, вам приходилось держать в руках официальные документы?

— Приходилось.

— И вы никогда не обращали внимания, есть на них печать или нет?

— Не помню.

— Ну вот, подсудимый подсовывает вам какую-то бумажку, неужели вы не заметили, что на ней нет печати?

— Нет, не заметила. Там было написано сверху “Ленконцерт”, я не знала, что нужна печать.

— Свидетельница, скажите, когда вы поняли, что ваши гастроли незаконны?

— Когда нас арестовали, Шрайбер сам мне об этом сказал.

— Подсудимый Шрайбер, встаньте, ответьте суду, вы давали свидетельнице понять, что ваши гастроли, как вы их называете, незаконны?

Шрайбер встал, опираясь на палку, и ответил:

— Нет. Не стану же я каждому встречному рассказывать о том, что работа связана с риском...

— Садитесь, Шрайбер... Свидетельница, в чем заключалась ваша работа?

Юля рассказала, как она ассистировала Коваленко.

— Так, хорошо, — сказала судья, — а что вы делали с билетами?

— Мы отрезали сверху, где написано “Кинотеатр Луч”.

— А зачем? Это не казалось вам подозрительным?

— Шрайбер сказал, что мы — не кинотеатр, это правда.

— Так, хорошо, теперь такой вопрос: свидетельница, скажите, подсудимый Шрайбер делал вам гнусные предложения?

— Я не понимаю.

Судья взяла со стола очки и стала разглядывать через них Юлю, как через лорнет. Не знаю, что она видела. Я видел Юлю со спины: жалкая, несчастная, в старом пальто, в вязаной шапочке...

— Ну, не склонял ли он вас к сожительству?

— А-а, один раз мы об этом говорили, но в шуточной форме, и никакой гнусности не было... — Повисла тишина. Юля добавила: — Я ему отказала... — Все еще было тихо. Юля добавила: — Он же старый. И я его не любила.

Зал загудел. У меня внутри все дрожало от бешенства. Как они могут задавать такие вопросы? А из зала я слышал: “Подумаешь, старый”. “Врет, наверно”. “И правда, старый и хромой”. Могут! Могут задавать любые вопросы. Судья опять постучала карандашом по столу и спросила:

— А с подсудимым Коваленко какие у вас были отношения?

— Никаких. Он вообще говорил со мной только о делах.

По голосу Юли слышно было, что она плачет.

— Так, хорошо, свидетельница Гехт, сядьте на свое место.

Юля села между мной и матерью, и, низко опустив голову, вытирала слезы. Между судьей и прокурором шел какой-то разговор, но я ничего не слышал. Вдруг гул в зале затих, и я увидел, что вся публика смотрит в нашу сторону. И услышал голос, полный металла и неизбежности:

— Гражданка Гехт, займите место на скамье подсудимых. Представителем прокуратуры вам предъявлено обвинение в соучастии в мошеннических действиях согласно статье...

Страшная слабость овладела мною, я перестал слышать и видеть, только какая-то красная пелена, красный туман поплыл у меня перед глазами. И как будто огромная черная птица била крыльями у меня в мозгу и громко кричала: "Ах, ах, ах!" Потом туман рассеялся. Я увидел Юлю, сидящую рядом с теми двумя, а за их спинами — милиционеров. Розы Борисовны не было, видимо, Лида увела ее из зала. Юля смотрела прямо перед собой, и лицо ее было удивительно спокойным.

Выступил прокурор. Это был сплошной кошмар. Он потребовал осудить Юлю на два года, а Шрайберу и Коваленко потребовал какие-то сумасшедшие сроки с конфискацией имущества.

Выступил адвокат и говорил какую-то чушь. В защиту Юли он не сказал ни слова.

Суд удалился на совещание. Прошло больше часа. Все это время Юля просидела неподвижно. Публика сначала повалила в коридор, но оттуда скоро начали гнать обратно в зал. И вот они сидели и обсуждали свои повседневные дела, а там, за дверью, в глубине, решалось Юлино будущее...

И будущее решилось. Мы все встали. Суд вышел. И судья от имени республики приговорила Коваленко к пяти годам лишения свободы, Шрайбера — к трем, а Юлю — к одному году условно.

Все вокруг зашумели, заговорили о необычайно мягких приговорах. Коваленковская жена ринулась со своего места к скамье подсудимых. Коваленко заплакал. Шрайбер тяжело опустился на стул. Милиционер что-то сказал Юле, она вышла из-за барьера и направилась к нам. Она была страшно бледная, когда она обняла мать, я увидел, что руки у нее трясутся. Но тяжесть с сердца почему-то не свалилась. Какая-то ужасная горечь была во рту и во всем теле. И облегчение не приходило.

Бабушка сидела за столом. Перед ней не было обычного пасьянса или книжки. Видно было, что она ждала меня.

— Ну, сколько лет дали твоей шлюхе-уголовнице?

## ГЛАВА 22

Я не ответил. Прошел в угол к своему маленькому письменному столу, включил ночник-грибок, служивший мне настольной лампой. Тетрадки и книжки навалом лежали, я вытащил записи лекций по нервным болезням — зачет был на носу. Откуда она узнала? Я столько приложил усилий, чтобы скрыть от нее всю эту историю. Например, я думал, не унизиться ли и не попросить ли Азарова ничего не говорить родителю, понадеялся на элементарную порядочность... Взгляд мой упал на раскрытую страницу. Вверху было написано буквально следующее: “в рзт скрщ ахл-го сжж-я пвлтса конская стопа, взнк-ет т. н. утиная походка, в рзт ослаб-я м-ц плч-го пояса обр крыловидные лопатки...” А откуда он узнал, что сегодня суд? Нет, не буду допытываться, все равно теперь уже не важно. Но что это за тяжесть на душе, что это там в суде произошло, отчего я разбит и подавлен?

Нет, не хотелось разбирать в этот вечер шифровки-лекции. Я отложил тетрадь по нервным болезням и вытащил свой дневник. Верное средство, чтобы разобраться в себе и успокоиться. “Здание Горсуда на Фонтанке темное и вонючее...”

Была уже полночь. Хотелось плакать. И понять, что это за тяжесть, я никак не мог. (Теперь-то я знаю, что это мучилось, корчилось, извивалось, как червяк, разрубленный на куски лопатой, умирало и бесконечно хотело жить мое поруганное, попранное, оскорбленное чувство человеческого достоинства. Я был оскорблен, потому что был оскорблен человек, которого я любил.)

— Что ты там пишешь? — спросила бабушка. В ее голосе не было злости.

— Пишу: “Ну, сколько лет дали твоей шлюхе-уголовнице?” — ответил я, не поворачиваясь, и закрыл тетрадь.

Бабушка взяла стул за спинку и пошла к моему столу, таща стул за собой. Села.

— И сколько же дали?

– Зачем тебе?  
– Хочу знать свою судьбу.  
– Очень глупо! А еще раз назовешь ее шлюхой и уголовницей, вообще не буду с тобой разговаривать.

Эта угроза всегда действовала безотказно.

– Хорошо, – сказала бабушка, – скажи мне, пожалуйста, чем закончился суд над... – она сделала над собой невероятное усилие, – Юлей?

Я засмеялся.

– Сколько ей дали? – закричала бабушка.

– А сколько ты бы хотела?

– Я бы хотела, чтобы ее вообще не было.

Она не обходила острые углы, поэтому интересно с ней было разговаривать, особенно ругаться.

– Не понимаю! – с горечью воскликнул я. – Не понимаю и никогда не пойму. Самое большое мое разочарование за всю жизнь – как ты обманула все мои надежды.

– Пускай это будет твоим самым большим разочарованием, – бабушка посмотрела на меня, встала, тяжело упираясь в колени, пошла к кровати, погасила свет и легла. А я продолжал еще сидеть. Было все так же тяжело.

## ГЛАВА 23

Зачеты я сдавал, не готовясь. Все сходило.

Вечерами гуляли. Юля не пропускала ни одной ледяной дорожки на тротуарах. Разбегалась и катилась. А если дорожка была длинная, кричала: “Тащи меня!” И я хватал ее за руку и вез до конца. Юля смеялась – и я был счастлив.

В “Хронике” по случаю приближающегося праздника пустили фильм “Голубой континент”. Посмотрели его два раза.

У Ирки Сироткиной был концерт в училище. Мы пошли втроем – с Яшей.

С бабушкой я почти не виделся. Уходил рано, возвращался поздно, старался не разговаривать. Мне казалось, что только одно чувство владело ею: ревность. Я тогда не понимал, что все это гораздо сложнее. И если уж определять коротко, это была одинокая старость. Не задумывался я, какие чувства

и мысли обуревали ее в бесконечные часы с утра до вечера и ночью, когда изводила ее бессонница.

О многом не думал. В дневник записывал всякие мелочи, а о Юле почти ничего. До невероятия — ничего. Зато длиннейший отчет о походе на вечер поэзии. Юля считала почему-то, что я люблю эти вечера. А я уже знал, что от встреч с поэтами на таких вечерах трудно ждать чего-то особенного.

— Но я хочу, — сказала Юля.

И мы оказались перед университетом.

## ГЛАВА 24

Сильный ветер дул вдоль Менделеевской линии.

Слева от двери была вывеска “Исторический факультет”, справа — “Философский факультет”. Я шутовски поклонился этой вывеске и сказал:

— Здравсьте, товарищ Стрекалов.

Юля дернула меня за руку:

— Пойдем, холодно здесь, и поздно уже.

Мы вошли в вестибюль. Слева висело объявление на листе ватмана: “Новогодний вечер поэзии”. Перечислялись фамилии поэтов, человек пять, одну фамилию я запомнил, глупая какая-то: Олег Шестеринский.

Большая аудитория истфака была заполнена, хотя время было сессионное. Поэты сидели за кафедрой. Вид у них был испуганный.

Встал ведущий и начал долго и скучно представлять собравшимся этих поэтов. Почему-то он их называл то “кассетой”, то “обоймой”. Точность этого определения была поразительной. Через полтора часа, когда все поэты “отстрелялись” звонко и трескуче, в голове стоял сплошной шум, и невозможно было вспомнить ни одной фразы из только что услышанного.

Вначале мы аплодировали, но когда закончил последний поэт, раздался один одинокий хлопок, и это вызвало гомерический хохот всего зала.

— Кто-нибудь хочет высказаться? — спросил ведущий, когда смех утих.

Наступила тишина. Нечего было обсуждать. Несколько че-

ловек в разных концах аудитории поднялись и направились к выходу.

— Я хочу высказаться! — раздался громкий голос, и какой-то парень вышел и встал рядом с кафедрой. Он был высокого роста, очень широкоплечий, и самовязанный свитер делал его фигуру просто монументальной. — Прочту пародию, — сказал он звонким басом, — пародию на стихи присутствующего здесь поэта Шестеринского. Называется “Гори, звезда моя”, эпитафия: “Путаясь в соплях, вошел мальчик”.

Зал очнулся. Большинство засмеялось, а несколько человек зашикали, и даже послышались крики: “Хулиган! Как не стыдно! Возмутительно!”. Это были, видимо, друзья и болельщики несчастного Шестеринского. Но их перекрикивали: “Не мешайте! Дайте ему прочесть!”

“Монумент” набычился, расставил ноги на ширину плеч, руки убрал за спину и прочел злую и смешную пародию.

Ему аплодировали и кричали: “Еще! Еще читать!” Но человек десять, громко возмущаясь, ушли из зала. Сам Шестеринский сидел красный, как рак, и тоже порывался уйти, но гордость не позволяла.

— Прочту пародию на Кушнера, — сказал “монумент”.

— Простите, — влез ведущий, — поэт Кушнер здесь не присутствует. А мы говорим только о присутствующих. — И, повернувшись к залу, крикнул: — Кто еще хочет высказаться?

— Я хочу, — упрямо сказал “монумент”.

— Вас мы уже слышали, — резко оборвал его ведущий. — Ну, если больше нет желающих, я объявляю вечер закрытым.

И столько решимости и недовольства, даже злости было в его голосе, что публика начала подниматься, и “монумент” взял со своего места потертую кожанку и ушел одним из первых.

Мы с Юлей тоже встали. Но тут недалеко от нас вдруг два человека заговорили друг с другом, и вокруг них образовалась небольшая толпа человек в десять, и мы задержались, чтобы послушать.

— Это, конечно, не поэзия. Суесловие, пустословие, то, что называется версификаторством, — говорил один, маленького роста, рыжий, лет, я думаю, тридцати. — Стихи эти написаны, может быть, искренне, но с целью понравиться читателю. Самое прискорбное,



что имеется в виду ответственный читатель, читатель, ответственный за напечатание. А стихи должны быть написаны не для читателя, а для поэзии.

— Простите, — говорил другой, долговязый, в очках, — как это понимать? Отбросим в сторону ответственного читателя. Мне кажется, что все стихи пишутся для читателя. Возьмите, к примеру, любовную лирику. От Катулла до самого сегодняшнего автора вся лирика посвящена и адресована конкретным людям, женщинам и мужчинам. И в других поэтических произведениях читатель присутствует. Я думаю, что искусство все насквозь антропоцентрично...

Рыжий слушал очень внимательно и все время кивал головой, создавалось впечатление, что он согласен с каждым словом долговязого.

— Простите, — сказал я, — простите, вот вы сказали, что сегодняшние поэты читали стихи, но это не было поэзией. Что же, по вашему, поэзия?

Рыжий посмотрел на меня с удивлением, и вся публика, собравшаяся вокруг, тоже, кажется, была недовольна тем, что я влез в их разговор. А Юлия крепко стиснула мою руку. Однако рыжий ответил с видимым удовольствием.

— Понимаете, ничего положительного я сказать не могу. Я не знаю, что это за тончайшая эфемерная субстанция, которая одно стихотворение превращает в явление поэзии, а другое при ее отсутствии становится кладбищем слов, рифм и ритмов.

— А у вас есть любимые стихи? — спросила тонким голоском какая-то девчушка.

— Конечно... — он задумался на секунду. — Вот, например. "О, как же я хочу, нечуждый никем, лететь вослед лучу, где нет меня совсем!.." — С этими словами он встал, взял пальто и шапку и направился к выходу. У двери он обернулся, склонил голову, сказал: — Всем всего доброго! — И дверь за ним закрылась.

Долговязый был разочарован таким вниманием публики к рыжему.

— Подумаешь, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — "лететь вослед лучу", не хочешь разговаривать — не разговаривай, а зачем же демонстрировать свое пренебрежение?

Правильно, вообще-то, заметил, — подумал я.

Мы вышли на Менделеевскую линию. Потеплело, шел легкий снег.

— Давай свернем, здесь всего пять минут, — сказала Юля.

Мы дошли до моста Строителей и остановились на его середине. Вода была черная и на вид очень холодная. У меня есть глупая привычка: стоя над водой, плевать вниз. Я с трудом удержался.

— Генка все время говорил, что нужны автономные скафандры. Был бы сейчас жив и здоров, — сказала Юля.

Пошли обратно — опять по Менделеевской, свернули направо — мимо Двенадцати коллегий, Меншиковского дворца, перешли к Неве. Эта часть набережной от Первой линии до сфинксов удивительно тихая — людей нет, трамваи редки. Только снег. Но “что может быть тише падающего снега?” — как спросил однажды Пришвин.

Мы почти не говорили, жалко было разрушать эту тишину. И уже возле самых сфинксов Юля спросила:

— Как, по-твоему, кто из них прав?

— Понятия не имею. Вообще я мало что понял из их разговора. Не знаю, для кого нужно писать стихи, для читателя или для поэзии. Я уже об этом думал. Как-то раз говорил об этом с Аглаей, она сказала, что это старый спор и бесплодный...

— А знаешь, этот рыжий верно сказал. Самые незначительные стихи могут родить такое чувство!.. Вот недавно я прочла четверостишие. Не знаю автора, да мне и неинтересно. Слушай: “Сыпал снег. Стояли двое у окна и о чем-то думали своим. Ей казалось, что она одна, а ему казалось, что вдвоем”.

— Есть настроение, — сказал я, помолчав.

Юля засмеялась и нежно сказала, сжав, по милой своей привычке, мой локоть обеими руками:

— Конечно, Витенька, есть, но дело не в этом. Я даже не понимаю смысла этого стиха. Что это значит: ей казалось, что она одна? Может быть, она чувствовала себя слитой с ним в одно целое, может быть, она воспринимала его как шкаф и вообще не обращала на него внимания. И про него тоже не понимаю. Но это неважно. В этом стихе есть недосказанность, какая-то неустроенность и тоска. И музыка, но, может быть, эта музыка не в стихе, а во мне самой? — И она прижалась щекой к моему плечу.

Мы остановились, она обняла меня за шею, и так постояли обнявшись, в тишине, под невесомыми снежинками, над замерзшей Невой. (Черная фигурка переходила Неву по льду по протоптанной от сфинксов ко Дворцу бракосочетаний дорожке, хотя мост был совсем рядом. Некоторые люди любят опасность.) Мы с Юлей пошли через мост.

## ГЛАВА 25

— Бабушка, если ты хочешь, чтобы я отвез тебя к Эсе, будь готова к восьми часам, — сказал я.

— Но они приглашают меня к десяти, — довольно робко возразила она, — что же я там буду мешать?..

Было 31 декабря. Я должен был в девять вечера встретиться с Юлей, поэтому никаких возражений я не слушал.

В шесть часов я с большим трудом заказал по телефону такси на восемь. Единственный мой костюм, сильно поношенный, отпарил (даже пиджак), поплескался на кухне под краном, обмениваясь колкостями со стоявшей рядом Танькой Зверевой (вообще, мы разговаривали с ней взаимными уколами, совсем как мушкетеры короля с гвардейцами кардинала). Танька за последние месяцы раздалась, поширела, ходила иногда, откинувшись назад и подпирая поясницу кулаком.

— Может, подотрешь? — спросил я.

— Фигушки! — заявила она и пошла, гордо неся свое пузо...

Мы с бабушкой пообедали, при этом оба читали.

Потом она надела свое черное платье с большим отложным воротником. Вышивка была восстановлена.

— Все ж таки ты молодец, — неуклюже похвалил я, — у меня никогда не хватило бы терпения для такой кропотливой работы.

Я увидел, что бабушка моей похвалой польщена.

После этого она накрыла плечи и шею полотенцем и достала из шкафа коробку с пудрой, а крышка у коробки была с кисточкой из разноцветных ниток, похожая на турецкую шапочку, в детстве я очень любил ее рассматривать и надевать на макушку. (“Боря прислал из Германии незадолго до смерти, — всякий раз говорила бабушка, — настоящая “Коти”!” — добавляла она.)

Напудрилась. Причесалась. Села в ожидании такси. Торжественная. Серьезная. У всякого при взгляде на нее ждалось бы

сердце. К этому выходу она готовилась два месяца. Она не бывала в театрах и в кино. В конце сороковых годов была на гастрольном спектакле “Идеальный муж”. Событие. В кино была как-то с соседкой. Смотрела, кажется, “Ханку”. Тоже событие. К сестре в гости на Новый год – событие чрезвычайное. Раньше работала с утра до вечера, не до развлечений было. Потом не стало ни сил, ни желания развлекаться. Ужасно старая одинокая женщина. У меня никогда не было для нее времени. У сыновей – тем более. Вот эта ее тоска одиночества была мне недоступна. У бабушки, думалось мне, есть я, сыновья, сестра – куча родственников, Сева на худой конец, хотя он месяцами мог не обмолвиться с ней ни словом, не считая “доброе утра”. Я не понимал, что она уже ощущала холод небытия и старалась сохранить хоть сколько-нибудь тепла, делавшего ее живой.

Танька Зверева крикнула от телефона, что звонили из такси: машина идет с улицы Майорова.

Бабушка надела свое толстенное пальто с мерлушковым воротником, потертым на шее.

Теперь нужно было одолеть четыре этажа. Спускаться ей было так же трудно, как и подниматься. Вышли на площадку, бабушка повернулась спиной к ступенькам и, ухватившись за перила, сделала шаг вниз. Кто-то ей сказал, что спускаться таким образом легче, меньше нагрузка на сердце. Так и двинулись: спиной вперед, а я поддерживал, чтобы, не дай Бог, не оступилась.

Втиснулись в такси. Нам нужно было на Разъезжую, шофер сделал круг и провез нас по Невскому и Лиговке. Я видел, с каким любопытством, совершенно детским, смотрела бабушка на ярко освещенные улицы и особенно на людей, оказывавшихся возле машины, когда мы останавливались у светофоров.

Эся с дочкой, зятем и двухлетним внуком жила в отдельной квартире в грязно-серой уродливой громадине, построенной в начале века. К счастью, у них был лифт. Пока он полз на пятый этаж, бабушка спросила меня (целый день сдерживалась) :

– А куда ты идешь?

– Да так, училищная компания, – неопределенно покрутил я пальцами, – ты не знаешь.

– А Яша тоже будет?

– Нет, он будет с мамой, она говорит, что Новый год – семейный праздник.

– Вот видишь, – сказала бабушка.

– Вижу, – ответил я мягко, – но неужели ты хочешь, чтобы я провел вечер с твоими..?

Лифт остановился.

Эсина дочка открыла нам, ее сынишка вкатился в переднюю, толстый он был, круглый, рыжий, весь в веснушках – славный малыш. Мать закричала на него (“Тут холодно, немедленно убирайся!”), он ушел в комнаты, Я снял с бабушки пальто, расправил у нее на шее вышитый воротник. Эся тоже вышла в переднюю, хромая и держась за стены. По улице она ходила с палкой, а дома – вот так, по стеночке.

– Ты, конечно, уходишь, – сказала она мне.

– Конечно. Вот желаю вам всем счастливого Нового года и ухожу.

И я сделал им ручкой, бабушка успела сказать:

– Не пей слишком много.

Не стал ждать лифта, спустился пешком.

Как всегда, под Новый год было тепло и слякотно. Огни фонарей были в какой-то дымке и окружены ореолом. Машины шелестели по таявшему снегу.

Я сел в автобус и доехал до угла Невского и Садовой, нашего с Юлей угла, где мы постоянно встречались. Вот и теперь она ждала меня. В руках держала сумочку с туфлями.

– Замерзла?

– Тепло. Лида на метро приедет или на трамвае, как ты думаешь?

– Я об этом не думаю.

Она улыбнулась. Мы походили, взявшись за руки. Лида появилась неизвестно откуда, не одна, а с высоким парнем, забыл, как его звали. Красивый, широкоплечий, голубоглазый, очень они с Лидой друг другу подходили.

Мы поехали на Петровскую набережную. Там, позади “домика Петра”, стоит бесконечно длинный дом, все квартиры в нем отдельные, все окна сверкают, ленинградская знать тут живет. Мы вошли в одну из парадных, поднялись на второй этаж. Широкая квартира открылась нам.

Прямо против двери висела картина в человеческий рост: распятие, только на кресте – женщина с таким прекрасно выписанным страданием на лице, что мурашки по коже.

А между нами и картиной суетился парень – хозяин квартиры – и, помогая нам снимать пальто, что-то говорил, как-то шу-

мел и не давал мне задержаться взглядом на лице распятой женщины, на ее грудях, на складках покрывала, облежавшего ее ноги, на пейзаже — тонко и четко расположившемся под ее ногами. Хорошая была картина. А через час лампочка в коридоре перегорела, и я так и не рассмотрел ее.

Еще в квартире жила собака, боксер по кличке Груша; еще там было человек двенадцать гостей, Гекторы среди них и тот молчаливый Лисовский, которого я помнил с ноябрьских. Он сказал мне:

— Оглядишься-ка, нет ли здесь еще одного Стрекалова, гони его в шею, а то скоро выпивать.

И мы сели вокруг стола, и налили, и выпили за Новый 59-й год, чтобы он был счастливым, радостным, веселым и удачным.

Юля улыбалась, я смотрел на ее лицо, такое родное, такое трогательное, очень знакомое во всех выражениях, и сердце мое наполнялось теплом.

А потом за окнами рассвело. Юля сказала мне тихо:

— Витенька, пойдем домой, я невыносимо устала.

И мы ушли, ни с кем не попрощавшись, я так и не смог рассмотреть "распятую" в слабом свете, проникавшем в переднюю из кухни.

Почему-то мы не сели в трамвай, хотя было уже больше шести часов и транспорт ходил. Пошли пешком через Кировский мост, по Садовой. За ночь подморозило. В сухом и прозрачном воздухе все вокруг было особенно четким и каким-то голым. Редкие прохожие. Серые дома. Голые деревья в Михайловском и в Летнем, черные и сухие, как чертеж. Пустырь Марсова поля... Шли медленно.

— Ты уверена, что мама не придет?

— Уехала к Маше Ухиной. Помнишь, которая в дом отдыха не попала? А Маша эта живет на Обуховской Общине, мама обещала, что вернется только к вечеру. — Юля говорила тихо. — Глаза слипаются...

Возле Инженерной нас догнал трамвай, мы сели.

Наконец, теплая, темная комната, штора опущена, теплая постель, нежное Юлино тело, мы обнялись, что-то сказали друг другу — такое, что говорят обычно. Ее голова на моей правой руке, она прижалась щекой к моей груди, наши ноги переплелись, я зарылся носом в ее волосы. Спим. Через какое-то время она вдруг вздрогнула, разбудив меня, невнятно проговорила какое-то сло-

во, повернулась. Я тоже отвернулся от нее к стене. Спинай прижался к Юле. Чудо прикосновения – как быстро к нему привыкаешь. Спим, спим. Потом одновременно, как будто испугавшись, что потеряли друг друга, поворачиваемся, обнимаемся, гладим друг друга, Юля говорит “Витенька”, я целую ее в глаза, и мы, успокоившись, опять спим. Боже! Спим вместе, рядом...

Нас разбудил стук в дверь.

– Гехт, – ворчливо бормотнул Опенкин, – к телефону.

Юля встала, надела халатик и вышла. Я слышал, как она говорила: “Да, я... да... да...” Потом она, бледная, вошла в комнату и сказала:

– Это тебя. Бабушка заболела.

Пока я торопясь одевался, она смотрела на меня огромными своими серыми глазами.

Я подошел к телефону. Эсина дочка зло кричала:

– Ну, где ты там? Немедленно приезжай к нам! У бабушки инфаркт!

И бросила трубку.

От телефона до комнаты шел – холодом обожгло.

Вошел в комнату. Юля сидела у стола, одна рука брошена между коленями, в другой – сигарета. И смотрела на меня, и плакала.

– Инфаркт, – сказал я.

– Я так и поняла...

(Через несколько лет я “открыл” Модильяни, я увидел, что и у него была Юля, что этот цвет, эти длинные линии, продолжающиеся мучительно долго, но кончающиеся именно там, где нужно, эти прекрасные черные глаза, серые глаза, голубые глаза, глаза, которых будто и нет, потому что все лицо – глаза, эти черные волосы, разметавшиеся или гладко зачесанные, это тело – нежное, любящее и любимое, эта с болью повернутая голова, вся – одна тоска, одна грусть, одна любовь, которая началась и вдруг уходит, но так жаль, так жаль, так хочется плакать, так невозможно понять и проститься, и по длинной, вправо и вниз уходящей дуге носа тихо ползет слезинка, такая прозрачная, что ее не видно, – эта голова со слепыми от душных, тоскливых слез глазами, эта голова была и у Юли. И Юля пришла ко мне, как, наверно, она приходит ко всем, всегда такая же, для всех одна, похожая на “Женщину с черным галстуком”, явившуюся Модильяни, приходит, говорит, смеется, потом сидит со склонен-

ной чуть влево головой, не видя в тоске ничего... И вот ее нет.)

- Я должен идти.
- Я знаю...
- Она будет долго болеть. Месяц, а то и два.
- Да...
- Дай я тебя поцелую.

\* \* \*

У Эсиного дома стояла "Скорая". Врач и фельдшер были в квартире. Врач говорил:

– Больше нас не вызывайте, в случае чего звоните в "неотложку". Сейчас ее трогать нельзя, а через несколько дней станет ясно. Нужно сделать кардиограмму.

Бабушка лежала, закрыв глаза, тяжело дышала.

– Бабушка, – сказал я.

Она открыла глаза, прошептала:

– Ты пришел?

– Да, я здесь.

Она опять закрыла глаза.

Потом я подумал, что она, спрашивая, пришел ли я, имела в виду совсем другое. Но я так и не узнал, что она хотела этим сказать, потому что в последующие шесть с половиной лет ее жизни мы ни разу не говорили о Юле и вообще об осени 58-го года.

– Витя, – сказала Эся, – сбегай-ка на Марата в дежурную аптеку, вот рецепт и деньги, принеси пивок и кислородную подушку...

## ГЛАВА 26

Был самый-самый конец августа, последние дни лета. Почему-то в Ленинграде именно первого сентября всегда начинается осень, в этот день внезапно холодает, в небе исчезает летняя дымка, оно становится высоким, прозрачным и холодным, и вода в Неве вдруг делается ледяной.

Но был еще август. Год 1967.

Виктор Новиков шел по Невскому в пельменную, что недале-



ко от кино "Октябрь". Шел, слегка наклонившись вперед, руки сцепил за спиной — по новой своей привычке. Ни на что вокруг не смотрел. И не увидел поэтому Юлю, хотя она шла ему навстречу, радостно улыбаясь. И вздрогнул, когда услышал ее незабываемый голос:

— Витя!

Она стояла перед ним, немного располневшая, загорелая, с модной прической "хала". На ней была белая блузка с кружевами — эти кружева бросились ему в глаза, так они связаны были с летом, радостью, детством.

— Какая ты! — сказал он. — Веселая.

— А ты чего такой... понурый?

— Да так, не складывается что-то, — ответил он. — Слушай, я иду в пельменную, пошли вместе.

— Вот еще! Только ко мне, мама ждет с обедом. И с Тоськой познакомишься. Тот еще фрукт.

Он обрадовался их встрече, а еще больше тому, с какой легкостью она преодолела скованность, естественную после почти восьми лет, прошедших с того дня, когда они виделись в последний раз.

— Какая ты красивая, — сказал он, — и волосы просто замечательные.

— Дурень, — засмеялась она, — это же шиньон, сейчас все так носят. А мои волосы, как и были, до плеч.

Юля взяла его под руку, и они пошли к трамвайной остановке. И пока они шли, а потом ехали в трамвае, Юля рассказывала ему о своей жизни:

— Это все Лидка — помнишь? — затащила меня в Дом офицеров, и я там познакомилась с Адькой, и поженились в 61-м году. А в декабре я уже Тоську родила. Сейчас увидишь. Может, на будущий год удастся в школу отдать. А мы с Адькой уже четыре года в Улан-Удэ служим. Дыра невообразимая, край света. А ты знаешь, где это Улан-Удэ?

— Где-то там, возле китайцев, — сказал Виктор. — Боятесь китайцев?

— Не возле китайцев, а возле монголов. А в последнее время все больше арабо-израильскую войну изучают. Адька говорит, что там полный наш провал вышел... Зато работа мне нравится. Я на радио работаю. Диктором. У меня голос...

— Да, я знаю твой голос...

— Адька, Аркадий, он хороший парень, — говорила она, — он нас с Тоськой любит, а это довольно трудно. Вот сейчас Тоську увидишь и сам поймешь. Но главное в Адьке, что он не пьет. Так, помаленьку иногда, а иначе спился бы, как все офицеры... Ну, а ты-то что? Как ты-то живешь? — вдруг накинулась она на него.

Он загородился руками:

— Не будем обо мне. Как-нибудь потом...

Не рассказывать же этой веселой и красивой женщине о том далеком от нее и некрасивом, что приключилось за эти долгие годы. Как это у Пушкина? "Грустно, Нина: путь мой скучен..." Но Юля уже согласилась не спрашивать о нем.

— А что у Яши? Вот бы на кого посмотреть.

— Яша в армии служит, старшина, фельдшер. И учится в университете. Жена у него и сын годовалый.

— Что ты говоришь? Служит? Сверхсрочник? Никогда бы не подумала... Просто удивительно, что с людьми происходит. Ты Гектора помнишь? Шура Гектор, друг Генки. Еще жена у него — Грета, немка. Ну, конечно, помнишь! Так он тюрьму строит в Омске. Тюрьму. Главный инженер. Грета двойню родила. Вот он и подрядился на такие работы.

Его развеселила эта новость. Есть тюрьмы, значит кто-то их строит. Почему бы не Гектор? Очень, очень жизненно.

— И у меня сын, скоро два года, — не выдержал Виктор.

Они поднялись по лестнице. У двери в комнату Опенкина он вопросительно поднял брови.

— Умер, — сказала Юля, — когда же? году в шестьдесят третьем.

Из-за Юлиной двери раздался истошный детский вопль.

— Во, беседуют, — сказала Юля.

Их встретила Роза Борисовна и мальчик, заплаканный, с красными глазами.

— Ой! — вскрикнула Роза Борисовна. — Витя! Совсем взрослый мужчина!

— Здравствуйте, — сказал Виктор, — я и есть взрослый мужчина. А вот вы совсем не изменились, только поседели немножко.

— Да я уже два года на пенсии. Вот, нянчу, от него еще и не так поседеешь. А ну, иди сюда, — притворно-грозно приказала она внуку, — познакомься с дядей Витей.

Мальчик подошел к Виктору, подал руку и сказал:

— Филонов Антон Аркадьевич!

– Ну, здравствуй, Филонов, – сказал Виктор, – хорошая фамилия. Был такой замечательный художник...

– Что ты говоришь? – сказала Юля. – А я-то думала, что это редкая фамилия. Только у нас...

Юный Филонов ушел в угол, достал из коробки машину и стал возить ее, не обращая ни на кого внимания.

Виктор огляделся. Все было по-старому в этой комнате. Только гитара больше не висела на стене у окна. А гвоздь торчал.

– А Мурзика нету? – спросил Виктор.

– Убежал. Старый кот был, не выдержал Тоськиных ласк, – сказала Роза Борисовна. – Перестань сейчас же! – крикнула она, потому что Филонов не только возил машину по полу, но и гудел самозабвенно.

Виктор никогда еще не видел такого худого ребенка, большие глаза прямо вылезали из орбит, лоб и скулы были обтянуты сухой кожей, а из-за белесых волос его голова казалась голой.

– Вы что, его не кормите?

Юля махнула рукой как-то обреченно и сказала:

– Сейчас будем обедать, и ты увидишь представление – в цирк ходить не надо.

Сели обедать. На первое был куриный бульон. (Виктор уже два месяца обедал в столовках, и этот домашний бульон показался ему необыкновенно вкусным). Филонов съел одну ложку, отщипнул крошку хлеба, потом отодвинул тарелку, подпер щеку кулаком и уставился в окно.

– Ну, ты видишь, Витя, этого обормота? – спросила Роза Борисовна. – И так каждый раз! – И она стукнула внука по затылку.

В ответ Антон легонько толкнул тарелку, и немного бульона пролилось на скатерть. Юля встала, взяла его за шиворот, вытащила из-за стола и поставила в угол у шкафа. Антон громко заплакал и вдруг бросился от шкафа под кровать. Очевидно, это был давно отработанный прием, потому что Юля и Роза Борисовна отнеслись к этому довольно спокойно.

– Что делать, ну скажи? Ты же медработник, – сказала Юля.

– Действительно, может, он болен? – спросил Виктор.

– Несколько раз обследовали, показывали профессорам, все находят, что он абсолютно здоров, тьфу, тьфу, тьфу, – сказала Роза Борисовна. – Говорят, просто у него организм такой.

Филонов продолжал тихонько ныть под кроватью.

– Эй, – сказал Виктор, – вылезай, хватит сидеть там в темноте.

Роза Борисовна пошла на кухню за вторым, Антон вылез из-под кровати и сел за стол.

Виктор смотрел на Юлю, странно ему было видеть ее серьезной и строгой матерью, в каждом жесте ее и взгляде — бесконечная любовь к этому человечку. Как-то не совмещалось это с той девчонкой, которую он помнил до этого дня.

— А знаешь, — сказал он, — я однажды из-за тебя подрался.

Юля, а особенно Антон, очень этим признанием заинтересовались.

— Как это? Когда? — спросила Юля.

Виктор посмотрел на Антона:

— Если съешь котлету и пюре, расскажу.

Были слезы, крики, новое лазанье под кровать, но Антон только попробовал котлету, до пюре вообще не дотронулся, и Виктор ничего не стал рассказывать.

Потом пили чай. Потом Роза Борисовна ушла с Антоном гулять.

— Так как ты подрался из-за меня? — снова спросила Юля.

— Да нет, не то, чтобы подрался, просто двинул одному... Ты, может, помнишь, Олег такой, мы в его квартире новый год встречали?

— Помню-помню! У него еще собака была... Феня, что ли, она мне все платье испачкала слюнями.

— Ага, только не Феня, а Груша. Месяца через два после того я вдруг его встретил возле Петропавловки, он Грушу свою прогуливал, да, точно, снег был глубокий. Он мне и говорит, что его отец картину эту, помнишь, женщина на кресте, отдал одному еврею-поэту, чтобы тот дела не затевал из-за того, что отец Олега его ударил. Та еще семейка. Он мне и говорит, не люблю евреев, а та жидовочка, с которой ты приходил, очень даже ничего. Тут я ему сказал: "Я тоже жидочек" и ударил — точно в зубы. Ты же знаешь, — усмехнулся Виктор, — это не мое амплуа, но в тот раз я выступил удачно, а Груша подумала, что мы играем, и стала на него прыгать, он упал, снег был глубокий. А я ушел, а потом увидел, что перчатку порвал, а это были те перчатки, что ты мне подарила, помнишь?

Юля вдруг встала, и подошла к окну, и слушала его, отвернувшись и закусив губу. Все в ней всколыхнулось и заходило ходуном. Хороший человек Адька, легкий, особенно в постели с ним хорошо (это она не подумала, но после двухмесячной разлу-

ки тело ее скучало по нему), но дурную привычку завел, обидную: когда приходит Додик Ковнер, шепчет на ухо: "Твой еврейчик пришел" и смеется. Все знают, что Додик влюблен, и на почте у него целый день радио орет, чтобы только не пропустить, когда она говорить будет. Однажды она ему сказала: "Что вы, Додик, сидите в нашей дыре? Женились бы и уехали". А он ответил: "Кому я нужен, одноглазый ссыльно-поселенец, я же из Ковна (он сделал ударение на последнем слове), простите, Юлия Вениаминовна, за дурное слово, и вообще, я типичный чеховский телеграфист..." Это "телеграфист" очень Юлю раздражало, потому что она тогда, выходило, "полковая дама". Он был на двадцать лет старше, она звала его по имени, а он ее по имени-отчеству. И давно бы она перестала его принимать, но чем-то был он похож на дядю Марка, отчаянный был ругатель советской власти и очень зорко видел всевозможные недостатки, слушать его сарказмы и остроты было наслаждением. И Аркадий тоже смеялся и продолжал говорить ей: "Твой еврейчик пришел". А потом раз вдруг ласково сказал ей: "Моя жидовочка" — в шутку сказал, ласково сказал. Она обиделась, он обещал, но потом забыл, чаще стал повторять, а потом уже не шепотом на ухо, а громко и при гостях...

— А ты еще стоишь у окна? — спросил Виктор.

— Что значит "еще"? — спросила она.

— Ну помнишь, тогда ты все стояла у окна. Перед судом.

— А-а, — протянула она, успокаиваясь, подходя к столу, закуривая "ВТ", — ты это вспомнил? Какой ужасный был год. И тот, и следующий. Мы тогда с матерью обе с ума сошли. Из-за этого я и поехала на целину. Из-за матери. А не из-за тебя, как ты думал. И если бы дядя Марк не умер, я бы еще долго не вернулась. Я тебе не писала, как он умер?

— Написала. Как раз в последнем письме. Что получила от матери подробное письмо о его смерти. Здесь упал, между входными дверями, и Опенкин его тащил, и в завещании его было сказано: "Роза, сообщи ей о моей смерти только после похорон".

— Ага, — сказала Юля, грустно сказала, сидела, подперев щеку рукой — в точности, как ее сын.

Да, подумал Виктор, дядя Марк... Бедный старик, спившийся трезвенник, как все очень пожилые люди глубоко безразличный к судьбам мира и более молодых людей, занятый только мыслями о собственной смерти, да и звали его когда-то Мордух Алтерович, как Юля рассказала, и имя он переменял, чтобы быть ближе к

“ним”, а “они” отплатили ему черной неблагодарностью, предательством дочери, презрением внука (“Какую суку ты, дед, воспитал из своей дочери,”), тоже Юля рассказала), отплатили пытками и издевательствами, сломанным пальцем, тем самым, без которого он не мог сделать тысячи и тысячи операций, и вынудили его подписать признание в несовершеннолетних преступлениях, и оклеветать ни в чем не повинных людей — иначе почему бы он так переживал из-за своей рукописи? — несчастный старик, бедный старик. Только и оставалось, что ходить в Публичку и переводить время на бессмысленное чтение мерзких газетенки. И вот упал в дверях, и другой старик, доносчик и подлец, профессиональный понятой и бездарный интендант, зато прекрасно питавшийся во время блокады, майор Опенкин подхватил его под мышки и дотащил до кровати, вызвал врача, сидел рядом и заплакал, себя жалея, когда врач сказал, что уже поздно. Ушел Марк Александрович, помер, преставился, прости его, Господи, и упокой его душу.

А мне, думал Виктор, подарил одну стихотворную строчку, да и то чужую: “Те дни, тот город, та девчонка”. И с этой строчкой прошел он всю армию, и часто-часто — всю длинную дорогу от своего автобата, где три года прослужил, до медсанбата, куда водил своих больных, и на кроссах, и во время марш-бросков — в такт шагам повторял про себя: те дни, тот город, та девчонка...

Та девчонка сильно изменилась. Странно было смотреть на эту женщину, странно было, что с ней связано так много, что обычно даже не вспоминалось, а только — ощущалось — в прошлом, как что-то трудное и даже мучительное...

И Юля, словно подумав о том же, спросила:

— Помнишь, как ты пришел в последний раз?

Это было самое мучительное, и память об этом долго не давала покоя.

Он получил письмо (потом переписал его в дневник):

“15 января 1959 г. Дорогой Витенька! Я заболела, у меня воспаление легких. Приходи скорее, я умру без тебя. Нет, ты не подумай, что я хочу тебя разжалобить. Вчера мать учинила мне скандал. Самое ласковое слово было — “потаскуха”. Я в совершенном отчаянии. Мать с ума сходит, потому что ей звонят и говорят обо мне всякое. Ну, скажи, можно ли жить, когда все ко мне так относятся? Не знаю, что делать. Уйти из дома? Уехать? Жить где-то, где нет тебя? (Прости за мазню, это нечаянно слеза упа-

ла). Теперь ты скажешь, что я кокетка — с этой слезой. Но я, правда, плачу. Вот только сейчас я подумала, что это все — из-за моей истории со Шрайбером, конечно, тебе отвратительна вся эта уголовщина. Как бы мне хотелось быть неправой. Ты целых две недели не приходил, я понимаю, что бабушка больна и что экзамены, но как ты мог не видеть меня целых две недели. Не могу больше писать... Скорее приходи, любимый мой”.

Он пошел.

Она лежала в постели худая, осунувшаяся. Посмотрела на него, закрыла глаза и сказала:

— Ты меня больше не любишь!

— Да что ты, с чего ты взяла? — засуетился он.

— Я вижу, — сказала она и отвернулась к стене.

Он сел у стола, потом пересел к Юле на кровать.

— Давай измерим температуру.

Она все так же смотрела в стенку.

— Я уже мерила.

— Сколько?

— Тридцать восемь.

— Много.

— Да, а ты пришел в кои-то веки раз...

Она поднялась на постели, обняла его за шею, прижалась всем телом и забормотала:

— Ну, Витенька, ну прошу тебя, ну ляг со мной, полежи хоть чуточку, мне так это нужно, так нужно, ну прошу тебя, я же не заразная...

— Не выдумывай, — сказал он, — лежи спокойно. А то так разболеешься, что в больницу угодишь.

— Не хочешь! — горько шепнула она. — Мне же ничего не нужно, только чтобы ты хоть чуть-чуть полежал со мной.

— У тебя температура, — сказал он, — тебе нужен покой, ляг, отвернись к стенке и поспи. А я посижу возле тебя, — и он пересел на стул.

Она вскинулась в рыдании, упала на кровать, закрыла лицо руками и заплакала так горько, а он не выносил, когда плачут, особенно, если из-за него, и поэтому закричал:

— Перестань сейчас же плакать, тебе нельзя плакать, и накройся одеялом, а то температура еще поднимется!

— “Температура”! — рыдала Юля. — При чем тут температура? Когда в тебе любви нет, ни капельки тепла!

– Если ты будешь плакать, – крикнул он, – я уйду!

– Ну и уходи, – коротко сказала она.

И он ушел.

Он не забыл. И она не забыла.

– Ты всегда потом был такой черствый, как в тот раз со мной? – спросила она, улыбаясь. – Я тебя видела несколько раз с одной девочкой. Позже, лет пять назад. В “Севере”, потом на “Короле Лире” с Мордвиновым. Такая девочка, – Юля повела рукой, – породистая. Ты с ней тоже бывал груб?

– Бывал, – сказал Виктор серьезно. – После тебя я старался ... не углубляться.

Юля сочувственно покивала. Они помолчали, покуривали.

– Я и сейчас не знаю, как нужно было поступать, – сказал Виктор. – И с женой моей, и с тобой тогда, в 59-м... Вот нас с Яшей забрали в армию, 14 июля, только-только дипломы получили, в Пушкине мы были в “карантине”. Написал Лиде, она мне прислала твой адрес целый. И стал я излагать тебе свою любовь. И вдруг получаю одно из своих писем обратно с надписью: “Адресат выбыл”. И все кончилось. Почему ты мне больше не написала, хотел бы я знать?

Юля сделала изумленные глаза.

– Ты в самом деле думаешь, что ты излагал мне любовь? Получила я от тебя ровно двадцать три письма. В каждом ты учил меня, как жить, как себя вести, как скрывать от всех, что у меня был ты и Генка, что меня осудили, как быть недоступной. И прочую чепуху. Мне это твое морализирование вот где было. – Она провела пальцем по горлу.

– Ну и написала бы мне об этом, а то – все хорошо, Витенька, милый, а потом – как ножом отрезала.

Юля засмеялась:

– Тебе одному расскажу, по старой дружбе. Имей в виду: никто не знает. 14-го июля, говоришь, вас забрали? Точно, я это хорошо помню. Как раз в этот день некий Коля сделал мне предложение. Он был из отряда Киевского сельхозинститута. Приехали помогать нам подымать целину. Красив этот Коля был умопомрачительно. И очень рвался переспать со мной. Но у меня же был ты! А на целине, между прочим, все очень к любви располагает, особенно в июле, когда еще пыли нет. Ну и прогуляли мы по этой степи до конца августа, пока он в Киев не уехал. И тоже начал заваливать меня письмами: приезжай да приезжай, люби-



мая, дорогая. Дядя Марк умер в ноябре. Я и поехала домой. А в Москве черт надоумил, села на киевский. Приезжаю. Коля от радости ополоумел. Но вот беда, — рассказывая это, Юля не переставала смеяться, — жил он вместе с сестрой и матерью. Две такие ведьмы!.. На следующий день повел меня Коля на Владимирскую горку, потом на склоны Днепра, в грязи, помню, извозились. Возвращаемся, а две эти жабы порылись в моем чемодане, достали твои письма и все, что ты написал, Коле сообщили. При мне. Про мои любви, про судимость, про тебя, про меня. Я собирала чемодан, а Коля так и стоял, рот разинув. Поехала на вокзал, а ночью на поезд села. И очень была на тебя сердита, зачем ты мне эти письма писал. А ты спрашиваешь, почему я как ножом отрезала. Хотя, конечно, не в том было дело...

Юля смеялась, и ему было очень неприятно. И настроение у него делалось все хуже и хуже. И потому, когда Юля спросила вдруг:

— А теперь ответь честно, почему ты меня тогда бросил? — он сказал с обидной для нее прямою:

— Понимаешь, тут много сплелось. Уже не помню точно, до нашей встречи или когда мы были уже вместе, бабушка мне рассказала средневековую балладу о девушке, потребовавшей от возлюбленного сердце его матери...

— Знаю я эту балладу, — сказала Юля.

— Ну вот, и когда случился у бабушки инфаркт...

— И очень глупо.

— Глупо, как факт, слова Бальзака... И еще я думал, что все это безнадежно, ты не согласилась бы выйти за меня замуж скрытно, чтобы вести двойную жизнь, я во всяком случае был к этому не готов.

— Я тоже.

— Но это еще не все. Помнишь, мы спали, а тетка моя позвонила, сначала ты подошла к телефону, а потом я. И она мне сказала, что у бабушки инфаркт. Я положил трубку и, пока шел от телефона до комнаты, подумал вдруг, как было бы хорошо, если бы бабушка умерла, как мы могли бы пожениться и жить вместе... И вот этой своей мысли я себе простить не мог. И тебе, потому что это из-за тебя я так подумал.

Он замолчал и закурил. Юля растерянно смотрела на него, не зная, что сказать. Потом встала, подошла к окну.

— Смотри, — сказала она, — вон мама с Тоськой идут.

Виктор тоже подошел к окну, встал рядом с Юлей. Безгла-

зые брандмауэры, внизу флигель, вдалеке садик, а возле садика на тротуаре — Роза Борисовна и Филонов (он узнал их только потому, что Юля сказала), Антон сидит на асфальте, а Роза Борисовна, видимо, уговаривает его встать и идти домой.

Краем глаза он видел, что Юля улыбается, глядя на них.

— Не сердись на меня, Юленька, — сказал он.

— Да я не сержусь, все это давно уже забылось.

— Ага, — сказал Виктор. — Я если думаю иногда о нас с тобой, то вижу только, как мы ночью стоим у окна, а внизу снег. И знаю, что вспоминаю? “Сыпал снег. Стояли двое у окна...”

— Что-что? — спросила Юля.

— Я говорю, однажды сыпал снег, у окна стояли два человека, он и она, и каждый о своем думал.

— Не понимаю, о чем это ты, — сказала Юля.

*Б. Поляков — журналист, писатель, живет в Хайфе; в “22” была опубликована его первая повесть “Жизнь и смерть Соры-Рохл”.*

#### Дорогой друг!

Один из авторов нашего издательства приступил к работе над новой книгой об убийстве президента Джона Кеннеди. Как вы очевидно знаете, убийца (или один из убийц) Ли Харви Освальд жил в начале 1960-х (с начала 1960 по май 1962) в Минске. Об этом периоде его жизни историки знают очень мало, и главным образом — со слов вдовы Освальда, Марины Пруссаковой-Освальд-Портер. Однако каждый из нас, бывших жителей СССР, понимает, как осторожна должна была быть в своих рассказах Марина Освальд, какая опасность грозила бы ей, если бы она рассказала в се о связях Освальда в России.

Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем бывшим жителям Минска: расскажите нам все, что Вам довелось слышать об Освальде и условиях его жизни и работы (по сообщению Марины, он работал на Радиоламповом заводе). Если Вы ничего не слышали сами, не считите за труд снять копию с этого письма и переслать ее другим минчанам, ныне живущим на Западе. Или пришлите нам их адреса — мы обратимся к ним непосредственно. Обычно автор включает в издание книги благодарность тем, кто помогает ему в работе. Но если Вы пожелаете остаться неназванными (многие справедливо тревожатся за родственников и друзей, оставшихся в Союзе), мы обещаем, что Ваше имя никогда не будет упомянуто в печати. Мы будем признательны даже за анонимные сообщения.

От имени нашего автора заранее благодарим всех, кто поможет нам в отыскании исторической правды.

Издательство “Эрмитаж” (2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104, USA).

## ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

*Д. Таксер*

**“РУССКИЙ” В ЛИВАНЕ**

Начну с того, что речь не о настоящем русском. Иначе для чего бы кавычки. Настоящие русские — вон за той горной грядой, что справа. Там, где сирийцы. Кто служил в советской армии, тому достаточно взглянуть на сирийские позиции — сразу узнает знакомые наставления. Впрочем, следы “настоящих русских” остались и в части бывшего Фатахленда, которую занимаем мы. На окраине не то села, не то городка Мансура — разрушенное укрепление. На стене — надпись: “Я здесь был. Г. В.” Серпомолоткастый штамп с пятиконечной звездочкой под ним, выведенной по-детски, без отрыва фламастера, вызывает представление об авторе — офицере в чине не старше капитана, каком-нибудь Жоре в заграничной “командировке”. Думается, что майор или там подполковник станет более ответственно относиться к государственной тайне, Жора же еще не расстался с привычкой увековечивать свои инициалы, где попадется, и не возьмет в толк, что Ливан — не Ливадия, а ДОТ — не беседка в парке. Не понимает, что может найтись “борзописец” (“клеветник”, “предатель”, “агент мирового сионизма” — на выбор Главлита), который не преминет воспользоваться его, Жориной, слабостью.

А вот и другой любитель автографов. Этот ни хрена не боится — вывел свою надпись жирной черной краской на стене бывшей казармы террористов у озера Караун: “Москва—Иерусалим—Бейрут. Миша. 1982”. Это — наш “русский”. Один из тех, о ком писала в Союз знакомая репатриантка: “Наконец-то мы стали русскими — в Израиле. Только нам от этого не легче”. Ей, видимо, хотелось стать саброй на второй день после прибытия. Кому не хочется? Тычешься со своим “великим и могучим” да огрызками английского (что знал — забили зачатки иврита), ищешь работу иловишь выражение лица нанимателя, чтоб уловить смысл беседы. А за тобой в очереди — сабра. Он с материнской утробы знает разницу между “айном” и “алефом”. Какие у тебя шансы, даже если этот сабра всего-то этой разницей ограничен? Да хоть бы и сам был на месте нанимателя. На работе нужно с людьми объясняться, бумажки читать-писать, а тут вывеску по слогам сложишь — радуешься, будто целый кроссворд разгадал.

Мне повезло. После ульпана, вооруженный своим “коротхаимом” (составил один почти грамотный ватик), мыкался всего каких-нибудь месяца три. Кому-то срочно понадобилась моя неходкая в Израиле специальность — монтажник-трубач. Часов в семь вечера принеслась запыхавшаяся родственница. В девять я уже встречался в Реховоте с Леонидом (конечно же, наш, “русский”), ответственным работником геодезической фирмы “Ромид”. До одиннадцати каждые пять минут бегали с Леонидом в будку телефона-автомата, разыскивая шефа. В восемь утра предстали пред очи крупного человека по имени Арье, который командовал в конторе парадом. Арье, оказалась также Лево́й — конечно, в далеком прошлом, но все же не настолько далеко, чтобы совсем забыть русский язык. Родился в Польше. Учился в России. Отец сидел. Выехал в 49-м. Стандарт для оставшихся в живых польских евреев его возраста.

Лева-Арье “командовал парадом” в конторе. Несколько раз он поворачивал большую лысую голову в нашу сторону — я и Леонид танцевали от нетерпения, но звонили телефоны, вбегали люди с пачками бумаг ему в лицо, толпились другие посетители. Наконец он решительно поднял руку, останавливая жестом возню вокруг, и... заговорил со мной на иврите. Через секунду я был разоблачен.

— Ничего не выйдет, — сказал Лева-Арье по-русски. — У нас бы-

вают встречи с генералами, совещания, каждый день пишем сводки...

— Так ведь сводки типовые, — робко вставил Леонид. — За неделю освоит.

— Давайте попробуем, — заканючил я. — Если что — без оплаты.

Леонид ткнул меня в бок: молчи, мол, не понимаешь жизни в свободном мире.

— Машину водишь? Права есть?

— Как Бог свят, вожу, — обрадовался я. — Права с 60-го года, там машина была, и здесь есть.

— Хорошо. Попробуем. Мики! Где Мики? (Это уже на иврите). Выезд через час. Вернетесь в четверг вечером. Сообщите жене. (Это опять по-русски).

Влетает Мики, щуплый парень с волоокими сефардскими глазами. Короткий инструктаж, которого я, естественно, не понимаю. Мики отрывает свои шары от шефа, они мгновенно утрачивают выражение внимания и поворачиваются ко мне с выражением глаз гончей после приказа "вперед":

— Бойна!

Не иначе, как "пошли!" Но боюсь попасть впросак. Срываюсь с места, лишь когда Мики распахивает дверь и нетерпеливо сверлит взглядом.

На улице перед конторой "Фольксваген-транспортёр", с "цадиком" на стекле — военная машина. В кабине, за сидением, — автоматическая винтовка М-16. Может, из-за этой винтовки, в сочетании с разговором, по краткости подобным приказу, с меня слетает груз сорока лет, и я снова ощущаю себя "инкубаторским" лейтенантом выпуска 43-го года, направляющимся на фронт после "скорострельного" офицерского училища. Только вокруг не Россия, а пестрый, как восточный базар, Тель-Авив.

Мики ведет машину недолго, — но нужно видеть, как. Он втискивает "Фольксваген" в любой просвет, если зазор оставляет хотя бы сантиметр. Он "садится" на багажник впереди идущей машины, если ее скорость его не устраивает. Он бросается из ряда в ряд так, что где-нибудь в Москве мы бы утонули в море ма-та, а ОРУ Довцев изрядно обогатили бы штрафами.

Как только выскочили на прямую улицу Жаботинского, Мики причаливает к тротуару и предлагает обменяться местами.

— В Петах-Тикву!

Слава Богу, знаю, где Петах-Тиква. С квартал он присматривал-

ся, как веду. Квартала мне достаточно, чтобы почувствовать норы нашего тягла. На втором — продельваю его трюки. Мики дважды сказал “о-кей”, на ходу перелез на заднее сиденье и мгновенно отключился. Уснул.

(Позже, побывав несколько раз у него дома, в Бат-Яме, в квартире, которую он снимает на-пару с дружкой, я понял, почему Мики каждую минуту урывает на сон. Светская жизнь. К его возвращению в квартире всегда наготове девчонка и всегда не та, что в прошлый раз. Видеомэгаффон и пара дюжин ярких бутылок на все вкусы — включая “столичную”. Настоящую, с “Охотным рядом” на этикетке.)

На въезде в Петах-Тикву бужу его. “Смола-ямина” знаю. Подъезжаем к дому, где нужно принять еще одного члена команды. Знакомьтесь — Роберт. “Румын”. Худобой и усами смахивает на Дон Кихота. На широком брезентовом ремне огромный пистолет. Оказался мелкокалиберный спортивный. Роберт — тренер по спортивной стрельбе. Кроме пистолета еще М-16. Три года назад Роберт прибыл по туристической путевке. Возвращаться не собирается, хотя каждый год продлевает пребывание “за границей” в румынском посольстве. Двойное гражданство придает независимости. Сносно знает русский. Учил в школе. Кроме того, свободно французский, прилично английский. Испанский, итальянский — слегка.

Новый человек для Роберта — находка. Он обожает новых людей. Но чувства его быстротечны, как любовь кокотки. Завтра променяет меня на первого встречного. Все равно — все прощаю за первый день, в который, благодаря его русскому, кое в чем разобрался. Прощаю даже то, что во все последующие дни не перенял от него ни единого слова ни иврите: Роберт решил на мне совершенствоваться в русском. В эту поездку он, спотыкаясь на падежах, временах и лицах русской грамматики, указывает дорогу. Мики спит.

За Петах-Тиквой сбрасываю скорость, хотя дорога отличная, с разделенными полосами. Хочется глянуть по сторонам. На севере страны я еще не бывал. На юге, впрочем, тоже. Мои крайние точки — Иерусалим, Кирьят-Гат, Петах-Тиква. Теперь мне предстоит разом расширить горизонт километров на двести к северу, до границы, — и еще неизвестно, на сколько за ней.

Работа — не Бог весть что. Контролировать строительство жилья для наших солдат и оборонительных укреплений на зиму. Мой участок — водопровод и канализация. Это не трубопроводы высо-

кого давления, даже не газовая трасса, где можно показать прошлый опыт. Но все-таки – работа. И где – в Ливане! Мой возраст – запризывный. В стране, где почти все население то и дело призывается в армию, запризывный возраст новоприбывших – что-то вроде незаслуженной льготы. Может, работой в Ливане я искуплю это ощущение? Область лирики. Есть еще область брюха.

Подконтрольные нам объекты невелики по объемам работ. Они вытянуты вдоль линии раздела с сирийцами, от Метулы за озеро Караун. Контроль за строительством вдоль побережья осуществляет какая-то другая группа. Не увижу крупные города – Тир, Сидон, Бейрут. (Я пока не знаю, что через год восполню этот пробел. Пока армия ведет подготовку к зиме в Ливане. На всякий случай. Может, и не придется зимовать. Никто не знает.)

За Афулой – возникает чувство приближения к фронту: обгоняем колонны тяжелых грузовиков с солдатами, трейлеры с пушками, танками, такие же колонны движутся навстречу. Кто туда, кто оттуда. Всматриваюсь в лица, в технику, пытаюсь объяснить себе собственные ощущения, не впадая в излишний пафос. Не впасть в пафос трудно – еще не забылась былая, 45-го года, зависть к союзникам, с которыми встретились в Германии: “Вот это да! Жрут, как в ресторане, пешком ни шагу, одеты с иголки, а солдат от офицеров не отличишь”. Теперь я сам причастен к такой армии. Нет, к гораздо лучшей. Об израильской армии не скажешь, как говорил об американцах, тоже снедаемый завистью, замполит: “Вы на их одежду не смотрите, вояки они кволие, вон их Рунштедт как причесал – только мы и выручили...” Нашу армию и враг не назовет “кволой”.

“Фольксваген” одолевает последние километры израильской дороги. Проезжаем Метулу – очень маленькую, очень чистенькую, очень зеленую, всю в птичьих распевах – и сразу забор из многорядной колючей проволоки. Граница.

Вот те на! Столько слышал о Ливане, как о ближневосточной Швейцарии, а за колючим забором, сколько глаза хватает, – всхолмленная каменистая пустошь. Голые пыльные плоскокрышие деревеньки, на фоне которых ухоженная Метула за спиной выглядывает последним оплотом цивилизации. Кажется, что забором границы обнесли природную среду обитания, а не сотворили ее еврейскими руками. По одну сторону сады и ухоженные поля, по другую – камни и верблюжьки колючки.

Я не квасной патриот, самокритиканство у меня в крови, как

у каждого "русского", и еврейского скепсиса предостаточно. Но ей же Богу! Поезжайте к границе. Не Владивосток, какие-нибудь двести километров. Собственными глазами увидите, что птицы за Метулу не летают. И не только отсутствие зелени тому причиной. По ту сторону забора и стар, и млад — с ружьем. Если хоть самая малая пичуга по неопытности нарушит границу, десятки стволов изрыгнут огонь. При этом аборигены не то, чтобы голодны, а патрон в цене курицы, отсутствием которых ливанские лавки не страдают. Такое развлечение. Извели в своей пустоши последнюю ворону, теперь под нашим забором подстерегают зазевавшихся метульских соловьев.

Шар-Фатма, "ворота в Фатме", что-то вроде советского "погранично-пропускного пункта". Кто в России такой пункт проходил, ужаснется: полное отсутствие вдалбливаемой с детского сада "бдительности", "преступная халатность". Заранее заказать для меня пропуск не могли — его оформление требует нескольких дней. Мики прихватил пропуск какого-то сотрудника. Я волновался. Как могут к безликой бумажке не потребовать удостоверение личности? Волнения напрасны — Мики знал, что делает. Но в этот день требовалось другое: количество личного оружия, соответствующее количеству пропускаемых голов. Роберт цепляет на меня мелкокалиберный пистолет. Возможно, было бы достаточно и игрушечного.

Впоследствии, в результате ежедневного пересечения границы "туда и обратно", сложилось впечатление, что правила меняются вместе со сменой охранной команды. Одни не пропускают машину, пока не подберется несколько, идущих в одном направлении. Но так как ждать некогда, да еще найдется ли попутчик, то шофера собираются перед воротами и сговариваются, как врать, затем разъезжаются, кому куда нужно. Другие требуют, чтобы на колонну была хотя бы одна рация. К владельцу рации пристраивается целая вереница машин, которая рассыпается сразу за воротами, на глазах у "выполнивших свой долг" на израильской земле. Несколько раз предупреждали, что отныне не будут пропускать без "шахпатов" — пуленепробиваемых жилетов, но на следующий день никто о жилетах не вспомнил: то ли забыли, то ли охрана сменилась. Бывали случаи, когда в дополнение к пропуску требовали удостоверение личности. Если оно не соответствовало, на машине проехать не удавалось, но можно было пройти пешком и сесть в машину "за границей". В общем, есть десятки



способов незаконного проезда-прохода в Ливан, и даже если забыть железобетонные формулировки прежней “матери-родины”, все же нельзя отделаться от ощущения безалаберности. Недавно, после нападения террориста-самоубийцы на нашу комендатуру в Тире, стало построже: вместо десятка способов осталось два-три.

Куда более опасная безалаберность — в хаосе, царящем перед пограничными воротами. Тут скапливаются сотни тяжелых машин, трейлеры с танками, бронетранспортерами, орудиями. Вся эта техника простаивает часами. Колонны вытягиваются на километры и ждут, пока офицеры со списками и проездными документами стоят в очереди перед маленькой будочкой, где неопытные (из-за частой смены) девушки-солдатки выписывают пропуска.

Я еще помню излюбленные места бомбежек во время Второй мировой войны. Но там это были тесные переправы, где толчеи не избежать. Разве здесь нельзя принять меры, в результате которых воинская часть окажется у ворот в точно назначенное время и пройдет их без задержки? Без таких мер, в случае военного конфликта, противнику запросто накрыть всю эту кашу своей авиацией и ракетами. Да и террористам-одиночкам здесь раздолье...

Вот и ливанская земля. Едем неширокой, вытянутой с юга на север долиной между крутыми горами. Дорога узкая. Полоска асфальта в одну колею, положенная еще при колониальных властях, с тех пор ни разу не ремонтировалась. Остатки асфальтового покрытия только усиливают тряску. Со встречными машинами разъезжаемся бок о бок, а если идет трейлер, танк или бронетранспортер, приходится срочно искать лазейку над пропастью, где можно остановиться и пропустить эти фыркающие чудовища, которые в собственном грохоте и не услышат, как столкнут в пучину.

Мелькают названия. Это “наши”, “внутренние” названия, их не найдешь на карте, но они известны каждому милуимнику, служившему в Ливане: “Цомет амаим” (“Перекресток воды”), “Цомет фалангот” (“Перекресток фалангистов”) — их и им подобные выкрикивают в Шар Фатме в поисках попутной машины. Названий, отмеченных на карте, в долине мало. Нет населенных пунктов. Может быть, плодородная земля слишком дорога под застройку? Деревни лепятся на склонах гор. Вот слева Марджаун, столица майора Хадада. Справа — друзский городок Хацбайя с деревень-

кой шиитов рядом. В небольших населенных пунктах церковные кресты и минареты редко встречаются рядом. По ним узнаешь, чего ожидать: пулю, камень, гнилой помидор, запущенный ребенок вдогонку — или приветливое “мархаба”, здравствуй.

Впрочем, сейчас стреляют не в деревнях. Стреляют по дороге и вокруг, преимущественно молодые люди с ружьями в руках, часто дети. Не пугайтесь! Это пока не террористы — все те же охотники на птиц. Вы не пугайтесь, а вот мы проезжаем — и мороз по коже: а ну, как пухнет в спину медвежьим жиганом! Что ему с того света сделаешь? Мы же в глазах значительной части населения — оккупанты. Мы и в самом деле оккупанты. Пришли с оружием — а лишь для нас самих да для наших друзей важно, из-за чего пришли. Только какие-то мы не настоящие оккупанты, хотя должны были бы ими быть — хотя бы в том, что относится к безопасности. Такого рода ограничения на время оккупации уместны и со стороны демократического государства.

Я был настоящим оккупантом — в Польше, в Германии. Первый же приказ советских оккупационных властей требовал от населения в 24 часа сдать оружие. За невыполнение — расстрел. И на своей, очищенной от немцев территории — тот же расстрел. У нас не расстреливают даже террористов, совершивших убийство на глазах у всех. Им достаточно лишь успеть поднять руки — потом обменяют, по три тысячи за одного. Но хоть бы оружие отнять. Отнять это ружьецо, этот пистолет за поясом, автомат, купленный в хозяйственном магазине любой деревушки, где пистолеты, автоматы и винтовки вывешены на продажу рядом с граблями и лопатами. Скажете — сложно? Обидятся союзники? Думаю, проще договориться с дружественными милициями, чем похоронить хотя бы одного нашего парня...

Многих возмущает наша половинчатость. Однажды довелось беседовать с офицером — серьезным человеком, судившим не по привезенным меркам — родился здесь, русский знал только от родителей. Он утверждал: “Нужно принять самые решительные меры и прежде всего — в горячих точках, вроде Набатие, где чуть ни каждый день гибнут наши. Пусть крикуны вопят, и свои, и чужие, — от крика никто не умирает, умирают от бездействия. Либо принять самые решительные меры — либо убираться вон!” Нечто подобное приходилось слышать от многих — не раз, и не два...

В разговорах с людьми слышишь всю гамму настроений, связанных с ливанской войной. “Левые” говорят: “Нечего было соваться.

Что мы здесь потеряли, что нашли? Потерь столько, что хватило бы на 20 лет обстрела нашей территории арафатовцами..." Один парень так прямо и заявил: "Лучше в тюрьму, чем шкурой рисковать!" Он же рассказывал, как "лучше в тюрьму": "За отказ служить в Ливане сажают на тот срок, который должен был отслужить. По концу отпускают домой, а через день-два — снова повестка. Отказ — опять тюрьма. Получается отсидка с ежемесячным отпуском, а жена поплачется в кое-каких организациях — дадут денег на жизнь. Только нужно, чтоб пришла с покрытыми руками-ногами и в головном платке..."

Те, что поближе к политическому "центру", говорят: "Израиль не способен к длительной войне. Наше дело — удар и домой. Арафата разгромили — пора уходить. Длительная война нам не по карману".

"Правые" критикуют со своих позиций: "Не было точного плана действий. Бейрут нужно было брать сходу, а не ждать, пока арафатовцы укрепятся и поднимется крик за рубежом и дома..."

В общем, критика со всех сторон. Но молчаливое большинство просто делает свое дело.

Объезжаем "подопечные" объекты. В основном, это брошенные или недостроенные дома, которые переоборудуются под казармы (из жилых не выселяют). Хозяева достройке рады: мы уйдем — дом останется. Проектом предусмотрен определенный комфорт: водоснабжение, включая горячую воду, душ, отопление, канализация. То же в передвижных домиках, доставленных из Израиля. Даже передовые наблюдательные пункты оборудуются с невиданным в России комфортом: стены ходов сообщения обшиты металлическим листом, наблюдатель — в застекленной будке, есть — всегда чистый — передвижной туалет. Не один человек поработал над тем, чтобы сколько возможно облегчить походную солдатскую жизнь.

Сейчас на передовой спокойствие. Уцелевшие арафатовцы где-то на севере зализывают раны, сирийцы притаились. Наши расхаживают во весь рост, грохочет строительная техника, а на сирийских позициях — гробовая тишина, затаившиеся зигзаги окопов: проявляют советскую "бдительность".

За сирийскими позициями — шоссе на Захле. Шоссе не замаскируешь: видно, как жуками ползут старые знакомые ЗИЛы, козлики-ГАЗики. В мощный стационарный бинокль разглядишь все детали. Говорят, в подходящую погоду можно увидеть и Да-

маск, но сейчас он спрятался в колеблющейся дымке жаркого летнего дня. Впрочем, день уже на исходе.

Мы в Ливане не ночуем. На ночь направляемся на свою территорию, в Метулу. В Метуле, в гостинице "Шелег алеванон" ("Ливанский снег"), для нас сняты номера.

В Шар Фатме — обыск. Застенчивые девушки-солдатки просят выйти из машины, заглядывают под сиденья, в моторный отсек. Им явно не по себе в роли "шмональщиц". В карманах, на теле провози, что можешь. Но хоть крупную контрабанду изымут — иначе "прогорят" все израильские предприятия. Товары в Ливане в два-три раза дешевле. Торговцы и промышленники никому не платят налогов, и несмотря на многолетнюю гражданскую войну полки ломаются от товарного изобилия. Ливан — доказательство тезиса: чем меньше сила правительства, тем выше материальная обеспеченность граждан. Но тут с этим тезисом уже даже перехлестнули. Все же необходим золотой оптимум. Нужна достаточная сила для обеспечения разумной законности, и кто-то должен заботиться обо всем том, что не составляет "личную" собственность. Товары без налогов — плохие дороги. Хорошо — Ливану повезло: пришли мы, нищие "богатые дяди", и строим дороги. Строим для себя, останется им. А у нас самих, пока проберешься от перекрестка Кастино до Кирьят-Гата, — наплачешься...

На улицах ливанских городов, поселков и деревень — грязь и пыль, которая удивляет даже привычных тель-авивцев. Ни одного законченного ансамбля. Роскошные виллы богачей стоят среди мусорных куч. После дождя за ворота не сунешься, если не хочешь по колено утонуть в грязи. Похоже на провинциальную Россию, скрытую от глаз иностранцев. Вроде бы противоречие: силе российского правительства позавидовали бы и фараоны. Но ему есть, куда девать деньги помимо благоустройства: достаточно поглядеть на обочины ливанских дорог: десятки сожженных ЗИЛов, советские танки на боку и вверх брюхом. А сколько целых мы увезли! А гора за "Перекрестком воды", вся изрытая хранилищами террористов!

Кончен беглый "шмон" — здравствуй, зеленая, чистенькая, с тротуарами, Метула! Все же здорово быть в стране своего народа — пусть и без языка...

Утром прибывает шеф, Арье. С ним еще один член нашей команды — друг. Вот это друг — по-русски шпарит без запинки! Что за чудеса? Оказывается, он два месяца, как из... Москвы.

Я — девять, а он — всего два. Проверяю. Знает названия улиц, тонкости, штрихи. Точно — из Москвы. Кончил Московский строительный. Жил в общежитии у метро ВДНХ. Так у меня же там знакомые! Правда, в основном — среди женского пола... Каким образом? Каким образом друг из Израиля мог шесть лет проучиться в Москве? Вот как?! Понятно! Сникаю. РАКАХ. Вместе в разведку не пойдешь.

— Да ладно вам, Давид... Как еще было стать инженером и мир посмотреть?

Ладно — так ладно. Поживем — увидим. При всех обстоятельствах — плакал мой иврит. Арье, Роберт, теперь этот русский друг. Машину повел он. Вслед неосторожным — утонченный московский мат. Понимают. Больше того — матом же и отвечают. Если чем и обогатила матушка-Россия мир, так это матом. Куда там английскому "факанью", однообразному, без размаха! Что ж — чем богаты, тому и рады...

Что до друга, то он оказался хорошим инженером и порядочным парнем, хотя и не без хитрецы. А кто без? Баки ему в Москве не забили, как ни старались. В аспирантуру за казенный кошт — пожалуйста, а жить — увольте. Понял, почему там джинсы и фунт лиха.

В этот день Арье решил смотаться со мной на ночь домой. Что нам за рулем "на перемену" двести километров туда, двести обратно? Ночью и на рассвете полиции нет, жми по 130-140 в час. Радио надоело. Арье вполголоса затягивает песни своего детства. Слух у него изумительный, "Полюшко-поле..." Я подтягиваю. И вот мы орем, как два сумасшедших, одну за другой. Весь репертуар пятидесятых годов. За песнями проскочили и первый поворот на Афулу, и второй, теперь остается гнать через Хайфу. Ну, да лишних полста километров в таком обществе — пустяки...

Потянулись "трудовые будни". Кое-что начинаю понимать, кое-что могу уже рассказать. Например, — на что и как иногда тратятся денежки из нашего кармана. Те самые, что разница между огромным "брутто" и скромным "нетто". Водопровод и канализацию на моих объектах ведет известная строительная фирма "Херут". Богатая фирма. Богатая и хитрая. На всю дистанцию от Метулы и за Караун "Херут" выделил лишь пару евреев, один из которых — не то бригадир, не то мастер. Рабочих набрали тут же, в Ливане, — арабов, по дешевке. Оно бы, может, ничего, но арабы эти в первый раз трубы в глаза видели. А надзор слаб. Тот,

кто по-нашему “начальник участка”, появляется только на объездах, вместе с высоким армейским начальством. Да еще время от времени прибывает — ругаться со мной по поводу объемов и качества — сметчик.

Материалы — пальчики оближешь. В России только бы на выставку. Трубы из полимеров — как игрушки. Детали — на все случаи жизни, красивые и чистые, как у хорошей хозяйки кастрюли. Металлические трубы для водопровода — сплошь оцинкованные. И многое из этого добра, прямо на глазах, переводится впустую. Хрупкие полимерные изделия кладутся в канавки, едва выцарапанные в грунте. Лишь бы прикрыть землей. Первые же машины их давят. Водопровод — вкривь и вкось, где с опорами, где без. Везде на все есть нормы — в России, в Израиле, во всем мире. Только не в Ливане.

Я записываю все это в сводках. Я не подписываю сметы. Сметчик канючит:

— Давид, так ведь завтра отсюда уйдем!..

Хорошо, но бабки ты получишь сегодня. Пытаюсь “агитировать”: придут наши солдаты, будут без воды, без канализации. Но какая агитация против “красненькой с Жаботинским”?

Все же с помощью Арье мы кое-что успели выдать из них прежде, чем армейское начальство объявило, что деньги на контроль строительства кончились. Напоследок передал начальству список недоделок. Он и ныне там.

Зато “Херут” за три месяца работы в Ливане получил больше, чем за год в Израиле.

Другое наблюдение: поразительная беспечность. Только что обрушилось здание комендатуры в Тире, под обломками погибло множество людей. Казалось бы, прецедент в Израиле имеет силу: когда капнет — чешутся. Здесь — нет. На одном объекте, у озера Караун, вопреки проекту взгромоздили на крышу дома десять баков под воду, двадцать пять тонн дополнительной нагрузки. Экономили специально предусмотренные под баки металлоконструкции. Кто считал, где расчет прочности? На планерке прошу нашего друга высказаться, — у него хороший иврит. Отмахивается. Объясняет мне, что израильское начальство не любит умничающих подчиненных. Но вопрос ведь серьезный, потому все же берет слово и вкрадчиво говорит. Представитель “Херута” показывает чертеж с подписью высокого лица. Плевать на подпись — где расчет прочности? Звоню Арье. Арье пишет официальное письмо. На

следующий день два бака снимают — на крыше остается вместо двадцати пяти тонн двадцать. А двадцать — можно? Мне говорят: половина заполняться не будет, резерв. А я себе представляю спешащего водителя цистерны. Да он море заполнит, лишь бы побыстрее освободиться. Обитатели дома меняются — кто-то не прочтет инструкцию, кто-то не уследит...

К счастью, дом случайно оказался крепким. Стоит по сию пору.

Бежит время, дни спешат, наступая друг другу на ноги, месяцы торопятся сменить сезон. Вот и окончена наша работа. Уже вошли в зиму. Пару недель назад заискрилась снегом шапка Хермона, потом по утрам под ногами захрустели корочки льда. Сегодня снег на всех высоких местах.

В воображении страшновата встреча со старым знакомым — снегом. А ну как костлявая ностальгия сожмет сердце доселе неиспытанной болью?!

Знакомое пощипывание пальцев на морозе. Пальцы отморожены еще в тайге, на лесоповале. Белый саван вытасил из памяти Богом проклятое Полуночное, что на северных склонах Урала. Черные пятна проталин от костров освещения в снегу запретной зоны. Понурые колонны на разводе. Мерзлым лаптем о лапоть согревающие ноги, товарищи мои. Кержак собачник Соловьев, порбякивающий наручниками.

Нет, мы не друзья со снегом — жизни не хватит отогреться.

Спускаюсь в зеленую долину.

Оказалось, не "прощай Ливан", а только "до свиданья". Вроде бы и нет для меня работы в геодезической фирме "Ромид", но ни мне, ни Арье не хочется расставаться. И вот мы с ним строим шоссеиную дорогу вдоль границы с Египтом: Эйлат — гора Саги. С одной стороны — Негев, с другой — оставленный Синай. Лунный пейзаж слева, лунный пейзаж справа. И жара. Охлаждаемся смоченными в воде рубашками.

Арье за геодезиста, я за помощника. Три кола в твердую, как застывший цемент, землю через каждые двадцать метров. Сначала дырку зубилом, потом — кол.

Арье мог бы не работать — вон у него сколько народа. Мог бы, да не может. Грузный, он урабатывается так, что вечером я везу его в Мицперамон, на квартиру, почти бездыханного. Зато какое чувство, когда мы, "два старика", делаем больше всех молодых!

Осенью, после дождей, зазеленивших Негев, Арье вдруг спрашивает:

— Давид, поедешь снова в Ливан? Только теперь будем инспектировать строительство дорог. Что не знаешь — подучу...

Опять знакомая Шар Фатма. Все по-старому, только под самым нашим "забором" какой-то предприимчивый ливанец строит большой многоэтажный дом. Объявление на трех языках гласит, что тут будет гостиница, казино, ресторан и банк. Хитрец! Мы у него как бы бесплатные "шомеры" — сторожа в кипящем Ливане.

За год кое-что изменилось и на въезде. Пропуска теперь нужно выписывать каждый день. Но удостоверение личности по-прежнему не требуется. Мое разрешение будет готово только завтра. Предъявляю чужое — человека, который уже прошел и передал его мне с выезжающей машиной. Новый порядок пока что только увеличил толчею у ворот.

У нас под опекой — две дороги. Шоссе Марджаюн—Набатие спокойнее — работы с опасного конца уже кем-то выполнены. Шоссе Набатие—Джезин пострашней. На обеих дорогах остатки колониального асфальта. Нужно их расширить, зачистить, положить новый асфальт. Спокойная дорога — она и более легкая: проходит меж горных хребтов, по долине. Неспкойная — в горах, с бесконечными серпентинами, через деревни шиитов.

Подряд на строительство легкой дороги — у кибуца "Цемах". Тяжелая пока без подрядчика.

"Цемах" уже ведет работы. В действительности, он все работы передал ливанскому подрядчику, господину Сэмо. Вот на обочине его "Кадиллак". Сэмо — большой человек, и в прямом, и в переносном смысле. Однажды мы ехали к нему домой в Сайду и видели, как на всех перекрестках полицейские салютовали его машине не хуже, чем московские милиционеры салютуют "Чайкам" с номерами "МОС". Но Сэмо, в отличие от пассажиров "Чаек", нос не дерет. И труда не гнушается. Весь день можно видеть его возвышающуюся над арабскими рабочими фигуру. Жаль только, что дороги он строит впервые. Уверен, если ему доведется строить дороги в будущем, он сделает их лучше этой — набрался опыта.

Вдобавок, набранные в окрестных деревнях арабы знают, что работают временно, им не поможет репутация старательных. Кончат дорогу — до свидания. Вижу, как филонят, оставшись одни. Сэмо и пара его "кадров" из Сайди не могут поспеть всюду. Бывает, что они и вовсе не прорываются сквозь препятствия на до-



роге. Тогда остальная братия шевелится лишь на наших глазах и то не очень — мы деньги не платим. Был однажды важный день перед поступлением уже заказанного в кибуце Кфар-Гелади асфальта, а Сэмо и его “кадры” не приехали. Сами удивились пустынности дорог в тот день. Только машины с израильскими номерами. Смотрим, на перекрестках заставы с танками. В чем дело? Новая неожиданная компания? Сирийцы перешли от словесных угроз к “делу”? Нет. Оказалось, должны провести сколько-то тысяч террористов на свободу, в обмен за наших шестерых. Их еще здесь не хватало. И без них ходишь — оглядываешься с автоматом на взводе. Как-то утром с Арье проехали мост через Литани, а через час возвратились — половины моста нет. Хорошо, подрывники у них хреновые. Среди отпущенных, может быть, есть квалифицированные — взорвут весь.

Представитель “Цемаха” — подвижный, на лице вечная слегка заискивающая улыбка — носится по тридцати километрам трассы. Свою технику и технику Сэмо разбросал на всем протяжении этих километров. Там что-то сделал, здесь оставил, туда вернулся доделать, тут по нашему требованию (Арье неумолим) нужно что-то переделать — и вот тяжелые бульдозеры, скрейперы, грейдеры ползут туда и назад, скрежещут, всют, сжигают впустую горючее и время. Как похоже на строительство в Союзе! Сам, бывало, гонял технику и людей с объекта на объект за десятки километров. Но там у меня цель была: система финансирования в Союзе такая, что не снимешь пенки — не проживешь. Неужели и здесь?

Но вот опровержение. Едем с Арье на Литани, в арабский ресторан на берегу реки. Там у нас назначена встреча с новым подрядчиком “тяжелой” дороги Набатие—Джезин.

Ресторан на берегу — определение неточное. На берегу лишь кухня. Столы — в реке, на мелководье. Чтобы к ним попасть, нужно снять обувь, засучить брюки. Зато ледяная вода сбивает зной.

Новых подрядчиков среди жующих отличаем сразу: двое за столом в ковбойских широкополых шляпах. Перед каждым, между тарелок и бутылок — по пистолету. Знакомимся. Моти Надир и его инженер Меир. Моти, здоровый плечистый парень лет тридцати с небольшим, круглым лицом и завитками волос, напоминает римского сенатора (конечно, в моем представлении). Джинсы вместо тоги впечатления не портят. Лицо волевое, жесткое — когда нужно, приятное — когда в улыбке. Моти — сабра, ничего галут-

ского. О нем рассказывают случай. В прошлом году он работал в прибрежном Ливане. Однажды, два пацана, террористы, разрядили свои “калашниковы” по его группе, от страха ни в кого не попав. Оружия под рукой у Моти не было, он схватил камень погнался. Террористы побросали “калашниковы”, камень не догнал. Моти вернулся, вскочил в бульдозер — никто не сумел остановить, — и до основания снес брошенный дом, из которого стреляли...

Уже на рассвете следующего после встречи в ресторане дня вся техника Моти и все его люди — сплошь израильтяне, опытные в дорожном деле — были на месте. Лишь одного ливанца Моти принял на работу — безногого христианина, мастера по варке кофе. Люди Моти работали одной колонной, не разбрасываясь, без огрехов, в четком ритме от начала до конца. На асфальте, который ими уложен, — ни морщинки, ни латки. На дороге “Цемаха”, выполненной чужими руками, нет живого места. Свой трудный участок Моти начал на два месяца позже “Цемаха” — закончил одновременно. Жаль — не знаю, кто больше заработал.

И еще один штрих к портрету. После первого дождя на одном из серпентинов возле деревни Айшие застряла колонна машин, транспортирующих танки. Трейлер с тяжелым танком “Меркава” на борту не вписался в поворот. Не знаю, где был офицер, только сбежались шофера, экипажи, и началось что-то вроде летучего заседания кнессета. Возникли фракции сторонников разных способов, все размахивали руками, орали. “Заседание” длилось часа два, и по обе стороны серпентина образовалась пробка, концы которой уже не просматривались. Машина тем временем держалась чуть вперед, чуть назад, буксовала и, в конце концов, застряла так, что выступ скалы оказался между колес. Тогда, наконец, танк спустили на землю, на что понадобилось не более пяти минут. Он взял автомобиль с трейлером на буксир, но оказался слишком громоздким, чтоб развернуться с таким прицепом в узкой дуге между скал. Начался новый тур обсуждений.

Тут появился Моти. Он пришел пешком, проехать было невозможно, и мгновенно оценил обстановку. Меня, застрявшего с машиной со стороны его базы, он попросил вернуться к ней и прислать трактор. Затем была упразднена демократия: Моти отдавал диктаторские распоряжения, люди в военном их беспрекословно выполняли. Вся колонна расчехляла и спускала танки

с трейлеров. Подошедший трактор легко вытаскивал с серпентина облегченные от веса танков автомобили.

С перегонем к затору и обратно трактор бесплатно отработал рабочий день. Немалые деньги.

Но на следующий день произошло еще более удивительное. Моти снял с колонны, ушедшей далеко вперед, необходимую технику, возвратил ее к злополучному серпентину и срыл часть скалы, препятствующую движению тяжелых машин с трейлерами, хотя проектом эта работа не предусматривалась. Он сделал ее, зная, что не получит ни гроша: урезанная смета уже съедена, а получить в Израиле за сделанное без предварительной договоренности можно только в мечтах.

Итак, портрет бессеребряника? Но тот же Моти во всех прочих обстоятельствах дрался за каждый шекель и от других отличался лишь тем, что был энергичнее и умел работать. Примерить бы этот портрет к лицу народа!..

Наконец, пришло время окончательного подсчета объемов. Отругались, "обмыли" новые дороги. Теперь наши трейлеры с танками уже не застрянут в пути, а когда мы уйдем, эти дороги останутся "дорогами израиэлитов" — так их называют ливанцы.

До мирной встречи, Ливан!

Очерк не кончен. Только что сообщили о смерти Хадада. Можно ли не рассказать о впечатлении, которое производил этот человек. Смерть человека, которого видел только сильным, энергичным, всегда кажется нереальной. Трудно представить Хадада недвижимым, потому что встречал его всегда в движении.

Нет, мы не были приятелями, не похлопывали друг друга по плечу. Два случайных разговора да несколько раз чей-нибудь вскрик на дороге:

— Видал? Хадад проехал!

Но он зримо присутствовал во всем Южном Ливане.

Вот застава с танками, окрашенными в серое, на въезде в Айшие. Такие же серые пушки на холме над Карауном. Вот солдаты на перекрестках, в одинаковой с нашими форме, только без нашивки "ЦХЛ", проверяют ливанские машины. Это Хадад. Марджаян — это Хаддад в каждом доме.

Однажды мы рано вернулись в Метулу и увидели Хадада с двумя спутниками на веранде маленького ресторанчика. Его узнаешь сразу: продолговатое, скуластое, волевое лицо, кряжистая

фигура. Ни с кем не спутаешь, хотя по простой манере держаться трудно узнать в нем всемирно известного человека, имя которого пестрело даже в советской прессе (конечно, с присущими ей эпитетами).

К Хададу и его спутникам подошел наш солдат с громоздким мешком проезжего милуимника за плечами, потом офицер из комендатуры. Каждому пододвинули по бутылке колы из запаса на столе, и пошел оживленный разговор. Подгоняемые любопытством, мы тоже вошли и стали поодаль, насколько позволяло тесное помещение. Я вслух выразил сожаление, что нет фотоаппарата — какая была бы фотография на память! Хадад услышал незнакомую речь, подозвал — нам тоже придвинули по бутылке колы, — а один из приехавших с ним осведомился, на каком языке разговариваем. Мой сотрудник ответил, что вот он (жест в мою сторону) недавно из России, плохо знает иврит, поэтому сказал по-русски, что хотел бы сфотографироваться в их компании.

— Фотоаппарат есть? — спросил Хадад.

— В том-то и дело, что нет!

— Сейчас поищу, — сказал офицер комендатуры и умчался. Ему, видимо, тоже хотелось иметь фотокарточку.

Ждали минут двадцать. Потом Хадад встал, встали и его спутники. Все обменялись рукопожатием.

— В следующий раз, руси, — сказал Хадад уже из машины.

Следующий раз случился в дорожном заторе. Наши укладывали трубу водостока. Среди многих других я ожидал возможности проехать. И тут, лавируя между расступающимися машинами, подъехал Хадад. Он узнал меня:

— Руси, выучил иврит?

— Кен! — крикнул я известное слово из скудного запаса уже ему вдогонку.

Умер настоящий друг нашего государства. Умер уважаемый, твердый хозяин Южного Ливана. Кто унаследует? Как распорядится наследством?

*Д. Таксер — инженер-строитель, в Израиле с 1982 г., живет в Холоне. Его первая повесть "Отпусти народ" была опубликована в журнале "22" в 1983 г.*

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Александр Воронель*

**ЛЮДИ НА ВОЙНЕ,  
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ  
ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ИЗРАИЛЯ**

В обыденной жизни от множества мелких забот и незначительных разговоров мы обалдеваем и теряем ощущение смысла и цели, перестаем различать высокое и низкое, важное и пренебрежимое. Хорошая книжка может встряхнуть и напомнить... Прошло уже более десяти лет с тех пор, как множество людей покинуло СССР. Некоторые из них прижились в Израиле настолько, что способны писать о жизни здесь, о нашей жизни, не о невозвратном прошлом. Такой человек пишет о жизни, которая нас окружает, но в его тексте невольно присутствует сравнение: он знал и другую жизнь, он не может забыть, даже если хочет. Это неявное сравнение наполняет его наблюдения особым смыслом, придает его описаниям оттенок тайного знания. Его внимание невольно выхватывает из беспорядочной картины реальности то, что он менее всего ожидает увидеть. Это хорошая позиция, обостряющая взгляд писателя, дающая творческому слову новые смысловые оттенки. Зря эмигранты жалуется. Впрочем, они жалуется не зря. Они жалуется на то, что вместо чисто словесной работы, к которой они привыкли с детства, им приходится проделывать новую работу по осмыслению

нию незнакомой действительности, труд, от которого они с детства отвыкли.

Удачи на этом пути редки. Они приходят к тем, кто погружается в эту действительность целиком (или не погружается в нее совсем). Об одной из таких удач я хочу рассказать на последующих страницах, но, хотя это желание возникло у меня в связи с книгой, речь пойдет, скорее, о жизни, которая за этой книгой стоит. О драматическом эпизоде этой жизни. О войне в Ливане.

Командир инструктирует солдат перед боем: "Одна из наших главных задач — вернуться домой целыми!" Такое замечание, может быть, не остановило бы внимания писателя-американца. "Поэтому делайте то, что вам говорят, и никуда не лезьте без команды!" — здесь содержится новое для русского выходца обоснование воинской дисциплины.

С этого, в сущности, начинается книга Владимира Лазариса "Моя первая война". Этим, в сущности, она и кончается: "Побеждает тот, кто остается в живых. А каждый знает, что в живых остаться можно только, если воевать, а не бежать". Это слова из интервью, которые В. Лазарис взял у молодого десантника, родом из Вильнюса, историка по специальности. Действительно ли каждый знает, что бегство не спасает? Или, может быть, только историки по специальности?

Книга Лазариса представляет собой короткий военный дневник и 22 интервью, взятых на поле боя у солдат — выходцев из СССР. Автор проявил чуткость к своему материалу: дневник его, не заслоня картину, вводит читателя в обстановку ливанской войны. Тон дневника подготавливает читателя к шуму разных голосов в интервью и потому намеренно негромкий. В противоположность бесчисленным перепевам на тему "мы" и "они", подчеркивающим обычно неукорененность автора и принятым в эмигрантской литературе, "мы" Лазариса безусловно включает весь Израиль. В этом автор не отличается от героев своих интервью. Прочтение книги провоцирует мысль, что, быть может, война, или, еще конкретнее, армия сплачивает нас вернее, чем прожитые в стране годы, успехи по службе и знание языка. Мы вместе живем и вместе воюем, значит, мы — один народ. Это не столько силлогизм, сколько чувство. Как всякое чувство, оно сильнее разума. Это чувство господствует во всей книге. Разум же подсказывает каждому интервьюируемому свои собственные пируэты вокруг этого стержня. Большинство из

них — молодые ребята, так что они, в сущности, уже не “русские”, а израильтяне. Это очень заметно по свободе, с которой они признаются в своих страхах, а также по свободе, с которой они рассуждают о войне и политике. Но сказанное выше об особой двойственности оценок бывшего выходца из СССР остается верным и для них. Во-первых, потому, что кое-что они все же помнят, а во-вторых, потому что направляет разговор воля автора, и характер его вопросов определяет, конечно, круг их внимания.

“Меня поставили за дерево, прикрывать ребят... Первый пробежал благополучно. Прямо за ним, фонтанчиками по земле, шла очередь... И рядом со мной пули из “Калашникова” шлепались — “панг, панг”. Я только думал: ради мамы пусть со мной ничего не случится”.

Это интервью разведчика. А вот голос шофера:

“Мне до Ливана дела нет, я туда пришел, потому что там кто-то был, кто мне мешал... Я себя чувствую, как маляр, которого попросили покрасить дом. Прийти, покрасить и уйти. Как в России говорили: “Надо, Федя!”... С правой стороны виднеется Бейрут, а слева — наша артиллерия. Вот она и начала долбить. А мы — на дороге. Снаряды летят над головой. Едешь и сам себя уговариваешь: “Не в тебя, не в тебя! Это — наши!” Но снаряды-то летят. И террористы отвечать начали. Мы оказались посередине. Говорят, если слышишь снаряд, он уже не опасен. Не знаю. Чувствую, в кабине сильно воняет. Оказывается, напарник, когда “катуши” стреляли, в штаны наложил. Мы остановились, но я как-то ничего не чувствовал. Дело еще в том было, что, когда мы перед въездом в Бейрут ждали пропуска, я с ребятами бутылку водки распил. В общем, когда этот парень меня за руку схватил, я затормозил. Вылезит он, значит, из машины и говорит: “Вы меня, ребята, извините. Желудок не выдержал”. С каждым может случиться. Вообще лучше не думать, что ты можешь вот так запросто помереть, потому что, чем больше думаешь, тем больше вероятность, что так оно и будет”.

Ну, кто способен не думать, тот не думает. Но вот танкист думает все время:

“Если на узкой горной дороге стоит автомашина, ты же не станешь оставив ее колонну в сотню танков, чтобы эту машину оттащить. Представляете: на легковушку наползает полсотни тонн железа... Никто, конечно, не хотел специально вредить и портить, но, если честно сказать, мне было даже забавно. Потому что в такую минуту особенно ощущаешь, какой машиной ты правишь... У командира голос стал немного истерическим. Когда сильное напряжение — всегда крики. Потом параллельный пулемет вышел из строя, и я должен был вылезть наружу, чтобы заменить его другим. Тогда я почувствовал беспредельный страх...”

Хотя жанр этот довольно обычен для англоязычной или иврит-

ской литературы, такие книги никогда еще не появлялись на русском языке. Русскоязычный читатель может найти здесь впервые не только некую правду об Израиле, но и некую новую для себя правду о жизни вообще. Так как это непохоже на обычную для него сионистскую пропаганду, недавний советский гражданин может задать законный вопрос: "На чью мельницу льет воду господин Лазарис?" Здесь обнаруживается привычная нам по прошлому опыту аналогия между правдой и водой.

Что такое правда? Прежде всего, забудем, что в СССР нас учили, будто бывает правда "наша" и "не наша". Правда — одна. Иногда — неприятная. Затем придется также отказаться и от внушенной всей русской литературой, от Толстого до Солженицына, мысли, что главная правда проста. Как ни смотри, всегда оказывается — с одной стороны... с другой стороны. Простоты никак не получится, если мы не готовы для этого сжить со света половину человечества. Как и вода, правда протекает сквозь пальцы, если надеешься ее зачерпнуть голой рукой. Но может утолять жажду...

Правда жизни состоит в том, что люди ее не знают. И те, которые ищут ее, оказываются значительнее и правее, чем те, которым она безразлична. И книга Лазариса поражает, прежде всего, ощущением значительности жизни, которую она описывает.

Многие талантливые писатели замечали, что жизнь человека на земле — это трагедия. Но современный писатель, будучи верен правде, которую он видит, описывает все, как есть, и получается фарс, суета вокруг мелочей, водевиль с убийством... Потому что человек ведет себя в этой трагедии, как комедиант. Это только у Шекспира он предлагает за коня полцарства, и понимаешь, что жизнь его стоит царства. В литературе, верной реальной жизни, человек ищет коня подешевле. Эта скидка сразу снижает и цену его собственной жизни. Какая уж тут трагедия — просто бизнес: кому повезет, а кому и нет. Биржа. Поэтому современная литература ищет пограничных сюжетов из жизни гангстеров и сутенеров, в надежде, что их опасное существование и привычка расплачиваться крупными купюрами сами по себе сообщат эту крупность и повествованию. Однако незначительность мотивов снижает также и литературную значительность преступлений, а чем больше мы узнаем о преступном мире, тем менее серьезным в смысле крупных чувств он выглядит.

Война — это не только смерть и разрушение. Это еще и опыт. Это жизнь. Даже если это и "преступление", за этим преступлени-



ем стоят значительные мотивы. Книга о войне всегда имеет шанс на значительность. Реализация этого шанса зависит от тех, кто в войне участвует, какой правдой они руководствуются, к каким купюрам привыкли...

Из двадцати двух израильских солдат, бывших выходцев из СССР, все двадцать два вынуждены были проверить свое представление о правде в той пограничной ситуации между жизнью и смертью, когда вторичные мотивы отступают. Конечно, когда в родительском доме разливают чай, каждый признает, что доброта лучше ненависти. Но когда нас, пятнадцатилетних мальчишек, гнали этапом из пересылки в лагерь и я протянул руку за какой-то съедобной ягодой, а мой сверстник выхватил ее у меня, он не постеснялся сослаться на школьный учебник, проповедовавший выживание сильнейших в жизненной борьбе. С тех пор я столько раз наблюдал практическое применение этого социального дарвинизма, что начал сомневаться в универсальной применимости принципа преимущества добра над злом. Никакие книги, сеющие разумное, доброе, вечное, не могут научить молодого человека быть человеком, пока он сам не побывает между молотом и наковальней, пока он не узнает настоящего страха и не определит для себя собственную меру доброты, доверчивости и способности к риску.

В Израиле нет романтизации войны и военных подвигов. Но я знаю, что пацифисты у нас в Израиле совершенно другие, чем в иных странах. Как правило, это люди повышенной храбрости. Может быть, от легкомыслия, но они явно не опасаются за свою жизнь. Многие из них служат в самых отчаянных боевых частях. Когда они требуют немедленного мира, они имеют в виду свою готовность рискнуть жизнью, проявив максимум доверия к арабским противникам, а не свою готовность бежать с поля боя. Вот голос десантника:

“Я не крайний левый, хотя с самого начала был против этой войны. Раньше всегда чувствовалось единство, мы всегда знали, ради чего воюем. В первый раз в нашей части произошел такой глубокий раскол. Когда пошли слухи, что нас пошлют к Бейруту, некоторые ребята, включая наших офицеров, заявили, что они готовы сесть в тюрьму, но на Бейрут не пойдут. В другой ситуации они никогда бы себя так не вели. Я того мнения, что приказ нужно выполнять, если только он не заставляет меня совершать что-то бесчеловечное. Конечно, когда предстоит боевая операция, у наших людей есть готовность идти на самый страшный риск...”

Это прямо противоположно тому, что характеризует пацифистов в Европе: "Лучше быть красным, чем мертвым! Лучше заниматься любовью, чем войной!" Эти готовы бежать и бегут...

Десантнику, готовому на самый крайний риск, отвечает десантник осторожный:

"Был приказ стрелять только по тем, кто стреляет в нас. Но мы стреляли и тогда, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я хотел, чтобы там было как можно меньше людей — неважно, террористов или нет, потому что я вообще не хочу ни стрелять, ни убивать. Конечно, если уж приходится... С кем мы сражались? С арабами. Я их никак не разделяю. Любой араб — это враг..."

Таким образом, различие между правым и левым, между голубями и ястребами определяется мерой доверия, мерой риска, который ты готов на себя взять. У каждого эта мера — своя, и определить ее теоретически невозможно:

"Вбегаю в дом — на полу сидит парнишка, рядом оружие лежит. Он руки поднял. Ну, раз так, думаю, сдастся парень. Наклонился оружие поднять. Даже не подумал, что парень может мне что-то сделать; никак еще не вбил в голову, что это — война, что один другого должен убить. Спокойно так нагибаюсь. А он, видно, понял, что я один, и как прыгнет мне на спину! Ухватил за цепочку с жетоном и давай душить. Парень молодой, но я — тоже не инвалид. Напрягся, порвал цепочку... автомат уже не стал поднимать... Когда он упал, я ему еще ботинком поддал. Разозлился я на него сильно. Скажу вам прямо: первый раз убить человека тяжело".

И второй раз тоже:

"Что я чувствовал? Что мне приходится стрелять в ребенка. Я был готов убивать, но я не знал, что придется иметь дело и с детьми... Нам дали приказ — ни женщин, ни детей, ни стариков не трогать. Не сказали только, что эти самые дети будут стрелять в нас... Настоящие убийцы! Ребенок, как овца. Куда пастух, туда и он. Перевоспитывать их надо..."

Не все относятся к этому так спокойно. Во всяком случае во время боя:

"В ту минуту, хоть и страшно, но в тебе поднимается злоба против тех, кто в тебя стреляет, и хочется их убить. Я стрелял по живым людям, но для меня они были только мишенями... И было только одно желание: заставить их замолчать. Навсегда... Некоторые сдавались. Нам было приказано не стрелять, если человек бросает оружие. Я совру, если скажу, что у меня не было желания этот приказ нарушить... Жена и дети очень обрадовались, когда я вернулся. Я им ничего не рассказывал. Я не хочу, чтобы мои дети ненавидели арабов только потому, что они — арабы".

Какой вывод из всего этого? Ведь эти свидетельства не только противоречат друг другу, но и каждое в себе заключает противоречия. И каждое имеет право на существование, потому что за каждым стоит человек, который живет и рискует своей жизнью с этим багажом. И израильский читатель знает, что это не воспоминания после войны, которые уже ни к чему не обязывают, для внуков, так сказать. Нет, через несколько лет или месяцев придется опять идти на войну и опять решать, как поступить с собой и другими. Как замечательно заметил 20-летний танкист: "Чувствуешь, какой машиной ты правишь..." Все ли люди на земле чувствуют, какая машина ответственности катится вместе с ними по земле, и как значительны, на самом деле, их поступки? Вернее, как они незначительны в подавляющем большинстве случаев. Как мало продуманы их мотивации, как мелки принимаемые во внимание обстоятельства. Какое вопиющее несоответствие между причинами и следствиями. Мы живем в таком месте и в такое время, что всякий невольно задумается. Может быть, в этом и состоит наша правда. Задуматься.

В конце концов, многие ли из нас стали бы думать о жизни и смерти, если бы этот вопрос не висел над нами, как налоговое бремя? Дает ли этот опыт молодому человеку что-нибудь такое, ради чего стоит рискнуть жизнью?

"Когда сидишь в танке, не так страшно... Потом уже я понял, что каждый должен преодолеть какой-то барьер страха. Я преодолел в тот момент, когда мы покинули подбитый танк... Представляете, какая в горящем танке температура! Я удивляюсь, как те парни, которые вытащили командира, вообще смогли приблизиться. В днище танка есть несколько дырок, через которые спускают масло, так через эти дырки вытекли все алюминиевые части из мотора. На земле лужа застывшего алюминия".

Ради этого мы привезли сюда своих детей? Ответа, я думаю, следует искать у самих детей. Тех, кто еще не ищет тихой пристани. Кого жизнь еще не придавила или контузила. Тот же 20-летний танкист говорит:

"Мы выскочили (из подбитого танка) через верхний люк и очутились на совершенно открытом месте... Подъехал бронетранспортер, чтобы нас забрать. Там была дикая теснота... Вначале я был немного в шоке, хотелось забиться в какой-нибудь угол. Наверху двое парней стреляли из пулеметов, там было еще свободное место. У бронетранспортера стены, как бумага, — уж лучше стоять наверху. Я взял автомат и поднялся..."

Он, как и наш историк-десантник, откуда-то знает, что спрятать-

ся — не поможет. Жизнь и смерть достанут и тех, кто забьется в самый тихий угол: “у бронетранспортера стены, как бумага...” К тому же в тихих углах — “дикая теснота”. Это такое знание, которое 20-летний парень не вычитал бы в книгах.

Ведь стены, как бумага, и у наших домов. И цивилизация наша, нормы жизни, к которым мы привыкли, отделены от варварства не более, чем бумажными стенами. Как ни странно, наибольшее чувство безопасности испытывают жители Советского Союза. Если они не диссиденты, конечно. Это тем более странно для евреев. Во время мировой войны в Советской армии служило 550 тысяч евреев (вдвое больше, чем в израильской армии при полной мобилизации), и более 200 тысяч из них сложили головы в боях. Чтобы достичь такой цифры потерь, нам пришлось бы здесь воевать еще триста пятьдесят лет или провести 60 войн подряд. Ну, скажут мне, это было так давно... И, наверно, не повторится... Такое утверждение прозвучит так же смешно, как надежда, что у нас в Израиле больше не будет войны. Мы привыкли, что живем в очень опасном месте. Возможно, это наше преимущество. Мы окружены всего лишь врагами. Нас отделяют от них государственные границы. Множество талантливых генералов заботится о нашей безопасности. А кто заботится о безопасности, допустим, Западного Берлина? В Европе нет войны уже сорок лет, но сорок лет назад Европа была самым опасным местом на земле. Что же, это навсегда кончилось? Трудно поверить.

Ощущение безопасности в СССР рождалось из представления о чудовищной мощи советских военных и карательных органов. Ничего подобного нет в демократических обществах. Все они находятся в состоянии необъявленной войны с асоциальными элементами у себя дома и за границей и ведут эту войну с переменным успехом. То, что эта война не объявлена, только осложняет ситуацию.

Профессор Дельбрюк, автор классического труда “История войн и военного искусства”, замечает, что при обсуждении причин падения Римской империи (а это означало, и Римской цивилизации) упускают обычно ту единственную причину, которая ему, как специалисту, кажется по-настоящему важной. В Римской империи военная профессия потеряла свой престиж, и римляне разучились воевать. Просто мирная жизнь стала для них так привлекательна, что только варвары и асоциальные элементы соглашались служить в армии. И варварские орды, разру-

шившие Империю, встречали на поле боя "римлян", которые отличались от них самих только тем, что воевали неохотно. Кстати, он также подчеркивает, что представление о том, будто на Рим нападали несметные полчища, возникло только как оправдание честолюбия римских полководцев. Варварские орды никогда не превышали римские войска численно, они просто состояли из храбрых людей, подогреваемых неутоленной жадой наживы.

Армии и полиции западных стран состоят из слабых людей, не выдержавших конкуренции в свободном обществе и выбравших легкий путь. Не удивительно, что им так трудно бороться с противником, одушевляемым мечтой "кто был никем, тот станет всем". Они, может, и сами бы не прочь...

Необъявленная война идет не только между правительствами и террористами, добывающимися неведь чего. Она идет и на каждой улице между цивилизованными людьми и варварами, которые хотят взять "свою собственной рукой" то, что они не заработали. В общем, они добиваются своего.

К известному русскому поэту Н. Коржавину, живущему в Бостоне, заходит по субботам сосед-негр и требует три доллара на выпивку. (Мои сведения пятилетней давности, в прошлом году в Нью-Йорке мне сказали, что с собой теперь надо носить пятнадцать долларов, а то грабитель может рассердиться и выстрелить. Но он может рассердиться и по другой причине.) Коржавин не знает, как отразился бы на его здоровье отказ выполнить просьбу соседа. Однажды соседу понадобилось взломать дверь и унести телевизор... В общем, Коржавин бы не возражал, чтобы его от соседа отделяла государственная граница. Но в полицию он обращаться не пробовал. Журналист Г. Рыскин очнулся от забытья у самых рельс нью-йоркского метро. Ему удалось припомнить, что кто-то ударил его по голове незадолго до этого. Журналист Рыскин больше в метро не ездит. Он купил автомобиль. Писатель М. Гиршин в Нью-Йорке просто никуда не ходит после пяти вечера. Математик В. Рабинов получил шесть пуль в живот в Сан-Хозе, Калифорния, в ресторане, где он ежедневно обедал, потому что не разобрал по-английски команду: "Руки вверх! Лицом к стене!" Не лучше ли было бы ему слушать раз в году команды израильского командира? Каждый защищает свою жизнь и свободу, как может. Как он хочет. Способ, которым это делают израильтяне, — не худший на свете. И приводит не к большим жертвам.

Мы живем, возможно, в самом опасном месте на земле, но мы чувствуем себя в абсолютной безопасности у себя дома и на улицах. К тому же мы знаем, как защититься. Половина израильтян владеет оружием.

Если верно, что всякий мужчина рано или поздно в жизни встретит смертельную опасность, то не лучше ли к такому случаю подготовиться? И не лучше ли встретить опасность в кругу товарищей, чувствуя за собой всю мощь государственной поддержки, чем одному, в темном переулке?

Каково содержание той жизни, которую израильтяне защищают? Каково их отношение к своим целям и задачам в Ливане? Как они себя чувствуют после этой войны? Танкист:

“Когда смотришь на разрушенный дом — душа болит. А тут еще дети вокруг, которые в этом доме жили... Но если спрашиваешь себя, почему разрушен, ответ ясен. У всего есть своя цена. Те, кто нападает, платят свою цену, и те, кто защищается, свою... Ливанцы заплатили за свою глупость, что дали террористам хозяйничать... Когда ты стреляешь, в тебя стреляют — все поровну. Начинаешь относиться к этому, как к работе. Работу надо сделать, вот и все”.

Артиллерист:

“Враг врагом, но разрушать страну из-за того, что он там обосновался, тоже не дело. У каждого есть мать с отцом, жена, дети. Конечно, если поставить его детей против наших, я буду думать не о его детях, а о наших. Я о них там все время и думал. Для того и воевал. Вначале мне даже хотелось воевать. Но потом я стал думать: цели мы своей добились, сорок, или сколько там, километров очистили, чего нам еще? Хотя мы знаем, что защищаем наших, многим людям в Ливане мы мешаем... Мы много спорили. Нельзя нам больше тут оставаться”.

Пехотинец:

“Я человек верующий, а на войне это имеет большое значение... Я сразу заметил, что террористы стреляют в воздух, и прекратил огонь. Зачем зря человека убивать?.. Вся эта война была справедливая”.

Связист:

“Приказы в армии не обсуждаются... Хотя в моем бронетранспортере был командир дивизионной разведки, и я с ним горячо поспорил о приказе. В конце концов, я ему сказал: “Йоси, я знаю, что мне его придется выполнить, но этот приказ дубовый!” А он: “Ну, может быть. Но армия есть армия!” Вряд ли в какой другой армии можно было бы так спорить, тем более рядовому с майором... Когда видишь невероятное количество оружия, которое они запасли в Ливане, и знаешь, что оно было подготов-

лено, чтобы убивать израильтян, начинаешь понимать, что жертвы, которые были и еще будут, не напрасны. Наверно, в каждом из нас есть вера. В гражданской жизни этого не замечаешь. Там ты полагаешься, в основном, на себя, и нет необходимости обращаться... я даже не знаю, как это сказать... к помощи извне, свыше... пока нет необходимости, я думаю, но вот, война напомнила: наверно, в каждом из нас есть вера”.

Есть ли какой-нибудь общий знаменатель, который объединил бы все эти противоположно направленные убеждения, ощущения, веры? Или в сумме все эти силы дают полный и окончательный ноль, погашая друг друга?

Я уверен, что сумма не равна нулю. Мы не случайно самое сильное государство в нашем районе, несмотря на нашу немногочисленность. Отсутствие навязанного единства взглядов только подчеркивает готовность к реальному единству действий. Еще точнее – к единству образа действий, который коренным образом отличается от образа действий несвободных людей. “Я того мнения, что приказ надо выполнять”, – говорит десантник, наиболее радикальный противник войны в Ливане. Это единство впервые пошатнулось именно в результате односторонней попытки манипулирования, предпринятой Шароном.

Ливанская война постепенно превращается у нас в наш Вьетнам. Как и тогда, в США, все большее число людей склоняется к желанию поскорее этот Ливан покинуть. Как и тогда, в США, за своими внутривнутриполитическими проблемами мы все позабыли, собственно, о Ливане. И как тогда, не о чем, в сущности, и помнить, потому что наибольшую безответственность проявляют сами ливанцы, что народ, что правительство. Так было и с Вьетнамом. И уже наперед ясно, что, как и во Вьетнаме, это кончится грандиозной резней. Чувство вины за события во Вьетнаме, случившиеся после их ухода, настигло американцев только много лет спустя. У нас это чувство охватывает многих противников войны уже сейчас, и, быть может, это будет единственной причиной, которая удержит нас от американского пути. И от ливанских беженцев.

Все интервью объединяет то чувство свободы, как ответственности, которое так редко ощущалось нами в СССР и отсутствует, в большинстве, и у советских эмигрантов в другие страны. Все интервьюируемые, высказывая свое мнение, понимают, что их мнения не безразличны к политической ситуации и могут изменить счет. Все они думают не о пустяках. Так или иначе, они понимают, что участвуют в Истории. Техник-связист:

“Вообще я доволен. Даже чувствую гордость, что на этот раз сам участвовал в войне. Мне всегда казалось, что все важные события проходят мимо меня. А теперь, вот, довелось самому делать историю”.

И бывалый шофер говорит, что рад, что был на этой войне:

“Получается, что и я как бы немного своей крови отдал. А то ведь приехал в Израиль на все готовое. Вот и представился мне случай себя показать. Живу, мол, не зря, даром свой хлеб не ем!”

Зачем это им нужно? — возможно, спросит кто-нибудь. Я не уверен, что это нужно всем. Но я уверен, что это нужно очень многим людям, в том числе и таким, которых в этом не заподозришь. Человек вообще не может жить только мыслями о материальном, даже если он и ведет себя соответствующим образом. Человек — существо историческое и продолжает оставаться таким даже в XX веке.

Вот что говорит сапер:

“Нам, израильтянам, эта война ничего не дала. Слишком много погибших... Ну, навяжем мы мир этим ливанцам... Надо их видеть, этих ливанцев. Отглаженные, одеколоном... каждый, наверно, литр одеколона на себя вылил. Грязную работу делать не будет. Все может продать и купить. За бронезилет готов отдать свой “Калашников”. А за меховой комбинезон ему и родной сестры не жалко... Уверен, что они и мир этот продадут при первом случае... Работа у меня тяжелая. Минировать поля. Когда прорываешь землю... если в Синае, то не так страшно, потому что — песок, а на Голанах земля комковатая. Бросаешь комок и думаешь: моя или не моя? Каждый шаг — как будто приближаешься к вечности, потому что никогда не знаешь, где и когда взорвется. Начинаешь верить в Бога. Вера очень помогает... Всегда есть молитва к Нему. Даже не молитва, одно-единственное слово: “Боже!”... Мы не намного лучше их. Иногда мы даже хуже... Раз я нас считаю людьми, значит и они — люди... Дикое чувство от безысходности. Ведь после войны Судного дня думали, что это была последняя война. А сейчас видно, что и эта тоже не последняя... Израиль очень напоминает мне огромный военный лагерь. В средние века были такие государства, которые все время вели войны и этим жили. Вот и я живу в такой стране. А остаюсь здесь потому, что очень ленив и никуда отсюда не поеду...”

Все же мне кажется, что сапер-философ немного слухавил, говоря, будто не бросает наш военный лагерь только потому, что ленив. Слишком тонкое историческое чувство он обнаруживает в своем интервью, чтобы поменять его на какой-нибудь “джоб”.

Заметив, что Израиль напоминает одно из средневековых государств, живших войной, сапер не упомянул, что в те времена это были единственные государства свободных людей. Все остальные



были населены рабами. И хотя эти воинственные государства были несправедливы к побежденным, внутри себя именно они создали те представления о чести и справедливости, которые унаследовала от них Европа. От разбойничьих норманнских королевств, от поставлявших всему миру наемных солдат швейцарских кантонов, от пиратских итальянских республик, а не от мирных деспотий получила Европа зачатки демократии. От викингов и бондов, от рыцарей и йоменов, ландскнехтов и кондотьеров, а не от смердов и крепостных, составлявших подавляющее большинство остальных богоспасаемых королевств, свободных от военной службы, как и от всех остальных гражданских прав. Собственно, главным признаком, отличавшим свободного от раба в средние века, было ношение оружия и владение им.

На много веков раньше евреи унаследовали свои библейские заветы от толпы испуганных рабов, за сорок лет в пустыне превратившейся в военную орду. И у нас, так же, как у этих скитальцев, то, что тяжелым выбором было для отцов — горшки с мясом в Египте или вечные войны в Пустыне, — превратилось в однозначное и естественное для сыновей. Они стали свободными членами опасного, воинственного племени и, как всякие свободные люди, немного обленились, чтобы вернуться на службу к фараону или кому-нибудь еще. Они привыкли служить только себе самим и, как бы жестоки они ни были с врагами, они установили такие нормы взаимоотношений друг с другом, что их идеалы и сейчас остаются недостижимым образцом для половины человечества.

Гораздо поразительнее, однако, чем внешнее сходство Израиля с военной ордой, оказывается то фундаментальное отличие, которое бросается в глаза во всех высказываниях участников войны. Они не похожи на варваров. Несмотря на то, что Израиль уже пережил пять войн и каждый израильтянин, в среднем, участвовал в двух-трех войнах, несмотря на то, что каждый израильтянин 30—60 дней в году проводит в армии, мы не видим никаких признаков огрубления души у наших ландскнехтов. Я специально употребляю этот средневековый термин, чтобы показать, насколько он не подходит для характеристики наших солдат с человеческой стороны. Все интервью сходятся в своем человеческом отношении к мирному населению и даже к побежденному врагу. Пожалуй, это единственный пункт, где достигается всеобщее согласие. "Сначала он человек, а уже потом террорист". "За-

чем зря человека убивать?" Что бы ни выдумывали западные журналисты о "бесчинствах израильской военщины" в Ливане, что же им не пришло в голову сообщить хотя бы о нескольких случаях грабежа или насилия? Было бы больше похоже на международный опыт и существующую практику всех остальных армий.

Все интервью сходятся в отвержении войны, в презрении к жестокости и жажде мести, которые мы встречаем в окружающем мире. "Фалангисты так говорят: отомстил через 80 лет — рано отомстил. Такая у них культура, такое воспитание..." И это после 35 лет непрерывного напряжения, заполненного угрозами (и попытками, время от времени) вырезать все население Израиля или "сбросить его в море..."

Трудно все-таки удержаться от мысли об уникальности еврейского опыта. Кое-что, как видно, прибавилось к Ветхому завету за эти тысячелетия...

**КНИГОВОДАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**АЛЕКСАНДР И ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ.  
ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ**  
(юмористические рассказы и повести)

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журнал де Женев". "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зошенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе "Мы — это Зошенко, Бабель, два Вуди Аллена, братья Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Поэтому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

**Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem" P.O.B. 7045, Ramat—Gan, Israel**

**ПЕТР ВАЙЛЬ И АЛЕКСАНДР ГЕНИС  
"ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ"**

240 стр.

10 долл.

Книга известных в эмиграции журналистов и критиков представляет собой иронический путеводитель по советской и эмигрантской жизни. Каждая ее глава — очерк одной из сторон советского "ада" и американского "рая": "труд", "досуг", "любовь", "культура" и так далее, а вместе они образуют выразительную и точную картину того, что было, того, что воображалось, того, что сбывлось...

**Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.**

## ПРОГУЛКИ С ФИЛОСОФАМИ

*Андре Неер*

### О КНИГЕ КОХЕЛЕТ

(Глава из подготавливаемой в издательстве "Амана" книги А. Неера публикуется с любезного разрешения издательства).

Тема судьбы монотонным рефреном звучит в неутомимом повторении слова **הבל** ("Эвель"). Встречаясь на каждом шагу, оно как бы скандирует весь ход рассуждений Кохелета. В каком бы направлении мысль ни развивалась, она в конце концов наталкивается на **הבל**, и это не просто препятствие, а прямо-таки западня: стоит мысли соприкоснуться с **הבל**, как она тут же исчезает вместе с ним. Ибо этимологически слово **הבל** значит "пар, дыхание, дуновение, выдох", то есть все то, что сразу же исчезает, что по природе своей обречено на исчезновение. Слово **הבל** принято переводить с иврита на другие языки как тщетность, суета. Такой перевод более чем не точен: он привносит оценочную категорию, которой нет в оригинале, привносит возможность выбора, что, в свою очередь, выражает как бы наше превосходство над **הבל**, наше доминирующее положение относительно него. В самом деле, всякая тщета или суетность рассматриваются как нечто бесполезное, а бесполезное может оставаться и неизведанным: ведь я волен отстранить от себя суетность, избавиться от нее на своем жизненном пути, а то и вовсе не приступать к тщетному действию. Всех этих

нюансов нет в слове **הבל** . **הבל** — понятие роковое, захватывающее меня раньше, чем я успеваю это осознать. Но и осознав, я ничего не могу о нем сказать, кроме того, что оно от меня уходит. Так же, как я дышу не в силу волевого акта, а в силу физиологической потребности, так и **הבל** приходит ко мне вне зависимости от моей воли. Так же, как дуновение проносится передо мной и, сливаясь с неосязаемой атмосферой, перестает самостоятельно существовать, так и за **הבל** я могу следить лишь взглядом и видеть, как он исчезает.

Стало быть, и судьба, о которой складывается представление по ассоциации с **הבל** , суть провал, поражение. Это путь, о котором только то и известно, что он идет по нисходящей линии и неминуемо где-то должен оборваться. От такой судьбы у нас остается лишь одно реальное ощущение: она приближает нас к небытию. Пронизанная этим **הבל** , Книга Кохелет есть монотония поражения.

Но эта же судьба, по сути своей, еще и присуща человеку. Она не похожа на злой дух или навязчивую идею, которые приходят к человеку извне. Это не греческие понятия мойры и необходимости. Судьба — не Бог. Человек несет ее в своем естестве. Она неотделима от его природы, от его статуса человека.

Имманентность судьбы человеческой природе, о которой говорит Кохелет, подчеркивается самим выбором слова **הבל** . Ибо, помимо своего значения “пар, дыхание, дуновение, выдох”, которое ассоциируется с исчезновением, а тем самым и с разочарованием, **הבל** сохраняет для библейского уха еще и другое свое значение. Оно значит не только неодушевленный предмет. **הבל** — это еще и человек, поскольку это второй сын Адама, тот самый, которого в переводах первой Книги Моисеевой — Бытие — принято называть Авелем. Когда в Библии говорится: **הבל** , это может обозначать и понятие исчезающего предмета, и того человека из библейского сказания, который это понятие в себе воплощает. Насколько мне известно, комментаторы Книги Кохелет этот феномен никогда не отмечали, и, скорее всего, потому, что не обращали на него внимания. Мне же он представляется чрезвычайно важным, ибо он помогает вычленить основной философский смысл Книги Кохелет. В этом феномене отражается связь между судьбой и сказанием о том живом существе, на которое была возложена определенная роль в истории происхождения человечества.

Какова же была роль Авеля? В тексте о нем сказано, что “Ева родила затем брата Каина — Авеля”. Следовательно, он родился

братом, появился на свет, уже состоя при ком-то другом. Что-то уже было до того, как был он. Он не просто вышел из родительского чрева, а был помещен при Каине. Вот он и умирает от того, при ком состоял. Каин убьет его. То, что Авелю предшествует, что встречает его при рождении, не отступает от него, присутствует подле него, да так, что с этим присутствием он вынужден считаться — все это для него лишь западня, причина поражения, обоснование краха. Вот тот первый аспект, из которого следует, что Авель суть אָוֶלֶת . Никто так надежно не вызывает исчезновения выдоха, как источник, откуда он вышел, и кусок пространства, куда он попал. Вторым аспектом является то, что Авель всегда оставался самим собой, совсем как осевший пар, который не перестает быть таковым, как бы ни менялась его форма и сколько бы витков он ни проделал. В тексте сказано: “Ева зачала и родила Каина и сказала: приобрела я человека с Богом. Она родила еще его брата — Авеля”. На иврите слово “каин” происходит от глагола “приобретать”. Таким образом, имя Каина получилось из слов Евы, в которых заключалась также и характеристика его существа. Авель же имени не получил, да и не было необходимости в идентификации, поскольку אָוֶלֶת и есть его сущность — форма сливается с содержанием. Третий аспект заключается в следующем. Несмотря на то, что Авель чист и дела его угодны Богу, он будет убит. Вдыхаемый небом, пар уносится ввысь, но никогда неба не достигает, ибо, поднимаясь, он растворяется. Бог, таким образом, остается непричастным. Есть и еще один аспект. Каин говорит: “Разве я сторож брату моему?” Он, который, как обручем, сжимал жизнь Авеля, он, для которого Авель существовал, поскольку был ему братом, да еще единственным, он, Каин, равнодушен к своему брату, он даже не заметил, что убил его. Пар взвигается и исчезает. Выдохнувший его рот не чувствует, что с паром убывает немножко и от него самого, и поэтому не спрашивает: где пар? Мир остается бесчувственным. И, наконец, исчезновение Авеля — полное. Он умирает бездетным. От него не остается и следа. Множество потенциальных поколений, которые он нес в себе, были обречены на небытие в тот момент, когда умер он сам. Попытка человеческой истории срывается, опыт не состоялся. Хранилище жизни с самого начала было отведено под смерть.

Мне могут возразить, что такой анализ роли Авеля неполный, поскольку Бог услышал голос крови Авеля, обратил к Каину

слова упрека и наложил на него печать, которая не позволяет забыть о содеянном им преступлении. На это я отвечу, что все сказанное относится к последовавшему за драмой эпилогу, в котором Авель уже не участвует, если не считать голоса его крови. Теперь на первый план выступает Каин, а следовательно, в него и нужно разобраться, чтобы понять значение этого эпилога.

С самого начала Каин являет собой полную противоположность Авелю. Его имя, как уже отмечалось, связано с глаголом "приобретать". Первенец, он действительно приобретение для родителей. Когда Ева видит его выходящим из своего чрева, она чувствует, что к ней пришло пополнение, что теперь у нее и у Адама есть прибавление. Вспомним, что библейский текст вкладывает в ее уста: "Приобрела я человека с Богом". Родители, стало быть, не смотрят на Каина как на ребенка, он в них нисколько не нуждается; это независимое существо, человек, новое создание, наделенное Богом такими же возможностями, какими была наделена первая супружеская чета. У Каина развязаны руки, и он готовится завоевать пространство, где его ничто не стесняет. С самого рождения он помещен в мир, занимает в нем место, и его присутствие настолько чувствуется, что его называют "обладанием". В дальнейшем, как бы ни менялся его статус, он остается Каином, человеком обладающим. Сначала Бог его презрел, а затем и проклял за то, что он убил своего брата, но Каином он остается. После преступления и проклятия у него появляется сын, он строит город, дает городу имя своего сына: Ханох (основание). Его амбиция обретает материальное выражение: он продолжается в потомстве, в имени. Сначала он возделывал землю, теперь он строит на ней — земледелие и цивилизация заложены им, и его потомство продолжается в создателях новых ценностей, в пастухах, в художниках, в кузнецах. Его потомок — Тувалькаин (куящий Каин) — судя по имени, "заостряет" дело своего предка: Каин убивал рукой — Тувалькаин затачивает меч.

Итак, Каин являет собой неизменное присутствие, тогда как Авель — исчезновение, крах. После Авеля ничего не остается — после Каина не только остается, но и приумножается. Нестойкости пара противопоставляется накопление вещественных доказательств присутствия.

И все же, если проследить повествование до конца, то станет ясно, что Каин исчезает точно так же, как и Авель. Все эти напряженные усилия, стремление созидать и сохранять, все изобретения

и новшества приводят к потопу. Ни один отпрыск каинова рода не уцелевает, и все, что Каин создал, поглощено потопом. Финал более эффектный, чем с Авелем, но не менее радикальный. Каин очутился там же, где Авель, и это тоже подтверждает, что Каин есть Авель, אָבֶל , пар.

Такое заключение намечалось уже с первых страниц Книги Бытия, и оно же служит отправной точкой всех рассуждений Кохелета. Навязчивая монотония поражения носит радикальный характер: אָבֶל אָבֶל , что значит: “все эвель”. Не только сам אָבֶל (Авель), но и קַיִן (Каин). Такой вывод находит свое выражение еще и в следующем обстоятельстве. В Книге Кохелет образ Каина возникает не только, когда он прямо называется, как это имеет место с Авелем, но и когда появляется глагол “кина”, из которого произошло имя “Каин”. Так, знаменитый отрывок 11, 4–10 сверкает “каинизмом” из-за того, что в строфе 7 есть этот глагол.

11, 4: Я предпринял большие дела; построил себе дома, посадил себе виноградники,

5: Устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовые деревья;

6: Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, богатых деревьями;

7: Приобрел ( קָנִיתִי ) я себе рабов и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме;

8: Собрал я себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей: завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.

9: И сделался я великим и богатым больше всех, бывших до меня в Иерусалиме: и мудрость моя помогла мне;

10: Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им.

Но уже в следующей (одиннадцатой) строфе эта фаустовская жажда наслаждения и безудержная страсть к обладанию развеиваются, будто их сдуло словом אָבֶל .

11: И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд мой, которым трудился я для них, и вот: все אָבֶל , пастьба ветра, и нет от них ничего под солнцем.

В этой же одиннадцатой строфе к слову אָבֶל есть дополнение: “пастьба ветра” ( רֶעַם רוּחַ ), которое наводит на мысль об Авеле. Авель был пастухом, кочевником. Каин — оседлым земледельцем. Даже обреченный на изгнание, Каин цепляется за землю, за почву, он строит города и тем самым оставляет следы на дорогах своих скитаний. Его внук Иавал вносит в занятие пастуха совсем

иной смысл. Авель был אָוֶלֶת , то есть пастухом-овцеводом (Бытие IV,2), Иавал — предком тех, кто “жил в шатрах со стадами” (Бытие IV, 20). Иавал “окаинизировал” занятие Авеля, и в строфе II, 7 Книги Кохелет стада упоминаются уже в плане “обладания”. Далее в строфе 11 утверждается провал этой попытки, возвращение на “авелевскую стадию”, и таким образом все оказывается лишь Авелем ( אָוֶלֶת ), “пастьбой ветра”, то есть тщетной погоней и проходящей иллюзией. Каин суть Авель.

Ничто, стало быть, не остается под солнцем: нет никакого “остатка”. Человеческая история, столь трагически не состоявшаяся в Авеле, потерпела не менее трагическое поражение и в Каине. И тот, кто в своем статусе несет тенденцию к вырождению, и тот, кто воодушевлен желанием власти — оба они обречены на исчезновение. Такова отправная точка мысли Кохелета.

Не меняя намеченного им направления, Кохелет делает следующий пробный шаг. История Авеля не завершилась: она не кончилась с кончиной Авеля. Голос крови Авеля взывает. Земля разверзлась, чтобы поглотить Авеля, но из нее же, из ее же разверзшихся и поглотивших его недр, взывает кровь. Как отмечается в Мидраше, это голос не одной крови, а многих кровей, всех кровей, которые нес в себе Авель; это голос и его собственной крови, и крови его детей. Вот теперь-то Кохелет и задает свой следующий вопрос: Где дети Авеля?

Возможно, они только и есть этот взывающий голос, который растревожил Бога? Ибо воплощенные в этот голос, они становятся обвинителями, проникают в сердце Каина, будят в нем угрызения совести, навлекают на него кару.

Но, перелистывая страницы Библии, Кохелет должен понять, что они суть не только этот голос. С одной стороны, потому что и после кары Каин продолжает жить, действовать, желать. Он не подчинился требованию голосов детей Авеля, не “расквитался”. Он измучен, но страдание не умаляет его силы. Он продолжает быть Каином, и исчезает со своими детьми уже вовсе не за то, что убил Авеля и авелевых детей. С другой стороны, в Библии точно сказано, что потомство Авеля действительно восторжествовало над смертью. Оно прошло сквозь века. Совершенно независимо от Каина и отнюдь не в роли его жертв, дети Авеля некоторым образом перевоплотились и обрели полную возможность существовать.

Это перевоплощение реализовалось в Шете (Сифе) — третьем



сыне Адама и Евы. Действительно, в тексте о нем сказано (Бытие IV, 25): “И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шет (Сиф), ибо (говорила она) Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин”. Итак, Шет заменяет Авеля. Место, оставленное Авелем пустым, занято Шетом. Представлять Авеля в мире будет Шет. Авель продолжается в Шете.

Что же собой представляет Сиф? Все человечество. Он его родоначальник. Начиная с потопа, в мире нет ни одного человека, кроме ребенка Шета. Начиная с потопа, человеческая история есть история Шета. Допотопный период поглотил Авеля и Каина. Человечество, которое с тех пор существует и продолжается, есть Шетово человечество. И то человечество, которое окружает Кохелета, есть человечество Шета. И Кохелет обнаруживает (это открытие – самая оригинальная сторона его философии), что по своему статусу в мире шетово человечество неразрывно связано с Авелем. Оно есть его развитие, новая возможность, другая форма. На этой стадии рассуждений сентенция “Все пастыба ветра под солнцем” может значить следующее: под солнцем все люди – спутники Авеля, заместители его детей, они ходят с тем, чьими представителями являются. Именно такое толкование Кохелет и дает прямыми словами в той строфе, о которой комментаторы ничего не могут сказать, кроме того, что она не совсем понятна. Однако, стоит лишь соотнестись с философским, точнее, с библейским контекстом, которого я только что коснулся, как будет найден ключ к пониманию этой строфы без малейшего насилия над ней. Речь идет о строфе IV, 15:

Видел я всех живущих, что ходят под солнцем: со вторым ребенком, который занимает его место.

Статус всех живущих, которые ходят под солнцем, таков: они ходят со вторым ребенком (а это значит, с Авелем, поскольку он и был вторым ребенком Адама и Евы), и ходят с ним потому, что все они – дети Шета, дети того, кто был призван заместить этого второго ребенка.

Именно такой статус и позволяет Кохелету обнаружить в <sup>לל</sup> провизорное значение и компенсировать монотонию утверждения “все — <sup>לל</sup>” другим утверждением, которое он делает заключением своей книги.

В предпоследней строфе мы читаем: הָיָה דְבַר הַכֹּל נִשְׁמָע

(XII, 15) ("Соф давар аколь нишма"),

что принято переводить следующим образом:

"Заключение всей книги выслушаем его... (раввинистический перевод)

"Выслушаем конец речи... (перевод Сегонда)

"Заключение: Все услышано, бойся Бога... (перевод Ренана)

"Выслушаем конец всего: бойся Бога... (синодальный перевод)

"Выслушаем сущность всего: бойся Бога... (Объединенные библейские общества)

Не нужно быть большим знатоком гебраистики, чтобы понять, что все эти переводы не передают ни синтаксиса ивритской фразы, ни морфологии ее слов. Если я перевожу буквально, то получаю:

"Конец дела все услышано"

Охотно допускаю, что под словами "конец дела" Кохелет подразумевает свое заключение, но я считаю необходимым расставить знаки препинания в соответствии с *масора* (традицией), то есть отделить "заключение" от "все услышано". В таком варианте я получаю точный перевод традиционного ивритского текста:

"Заключение книги: все услышано".

А если таково заключение книги, то оно как нельзя более соответствует введению, которое вне всякого сомнения представляет тему "Все — пар, дуновение", начинающуюся со строфы 1, 2 и затем без конца повторяющуюся. Выражения "הכל הכל" ("аколь Эвель") и "הכל נשמע" ("аколь нишма") симметричны между собой; они служат рамкой книги, а ее содержание составляет рассуждение, которое начинается с "все — пар, дуновение" во введении и приводит к "все услышано" в заключении.

С таких позиций нетрудно заметить, насколько точно укладывается это рассуждение в библейскую схему, которую мы постарались вычленить в Книге Кохелет. "Все есть Авель", — констатирует Кохелет. Даже Каин и Шет (Сиф) суть Авель. Однако, если равнозначность между Каином и Авелем доказывается лишь конечным поражением Каина, то равнозначность между Шетом и Авелем устанавливается самим присутствием Шета в мире. Шет воплощает в себе то, что было "услышано" от Авеля. Голос детей Авеля зывал не тщетно. Бог его услышал. И Шетово челове-

чество (единственное существующее в наши дни) все целиком и в каждом отдельном человеке, в каждой отдельной частице своей судьбы представляет известную нам форму бытия исключительно потому, что Бог услышал. В с е е с т ь "у с л ы ш а н о".

הכל נשמע ("аколь нишма"), следовательно, значит "все есть Шет", но включая и особый Шетов статус, который тем и отличается от статуса Авеля и Каина, что входит в эту формулу.

В отношении Каина это отличие видно четко: Каин исчез — Сиф существует. Первый вопрос, который задает Кохелет: מה יתרון ("ма итрон?") (то есть что остается, каков остаток) (1, 3) таким образом разрешен. Ничего не остается, нет остатка, говорил Кохелет вначале, ни для Авеля, ни для Каина, поскольку оба исчезли. Но все шетово человечество говорит Кохелет теперь, и есть то, что остается. Все люди — это те, кто уцелел. История человечества и есть "остаток".

В отношении же Авеля отличие вырисовывается не столь четко. הכל נשמע ("аколь нишма") находится несомненно в более высоком регистре, чем הכל הכל ("аколь эвель"). Монотония темы поражения нарушена. Начинается поступательное движение. Но цель еще не достигнута. הכל נשמע ("аколь нишма") не является ни антитезой к הכל הכל ("аколь эвель"), ни его отрицанием. Это этап. Современное человечество есть попытка, опыт. История человечества — эксперимент.

Нужно ли объяснять этот эксперимент, исходя из того, что своими корнями он уходит в הכל, и следует ли поэтому считать его обреченным на провал? Или же сам факт того, что эксперимент предпринят, достаточен, чтобы обеспечить ему равные шансы как на поражение, так и на успех? И что, в конечном счете, является его источником: милость, прихоть, проявление воли?

*Перевела с французского Софья Тартаковская*

*Андре Неер родился в Оберне в 1914 году. Профессор языка и литературы (иврита, древней и современной). Его книги посвящены еврейской философской мысли, начиная с библейских времен и до наших дней. Его произведения, лекции, вся его деятельность ставят его в ряд самых блестящих представителей еврейского современного гуманизма. В Израиль приехал восемь лет тому назад. Живет в Иерусалиме.*

*С. Тартаковская приехала в Израиль в 1973 году. Ее переводы классических и современных произведений литературы печатались в Советском Союзе, начиная с 1956 года. Здесь продолжает заниматься переводческой деятельностью.*

ПАСТУХ

Раздувшая ноздри косматая высь.  
Тебя ожидавшее дальнейе небо.  
И свет,  
        разливающий бледный кумыс.  
И запахи шерсти.  
        И запахи хлеба.

По случаю стада с одним пастухом,  
по случаю бульканья влаги в корыте,  
всех чувств обнажив пятерню, босиком  
вот утро встречается с солнцем в зените.

О утро творенья! Роса без следа  
Уходит, лишь запахи прели оставив.  
Во весь оком — человек и стада.  
Во весь оком — только поле и Авель.

*Перевел с иврита  
Даниэль Рубинштейн.*

---

Правление Благотворительного Фонда имени Р. Н. Эттингер извещает об учреждении ежегодной премии для израильских литераторов, пишущих по-русски.

Первая премия будет присуждена в 1984 году в связи с 90-летием основательницы Фонда Розы Николаевны Эттингер ( ר"ל ).

*“Мы все нигилисты. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую в Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...”*

*Ф. М. Достоевский*

Основным предметом социологического знания являются отношения между людьми. Любое описание исторического события, любое объяснение социального явления, в конечном счете, имеют в виду выявление отношений и взаимодействий людей, вовлеченных в описываемый сюжет. Даже когда мы пользуемся языком, казалось бы, прямо не отражающим реальность людских связей — скажем, говорим: “Эта система демократична, а эта — тоталитарна” — мы обобщенным образом описываем, как устанавливаются, поддерживаются и рвутся связи между людьми в той или иной конкретной ситуации.

Связи между людьми имеют различный характер в зависимости от значения, которое имеет для участников связей их конец или разрыв. Чисто формально можно представить себе четыре типа разрыва связей: когда от разрыва выигрывают все участники; когда выигры-

*Л. Ладов*

**ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ  
В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ**

вает уходящий и проигрывают остающиеся; когда проигрывают все; когда, наконец, проигрывает уходящий и выигрывают остающиеся. Например отношения взаимной любви, дружбы и т. п. принадлежат к третьему типу; отношения азартной игры, доходного дела — к четвертому; отношения случайно собравшихся в бомбоубежище людей — к первому и т. д. Можно однако, думать, что подобная классификация способна открыть более широкие особенности отношений между людьми — в данной системе или в данной культуре. Чтобы убедиться в этом, следует обратиться к явлению смерти.

Смерть это одновременно и завершение телесной жизни, и завершение сознательной жизни, и, наконец, завершение общественной жизни индивидуума, то есть обрыв всех его связей с другими. В последнем своем смысле она может означать для него одно из четырех: он “проигрывает”, остающиеся “выигрывают” (отношения типа “игры”); “проигрывают” все (отношения “сосуществования”); все “выигрывают” (жизнь была “недоразумением”); все остающиеся “проигрывают”, а уходящий — “выигрывает” (жизнь как “приключение”). Смерть, таким образом, является как бы экспериментальной ситуацией разрыва, которая выявляет характер отношений человека с миром в целом, придает определенную окраску, задает тон каждому его отношению в отдельности, короче — его мироощущение и его отношение к смерти тесно связаны между собой, это одна и та же сущность.

Человеческие отношения, таким образом, являются в известном смысле функцией своего конца, то есть настоящее определяется будущим (что вообще характерно для человеческой реальности). В какой-то момент у человека возникает отношение к смерти как таковой — он окончательно определяет для себя, что она значит (независимо от того, кто умирает) для умирающего и остающихся. Это отношение как бы собирает весь опыт разрыва контактов, который человек приобрел до этого. Строго говоря, именно в этот момент и рождается человек, как субъект, все отношения которого и все формы разрыва этих отношений подчиняются его отношению к смерти, как предельному случаю разрыва. Смерть преломляет жизнь, и **отношение к смерти определяет отношение к жизни.**

От этого значения смерти в **индивидуальной** судьбе естественно перейти к ее значению в формировании **общественных** отношений.

Ориентация людей по отношению к смерти оказывается узловым пунктом в общей системе ориентации людей. А эта общая система есть **культура**.

Следует оговориться: под культурой мы понимаем здесь не совокупность предметов духовного производства, не вершины человеческого духа, а нечто иное. Следуя современной социологии, мы называем культурой тот общий способ ориентации, который присущ типичным представителям данного народа, данной общности, некое мироощущение, которое окрашивает национальную жизнь на всех ее уровнях. Когда-то эту неуловимую субстанцию называли национальным характером; мы предпочитаем называть ее культурой, потому что это понятие не связано с представлением о врожденном наборе особенностей и позволяет избежать таких характеристик народа, как "добрый", "злой", "жадный", "энергичный" и т. п.

Между культурой в таком понимании и духовным производством нет однозначного соответствия. Присущее данной культуре мироощущение может лишь косвенным образом вылавливаться из литературных, философских и т. п. произведений; особенно полезными в этом смысле оказываются не писатели-мыслители, а литераторы-бытописатели (скажем, Бунин для понимания русской "толщи" предпочтительней Достоевского, проектировавшего на реальность бури и потрясения своего внутреннего мира). Точно так же официальные религиозные доктрины не совпадают с массовой религиозной практикой и сознанием.

Наше выдвижение проблемы смерти как культурной проблемы оправдывается хотя бы тем, какое место смерть занимает во всех религиозных системах, в культурно-обобщенном опыте людей. В мифах и сказках, в обрядах и верованиях, в символике кладбищ и курганов фиксируется и передается от поколения к поколению обобщенное в культуре отношение к явлению человеческой смертности и к смерти, как к чему-то, что требует неперемennого осмысления, оправдания, объяснения. Уже в трехлетнем возрасте рассудок ребенка упирается в эту проблему, и то, как взрослые относятся к умершим и к самой смерти, оказывает решающее влияние на формирование детского мироощущения. Отношение же взрослых и их наглядное поведение в этом вопросе, в свою очередь, задано культурным стереотипом — тем стандартом, в котором воплотился весь прошлый опыт и размышления народа (культурной общности). Ведь наша индивидуальная жизнь в подавляющем большинстве случаев есть ничто иное, как вариация на культурную тему.

Итак, мы постулируем кардинальное значение отношения к смерти для формирования общественных связей, то есть для культуры. Мы полагаем, таким образом, что это отношение есть важнейшая составная часть отношения человека к Абсолюту вообще, а как говорил создатель современной социологии Вебер, отношение к Абсолюту решающим образом определяет всю этику межчеловеческих отношений и через них — весь строй человеческой жизни. Не случайно большинство сколь-нибудь существенных расхождений между различными религиозными и философскими доктринами, в конечном счете, сводится к различию в отношении к смерти. Вспомним, как

В. Соловьев, критикуя толстовство, вскрыл именно это кардинальное несходство между учением Л. Толстого и "истинным христианством", показав, что проповедуемая Толстым евангельская "мораль без воскресения" "ведет к утверждению смерти и греха и творца их — дьявола". Другой пример приводит советский китаевед Т. Григорьева: "Разное понимание Абсолюта не могло не привести к расхождению в системах мышления антично-христианского и буддийского мира. Представление об Абсолюте как надприродной сущности развело пределы "того" и "этого" мира, мира небесного и земного, потустороннего и посюстороннего. Именно эта "разведенность" и послужила импульсом интенсивного развития европейской цивилизации. Конфуцианской этике не доставало... разрыва между "потусторонним" и "посюсторонним", разрыва, который вел европейцев к неудовлетворенности существующими на земле порядками и при благоприятных обстоятельствах толкал его на социальные эксперименты. Конфуцианство, со своим стремлением приспособиться к всеохватывающему потоку бытия, расценивало порядок, существующий в мире, как лучший из возможных".

Обратимся же к важнейшим мировым религиям (культурам), чтобы увидеть, как взаимоотносятся в них понятия "уходящий" — "остающийся", "выигрыш" — "проигрыш". Простоты ради ограничимся лишь китайской, индийской, европейско-христианской и русской культурами. Что внушают они смертному человеку?

Китайская культура (подобно другим, так же основанная на культе предков) решает проблему ухода оптимистически-спокойным образом. Собственно, ухода здесь нет. Человек живет во вселенной, населенной "живыми мертвыми", которые продолжают находиться с ним в тесной связи и помогают жить в этом мире. Точнее, весь мир (в том числе и мир мертвых) есть "этот мир", и китаец, как никто другой, чтит старость и улыбается на похоронах. Как пишет Григорьева, для китайского мудреца "смерти в абсолютном смысле не существует, все появляется из небытия и переходит в небытие, смерть переходит в жизнь и жизнь переходит в смерть". Но то, что на философском уровне выглядит как "дар", вечный покой, абсолютное ничто, то на уровне народного мироощущения проявляется как культ предков, вера в существование "воплощенцев" (т. е. умерших, которые живут среди живых в другом обличье), как определенные ритуалы и обряды. За главой государства — богдыханом всюду возят гроб; преподнесение гроба больному считается знаком внимания и благожелательности; гроб является естественной частью домашней обстановки; покупка гроба престарелым родителям рассматривается как выражение сыновней любви и т. д. Китайцы без боязни, даже с удовольствием смотрят на смерть, уходящий относится



к ней как к предстоящему далекому путешествию к людям, которых давно не видел, а остающиеся продают все, чтобы устроить пышные похороны — по словам Конфуция: “Воздай мертвому, как если бы он был жив”.

**Итак, китайскую формулу отношения к смерти можно выразить словами: “От ухода выигрывают все”.**

Не умирает и человек индийского мироощущения. Ему уготована бесконечная цепь рождений в разных телесных обликах. Но, в отличие от китайского, индийское мироощущение окрашено пессимизмом во всем, что касается жизни. Цепь перевоплощений — бремя, от которого нужно освободиться, ибо жизнь в любом ее проявлении есть страдание. Поэтому освобождение от жизни есть благо, а высшее благо — окончательная, абсолютная смерть, слияние с “ничто”, с абсолютной пустотой-Атманом. Но это благо дано только святым, “просветленным”, буддам. Простой же человек обречен на бесконечную цепь мучений. Отсюда народный взгляд на смерть: “Лучше сидеть, чем ходить, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать”.

Соответственно этому жизнь всегда была дешева в Индии, и презрение к земному, стремление к добровольному уходу из жизни сдерживалось лишь пониманием невозможности порвать бесконечную цепь новых рождений (без предварительного достижения нужного уровня святости). **Итак, индийская культура может быть охарактеризована формулой: “Уходящий выигрывает, остающиеся проигрывают”.**

Рассмотрим две оставшиеся возможности. **Формула “проигрывают все”, по всей очевидности, более всего приложима к иудео-христианской культуре.** Строго говоря, в своем чистом виде она скорее относится к чисто еврейской культуре с ее “глобальным пессимизмом” — неверием в потустороннее и чрезвычайно обостренным отрицательным отношением к посюстороннему, земному, настоящему.\* В христианской культуре этот глобальный пессимизм смягчается идеей воскресения. Христианин получает надежду на спасение, но надежда эта не столь безусловна, как в китайской или индийской культурах. По сути дела, европеец, умирая, уходит в неизвестное. Он не знает наверняка, что его ждет по ту сторону, как будет оценена его жизнь на весах высшего судии,

\* Этот глобальный пессимизм еврейской культуры делает весьма проблематичным и существование еврейского “социума”, чему свидетельством — вся напряженно-мятежная история еврейского народа.

да и сам высший суд есть дело неопределенного будущего. И если жизнь есть приготовление к смерти и существованию после смерти, то и сам тот свет есть лишь приготовление к царству небесному, которое наступит после второго пришествия. Все существование человека европейской культуры есть поэтому напряженное ожидание. Он остро ощущает временность и зависимость будущего от настоящего. А потому (хотя жизнь и ощущается им как "юдоль страданий", а смерть как проблема, а не избавление) устройство настоящего представляется европейцу возможным залогом и основой будущего. Следовательно, и уход из этой жизни воспринимается как горестное событие, как потеря. Устройство земного мира во имя будущего — сугубо европейская установка, с которой связан весь "прогрессизм" европейской культуры, сочетающий в себе бросающийся в глаза индивидуализм с менее заметной (но составляющей едва ли не более важный культурный элемент) человеческой солидарностью остающихся, полных решимости "добиться освобождения своею собственной рукой" (у тех, кто позднее заимствовал этот лозунг, он наполнился иным смыслом).

Совершив это небольшое обозрение трех мировых культур, вернемся к себе домой, на Русь, — и сразу на поминки, переходящие в веселье и пьянку. Что говорят они покойнику? Что жаль его — много потерял безвременно ушедший, да что греха таить — остающиеся, в конце концов, от этого только выигрывают. Вот сослуживцы, подумывающие об освободившейся вакансии, вот соседи по коммуналке, на время забывшие о мелочных склоках, вот какие-то отдаленные знакомые, едва знавшие покойного, но радующиеся поводу выпить. Вот, в сочувственном отщеплении, те "ближние", для которых смерть этого человека — удар и ущерб. Но для всех ли ближних? Вот как описывает Бунин крестьянские похороны:

"Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери... Но далеко были его мысли, и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком.

Так и сделал он, засыпав мать землю: ел и пил до отвала. А под вечер, тут же, у могилы, плясал всем на потеху... Напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день, и на третий. Потом снова наступили в его жизни будни".\*

---

\* Пожалуй, ничего не дало бы такого богатого и доказательного материала об отношении русских к смерти, как эмпирическое исследование судьбы кладбища в России в сопоставлении с судьбой мест захоронения в других

Откуда у “христианнейшего” из народов такое удивительное ощущение преимущества всякой жизни перед всякой смертью? Разве не внушало православие те же представления о рае и аде, о воскресении Христа и страшном суде, которые внушались другими разновидностями христианства западному человеку? Внушало-то внушало, да внушило ли? Мы берем на себя смелость утверждать, что русской культуре присуща высокая степень отсутствия чувства вечного, что для большинства русского народа христианская вера оставалась на протяжении веков внешним покровом над плотью языческих верований. Опыт революции почти без остатка развеял иллюзии русских интеллигентов-идеалистов относительно христианскости русского народа-богоносца. Идея Христа не могла найти прочного места в лишенном четвертого (временного) измерения сознания язычников, и картина распятия без труда заменилась другими картинками в обрядах и шествиях “новой эпохи”.

Итак, мы делаем — на первый взгляд, весьма смелое — допущение, что последняя оставшаяся формула: **“Уходящий проигрывает, остающиеся выигрывают”** — совпадает с реальностью русской культуры, русского мироощущения (в его отношении к смерти) — того мироощущения, что так метко схвачено в словах: **“Живи, пока живется”**. Это допущение сразу переносит нас в область давних споров о религиозности или безрелигиозности русского народа и в свойствах русского православия — споров, начатых, пожалуй, уже полемикой Белинского и Гоголя, продолжавшихся вплоть до революции и с новой силой вспыхнувших в последнее время на страницах эмигрантских изданий.

Естественно, мы не можем не только исчерпать, но даже сколько-нибудь полно поставить всю проблематику этих споров, и нам кажется лишь, что предлагаемый нами подход проливает известный свет на эти проблемы. Этот подход с необходимостью ведет

---

культурных регионах. Можно думать, что нигде не найдется столько забытых, разрушенных и перепаханых кладбищ, сколько в России. Едва ли встретится и отношение к кладбищу как к месту, где гуляют и веселятся. Для России же это вполне характерно. Заслушаем по этому поводу П. В. Сыгина:

“В 1750-е гг. на месте убогого дома было открыто обыкновенное кладбище... Однако обычай населения собираться в “семик” для поминовения покойников не исчез, а принял лишь другую форму. Родственники похороненных на кладбище приходили в рощу на целый день, после еды и выпивки пели песни, играли на народных музыкальных инструментах, плясали, водили хороводы. В начале XIX века здесь было в “семик” уже обычное народное гулянье...”

нас в один лагерь с Белинским и Чаадаевым, которые подчеркивали отсутствие у русского народа религиозного чувства. Не разделяя некоторых выводов "неистового Виссариона" из отмечавшихся им русских национальных черт (его исторический оптимизм был опровергнут еще более неистовым "Виссарионовичем"), мы, вместе с тем, не можем не согласиться с его словами, обращенными к Гоголю:

"По-вашему русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об иконе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что по натуре своей это глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности... Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре: у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем".

Ясно, что сколько бы ни ломались копыя в красноречивой полемике, положительный ответ на мучительные вопросы такого рода может быть получен лишь в результате тщательнейшего рассмотрения судьбы христианской идеи на русской почве. И исходной позицией для такого рассмотрения должно быть стремление заглянуть "далее вывески", не дать себя смутить внешними атрибутами и названиями.

Разумеется, многим покажется неверной и даже кощунственной мысль, будто атеистически мыслящий европеец более находит-ся в рамках религиозного христианского мироощущения, нежели православный русский, оставшийся язычником (как писал Мережковский: "Язычество, притворившееся христианством, как у Толстого, или христианство, притворившееся язычеством, как у Ницше".) Наш подход, однако, призывает нас не обольщаться буквой религиозных доктрин, а пытаться разглядеть воздействие изначальных установок родной культуры на чужие, родившиеся в ином культурном климате, идеи и представления.

Христианская идея воскресения и искупления возникла как луч спасения во мраке глобального иудейского пессимизма и возросла на почве пессимистического (в целом) отношения к земному миру, свойственного людям европейского психического типа. Но она оказалась перевернутой наизнанку, когда соединилась с оптимистически-здешним, земным, "веселым", языческим сознанием славян (а еще ранее — греко-византийцев). Плодом этого соединения явилось православие, в котором Христос столь

же мало напоминает Христа иудео-европейского, сколь мало похож Жизнерадостный, Толстый, со складками на животе Будда китайских изображений на свой индийский прототип.\*

Мироощущение людей языческой культуры безрелигиозно не в том смысле, что они отрицают бога или богов, но лишь в том, что у них нет перспективы вечности и воскресения. Поскольку жизнь на этой земле принимается ими как величайшее из благ, потустороннее либо вовсе отрицается, либо принимает вид некой стоящей над людьми произвольной силы, распорядителя судеб и подателя земных благ, либо, наконец, (как в исламе) рисуется в виде более или менее точной проекции этих земных благ на небо (это наиболее оптимистический вариант культуры данного типа — в смысле отношения к потустороннему). Соответственно Христос в православно-языческом представлении полностью сливается с этим верховным распорядителем, утрачивая свои богочеловеческие черты, и между небом и землей воздвигается непреодолимая стена.\*\*

---

\* Не такие же ли трансформации претерпевает на наших глазах марксизм, попадая в Россию, в Китай и т. д.? Пройдет еще несколько десятков лет, и в марксизме китайского образца будет больше сходства с конфуцианством, даосизмом и т. п., чем с европейским оригиналом. А для того, чтобы убедиться, насколько советские чиновники-марксисты воспроизводят стереотип мышления своих царских собратьев, достаточно почитать Салтыкова-Щедрина, а то и самого барона Дубельта, шефа жандармов, некогда писавшего: "Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая, помойная яма... Не верьте западным мудростованиям — они к добру не приведут... Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Европы?"

Любопытно в этом смысле сопоставить место и роль идеи православия в системе взглядов русского общества XIX века с идеей марксизма в том виде, в каком она укоренилась в современном русском обществе. Как это ни парадоксально, их функциональные роли кажутся почти синонимами. Главное сходство — в утверждении правоты учения, в настоянии на том, что русский /советский/ народ — как таковой — является носителем единственно правильного учения. При этом нравственно-религиозное ли, научное ли содержание учения забывается, и оно становится, как говорил Вл. Соловьев "основанием исключительных привилегий в пользу одного народа в ущерб всем прочим". После всенародно поддержанного вторжения в Прагу едва ли кто-нибудь сейчас обольщается на тот предмет, будто идея "вселенской правоты" есть удел лишь газетных писаний, а народ — с большой буквы — полагает иначе. На каждом шагу и от людей всех слоев и положений слышится сопоставление "у них" и "у нас", делаемое с целью показать, что "мы" всех кормим и освобождаем, что "мы" жертвы чужих козней и хитростей и т. д.

\* Собственно, непрерывное возникновение ересей в Византии имело под собой именно эту основу. Христос-спаситель, сын и посланец Бога, оказывался лишним в мире, где любая жизнь лучше для человека, чем любое потустороннее существование, ему недоступное. Вл. Соловьев отмечал, что все византийские ереси представляли лишь многообразные вариации одной единственной темы: "Христос не есть истинный Сын Божий, Бог не вопло-

Посюсторонний оптимизм, данный язычнику в ощущении, толкает его к отрицанию таких вещей, как искупление, единение с Богом, освящение мира материального и чувственного. В языческом мире человек -- конечная форма, лишенная всякой свободы, а Бог — бесконечная свобода, лишенная всякой формы; Бог и человек представляют два противоположных полюса бытия без связи между собой. В итоге в Византии закрепилась в середине IX века, (а затем перешла в Россию) ситуация, при которой императоры приняли православие, как отвлеченный догмат, а православные иерархи на веки веков благословили язычество общественной жизни. Мнимое православие Византии, писал Соловьев, на самом деле было лишь вогнанной внутрь ересью.

Интересным следствием такой "разведенности" земного и божественного явился преувеличенный аскетизм некоторой части языческого социума. Это как бы оборотная сторона представления, будто земной мир — лучший из миров. Человек с обостренным "религиозным слухом" начинает особенно ненавидеть все земное, телесное, как "греховное", когда видит, что окружающие его люди считают это земное и телесное единственно значимым. И тогда вместо христианства с его, в общем-то, смягченным отношением к телесности и греховности человека (человек — падший ангел, но все-таки ангел) возникает монофизитство с его "окаменелым бесчувствием" к божественности человека. Оно видит в человеке только дурное, нечистое животное, которое нужно истребить или замучить, чтобы оно превратилось в ангела. В основе такой "языческой святости", от столпников и скопцов до Л. Толстого, лежит бунт против земных, "оптимистических" страстей своих соплеменников (аналогично тому, как в основе противоположно направленных учений европейских "безбожников", от Ренессанса до Ницше, лежал бунт против исходного пессимизма и органического аскетизма их культурной среды). Но, как писал А. Руднев, сколь бы внешне христианской ни выглядела такая "языческая святость" на деле она "ведет к покорному согласию предоставить этот мир во владение князю его", то есть, в конечном счете, опять-таки к признанию всевластия этого, посюстороннего мира. Основная же масса язычников относится к своим святым и монахам со смешанным чувством почтения (как к заступникам перед Богом-подателем благ) и сожаления (монастырь и тюрьма легко совмещают в их культуре свои функции, поскольку и монах, и заключенный в их глазах — равно "выбывшие из игры", неудачники).

Одним из наиболее чистых вариантов такой культуры оптимистически земного типа можно считать ислам. "Ислам, — писал Соловьев, — это последовательное и искреннее византийство, освобожденное от всех внутренних противоречий. Он представляет собой открытую и полную реакцию восточного духа против христианства". В исламе получило наиболее четкое воплощение, природа и человечество пребывают отдельно от божества, не едины с ним, а следовательно, человеческое государство с полным правом может сохранить свою безусловную независимость и безусловное верховенство".

шение признание пропасти между земным и божественным, отношение к земному, как к единственно данному для человека, а к Богу — как к силе, управляющей этим данным и требующей от человека слепого повиновения. Мир представляется человеку ислама незыблемой твердыней, по отношению к которой нельзя ставить вопрос о каком-либо прогрессе, моральном совершенствовании и т. п. “Мусульманское общество, — писал Соловьев, — не могло иметь иной цели, кроме расширения своих материальных сил и наслаждения земными благами. Распространить ислам силой оружия и править правоверными с неограниченной властью и согласно правилам элементарной справедливости, установленным в коране, — вот к чему сводилась вся задача мусульманского государства”.

Русь получила свое православие от Византии в уже сложившемся, мертво-догматическом виде. Проповедники христианства на Руси были, естественно, представителями “языческой святости”, описанной выше. Приход их в веселую землю княжеских пиров и народных “глумотворцев” — скоморохов, кулачных боев и повального пьянства не мог обойтись, конечно, без суровых конфликтов. Однако с самого начала здесь в зародыше содержалась вся дальнейшая перспектива вырождения русской церкви в полугосударственный институт, находящийся на услужении у князя мира сего. Здесь же и начало будущего раскола нации не сторонников оптимистически-патриотической идеи России как “третьего Рима” или “второго Израиля” (или “освободителя трудящихся всего мира”) и на носителей “православного аскетизма”, отказывающихся видеть в существующем разгуле наилучший порядок вещей. Казенный оптимизм, представление, будто “синтез единства и свободы в любви” уже дан и достигнут в существующей русской церкви (а не есть идеал, к которому нужно идти через бесчисленные трудности и препятствия), стали едва ли не главной отличительной чертой русского православия. Православная церковь стала в России государственным учреждением, “царством от мира сего” и тем самым отсеклась от самой себя, осудила себя на мертвенность и бесплодие. Но иначе едва ли и могло случиться в культуре, лишенной чувства потустороннего и всеми своими инстинктами утверждающей здешнее, земное.

“Как же так? — воскликнет читатель. — Разве не утверждали лучшие, проникновеннейшие умы России — Достоевский, например, — что русский народ — народ-богоносец?” Признаемся, что и мы слышали о таких утверждениях и смущались в душе своей. Но более внимательное прочтение того же Достоевского уничтожило наши сомнения, более того — укрепило нас в уверенности,

что русский народ — действительно богоносец, но не — христоносец. Ибо **главная идея русского православия есть вера в своего национального бога, освящающую русскую национальную особенность и обособленность**. Это вера в бога-знаменосца побед и в церковь-вдохновителя и организатора этих побед. “Русский народ весь в православии, — записал Достоевский в своем предсмертном дневнике. — Православие есть церковь, а церковь — увенчание здания и уже навеки”. Эта туманная формула гораздо яснее выглядит в устах героя “Бесов” Шатова — главного выразителя идеи Достоевского о народе-богоносце: “Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, пока верует, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов”. Нельзя не согласиться с Мережковским, который не усматривает в этой идее ничего христианского и даже заподозривает в ней скрытое безбожие, ибо не бог здесь творит человека, а человек бога (как у Ницше: “В боге чтит народ свои собственные добродетели, благодарит себя за себя — вот для чего народу нужен бог”). В итоге, как подчеркивает тот же Мережковский, не православие становится главной чертой русского народа, а сама по себе русскость становится необходимым и достаточным условием православия: русский — значит православный, то есть “правый”.

Итак, **кардинальным различием между европейским и русским мироощущением мы считаем пессимистическое в одном случае и оптимистическое в другом отношении к посюстороннему существованию**. Это базисное различие (гораздо более глубокое и неискоренимое, чем любые догматы и оттенки вероучений) решающим образом отражается на судьбе всех символов веры, институтов, идей и идеалов, преобразуя их в нечто, отвечающее исконному духу данной культуры. Воздействие это можно проследить буквально в любых проявлениях национального духа, но это задача, выходящая за рамки статьи. Ограничимся поэтому одним примером — из области церковной архитектуры, который красочным образом иллюстрирует это основное различие европейской и русской культур:

“Входя под мощные своды западных соборов, христианин сознает, что он принадлежит к грешному, падшему миру, но в то же время слышит призыв к неустанной борьбе за свое освобождение, и ему дается видение рая в прорези окон с их чудесными, манящими ввысь цветными стеклами.

Русская церковная архитектура с ее яркими красками, с ее золотыми и зелеными куполами, увенчанными победоносными крестами, вдохнов-



лена противоположной богословской идеей. Православный христианин не стремится покорить природу, наоборот — он с любовью призывает Святой Дух сойти на материнскую плоть земли, освятить и переобразовать ее. Там, где верующие собираются вместе, как единая семья, там земля загорается красками небесного царствия, все внутри храма наполнено светом и радостью и небо сходит на землю". (Н. Зернов "Англиканство и православие").

\* \* \*

Проделанная типологизация культур позволяет получить ряд дополнительных характеристик каждой из них, достаточно существенных, чтобы сказываться во многих производных явлениях и отношениях. Прежде всего, можно утверждать, что пессимистическое отношение к "здешнему" порождает интерес к "нездешнему", "потустороннему", "чужому" — и наоборот. Это утверждение опирается не только на логику здравого смысла. Философы давно уловили тесную связь между стремлением к истине и пессимистическим отношением к жизни. Сократ был "первым из декадентов", поскольку он первый почувствовал не просто трагизм существования, но и отчаяние перед лицом жизни. И он же был первый, кто "изобрел" понятие истины. "Идея истины, — пишет Гримальди, — была ничем иным, как примиряющей иллюзией, с помощью которой Сократ стремился преодолеть нашу растерянность перед трагедией конечности бытия". Платон указывает Сократу в начале "Федона", что тот, кто стремится к истине, в тайне желает смерти, ибо истина губительна для жизни. Но, пожалуй, наиболее убедительно вскрыл эту связь поиска истины и отрицания жизни Ницше, который стремление к истине считал отказом от временного в пользу вечного, от существующего "здесь" в пользу потустороннего.

Знаменательно, что для всех русских писателей консервативного направления характерна враждебность к "абстракциям". А. Григорьев, К. Леонтьев, И. Аксаков и другие превозносят жизнь, противопоставляя ее мертвым, по их понятиям, научным схемам. Языческо-исламское мироощущение, купающееся в земном и видящее в потустороннем лишь абсолютную силу, обращенную на землю, "естественно преклоняется и на земле перед проявлением внешней силы, перед грубым фактом, не спрашивая у него никакого внутреннего идеального оправдания, — писал Вл. Соловьев. — Отсюда то равнодушие к истине, то уважение ко

всякой искусной и успешной лжи, которым всегда отличалась восточная половина человечества, за исключением евреев". На этом мироощущении основываются религиозные системы исламского типа, и Соловьев неоднократно подчеркивал, что русское псевдохристианство сродни исламу, только место Бога в нем часто занимает государство или царь. Таким образом, культуры могут подразделяться на открытые неизвестному, чужому, сознающие ценность истины (индийская и европейская) и закрытые неизвестному, чужому, не сознающие ценности истины (русская и китайская).

Другое наше утверждение едва ли нуждается в подробном обосновании в силу своей очевидности: пессимистическое отношение к смерти обуславливает повышенную "посюстороннюю активность". Действительно, вряд ли можно ожидать большой заботы о мироустройстве от людей, которые ждут безусловного перехода в иной, лучший мир и рассматривают свое земное существование как более или менее случайный эпизод перед лицом вечности. Отсюда — активность европейской и русской культур и пассивность культур индийской и китайской.

Перекрестное сочетание первого и второго утверждений позволяет уточнить характер отношения культур к чужому и неизвестному. В европейской культуре эта "посюсторонняя" активность проявляется как "познавательльно-научная ориентация"; открытость чужому и неизвестному в индийской культуре в сочетании с ее "посюсторонней" пассивностью приводит к "созерцательной" ориентации; у русской культуры активность в сочетании с враждебностью чужому приводит к активной ксенофобии; китайской же культуре присуще пассивное отсутствие интереса, или "высокомерие". \*

---

\* Писателям подчас лучше, чем ученым, удается уловить эти культурные ориентации на их бытовом уровне, "изучить политику на бабах", по меткому выражению Г. Владимова. Поэтому проиллюстрируем особенности русской ксенофобии выдержкой из еще неопубликованной повести этого писателя. В ней бывший зэк Потертый говорит: "Тот человек неумный, кто хочет, чтоб все жили, как он живет. И счастья ему не видеть никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему приятно живется". Простая русская женщина Стюра: "Счастья злым не бывает. А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?" Потертый отвечает: "И этого хватает, Стюра. Мы же недаром народ "суровый" считаемся. Но то еще полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь — какая-нибудь финтифля юбку задерет повыше твоего понимания или же грудь выкатит на огневую позицию — ведь ты ж мимо не пройдешь. Твоя б сила — ты б ее со свету сжила". "Господи, да пуская хоть голая ходит. А только я на это смотреть не обязана..." "А вот ей так нравиться!" "Мало, что ей нравится. Еще другим должно нравиться. Люди ж не дураки, думали все-таки — как прилично". "Вот! Хоть всю политику на вас изучай, на бабах".

Рассматривая культуры далее, можно отметить наличие “диаметрально” (или “диагонально”) противоположных культур: китайской по отношению к европейской и индийской по отношению к русской. Не поддающийся объяснению курьез здесь состоит в том, что они и в реальном географическом пространстве расположены “по диагонали”. Однако более существенно, конечно, то, что такие “диагонально противоположные” культуры описываются сходными формулами. Если пессимизму в этих формулах приписать отрицательный, а оптимизму — положительный знак, то окажется, что **русская культура имеет знаки “минус-плюс”** (минус по отношению к смерти, плюс — к жизни), а **индийская, наоборот, “плюс-минус”**; сходство состоит в том, что обе формулы содержат два разных “знака” — так сказать, характеризуются наличием “разности потенциалов”. Между тем **формула еврейской культуры**, с ее пессимистическим отношением и к жизни, и к смерти, будет “**минус-минус**”, тогда как **китайской**, понятно, — “**плюс-плюс**”, так что обе они не содержат этой “разности потенциалов”. Любопытно, что в таком “знаковом” виде формулы культур открывают свою связь с характеристиками, которые американский социолог Парсонс давал тем же культурам. Парсонс интересовался, прежде всего, отношением той или иной культуры к миру “объектов” (т. е. к внешнему миру). Объект может интересовать человека, в первую очередь, как нечто, производящее некие действия, которые дают какой-то результат. Культуры, которые смотрят на объекты таким образом, Парсонс назвал “достижительными”. Но объект может интересовать человека и с точки зрения того, “как он называется”, т. е. к какой категории он принадлежит, и уж в соответствии с этим человек ожидает от него определенных действий; такую культурную ориентацию Парсонс назвал “аскриптивной”. Утверждение типа: “Дурак (т. е. человек, действующий неумно) не может быть кандидатом наук” — является “достижительным”; утверждение же типа: “Кандидат наук (т. е. человек, относящийся к определенной категории) не может быть дураком” — является “аскриптивным” (можно было бы сказать, что в нем не сущность определяет видимость, а наоборот — видимость диктует собой сущность: если человек принадлежит к какой-то категории, ему автоматически приписываются свойства, которые “должны быть” у этой категории). **В культурах второго типа получают поэтому большое распространение застылые социальные образования типа каст, в культурах первого типа, напротив, акцент делается на реальных достижениях** (система экзаменов, свободная конкуренция и т. п.).

Как видно из наших знаковых обозначений, парсоновские “достижительные культуры” совпадают с теми, которые у нас характеризуются отсутствием “разности потенциалов”; культуры “аскриптивные” — с теми, у которых эта “разность потенциалов” есть. Тут можно было бы попытаться объяснить этот факт аналогией с электрическим полем: при отсутствии разности потенциалов частицы движутся хаотически, при их наличии возникает движение в определенном направлении. Если при этом частицы обладают свойством “ориентироваться друг на друга” (как люди), то в первом случае каждая из частиц, не зная заранее, как будут двигаться другие, будет оценивать их прежде всего с точки зрения этого движения, т. е. с точки зрения их действий (“достижений”). Во втором же случае, коль

скоро направление движения задано, решающее значение приобретает место частицы в "строю", т. е. относительное местоположение частиц в иерархии или кастовом порядке.

Факты в определенной мере подтверждают эту аналогию. Рассмотрим, например, культуру иудео-европейского типа. Пессимизм в отношении к потустороннему колеблется в ней от максимально отрицательного (в предельном случае иудаизма) до минимального отрицательного (в католическом варианте христианства); однако знак "минус" в "числителе дроби" (т. е. в формуле этой культуры) всегда остается минусом. Тем не менее сама "дробь" меняется: она больше всего для иудаизма, меньше для протестантизма, еще меньше для католичества. И действительно, более пессимистическая протестантская культура показала себя и более активной, достигательной и менее кастовой, чем католичество.

В русской культуре снижение "разности потенциалов" означает либо увеличение оптимизма в отношении к потустороннему (рост религиозности), либо увеличение пессимизма в отношении к настоящему. В первом случае одновременно с увеличением достигательности снижается активность, во втором рост достигательности сопровождается большей открытостью чужому и неизвестному. Русская "языческая святость" может быть примером первой тенденции, старообрядчество и сектантство — примером второй (сектанты и старообрядцы всегда были наиболее трезвой, работающей и грамотной частью русского крестьянства). И напротив, чем сильнее в такой культуре "материализм", т. е. ориентация на землю, тем резче в ней выражаются ее активность и ксенофобия ("аскриптивность", т. е. ориентация на "принадлежность к категории" — партийность, диплом, звание, — а не реальные достижения).

Все эти общие особенности русской культуры позволяют дать ее систематическое описание, — хотя, разумеется, применяемый здесь схематический метод не может охватить всю эмпирическую реальность в ее живом богатстве и противоречивости; он дает лишь "угол зрения", некий способ построения "геометрии отношений", что, в свою очередь, позволяет понять кое-что из исторической судьбы России. Мы опять-таки ограничимся здесь лишь несколькими примерами особенностей русского национального характера, наиболее очевидно связанных с излагаемой схемой.

Первая такая черта, несомненно коренящаяся в сиюминутности и посюсторонности русского мироощущения, — это так называемая "отзывчивость". Для русского человека характерна высокая отзывчивость, несоразмерная реакция на сиюминутное, данное, зримое. Это — вещь общеизвестная. Как всякая душевная особенность, эта отзывчивость — не добро и не зло, а становится добром или злом лишь по обстоятельствам. Она проявляется и в слепой ярости и повышенной агрессивности в ответ на малое

ущемление (несдержанность, хамство), и в знаменитом хлебо-сольстве, гостеприимстве, стремлении нравиться здесь и сейчас. "Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалуется, нежничает, сам над собой плачет..."

Такая высокая отзывчивость зачастую бывает разрушительна и потому должна обрываться: излишняя "щедрость души" компенсируется "обрывом", а неожиданный "обрыв сочувствия", в свою очередь, компенсируется "щедростью", которая его покрывает. Достоевский в "Дневнике писателя" приводит пример мужика, который засек лошадь за то, что она не тянула (тоже пример высокой, обернувшейся злом, отзывчивости, преувеличенной реакции на сиюминутное); в конце дела мужик совершенно растерялся от успешности своего предприятия, и оно неизбежно должно было — оборваться.

Таким образом русская отзывчивость не есть боль за несправедливость, дело обстоит, кажется, иначе: справедливо обрывать (останавливать, пресекать) несправедливость, но несправедливо бороться за справедливость. "Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое". (Бунин). Но если ты ко мне несправедлив, то и я с тобой, обратным ходом, нечестен, и в этом нет ничего удивительного. Несответствие слова делу порождает чисто эстетическое, необязательное отношение к слову: никто никому не верит — и в этом смысле русское общество действительно "свободней" любого другого: в нем процветает невиданная свобода от взятого слова, от обязанностей — все свободны отлынивать от работы, красть казенное, подменять дело словами, а слова не считать делом; общество не требовательно к человеку, а человек — к обществу (свобода от совести); все знают, что друг друга обманывают, и ни в ком это не вызывает чувства возмущения, ибо правда не имеет ничего общего с абстрактной истиной ("Начальство делает вид, что платит нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем"). В таком обществе правда понимается как правда сиюминутности, прагматическая правда момента (ибо за сиюминутностью, за "посюсторонним" нет уже ничего). В такой атмосфере человеку, если он не заражен предрассудками иной культуры, действительно "вольно дышится", и он не променяет эту свою особую свободу ни на какие свободы слова (неразрывно связанные с обязательностью данного слова) и ни на какие правовые гарантии (которые так же неразрывно связаны с обязанностями).

В силу такого “чисто эстетического” отношения к слову (не оно ли породило великую русскую литературу?!) наше сознание мало сказать открыто — оно напоминает проходной двор. Любые идеи — гости, которых принимают (и отпускают) с миром или с пинком. Но постояльцы — не владельцы, и наше сознание всегда, по существу, свободно, даже когда и не пусто. Лишенный юмора Достоевский изображал его патетически: “Всякая русская мысль есть всепримирение идей”; но он же тонко подметил: “Мы чрезвычайно легковверная нация, и все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Увизжаться и провратиться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы”.

Из этой же сиюминутности проистекает веселая беспечность, нерасчетливость русского характера, которая так привлекательна в непосредственном, живом общении и часто приводит в контраст сухости европейцев, но которая в то же время оборачивается неумением планировать, предвидеть наперед и думать о завтрашнем дне. Едва ли в какой-либо европейской стране съешь пьяницу, способного украсть дорогую, в 1000 рублей, шубу, чтобы тут же, у магазина, продать ее за 3 рубля, необходимых на бутылку водки.

Отсюда же вытекает и такое качество русской природы, как ощущение безысходности: данное дано, податься некуда, живем одна, “здесь” и “сейчас” лучше, чем “там” и “потом”. Все это формулировки, интуитивно схватывающие инстинктивную убежденность в том, что “по ту сторону” ничего нет. Эта безысходность сродни безысходности отношений, связывающих соучастников азартной игры: никто не хочет и не решается ее покинуть, потому что “уходящий проигрывает, выигрывают — остающиеся”. На основе этой безысходности мироощущения развивается в русском человеке психология азартного игрока в игре “здесь и сейчас”, его упование на удачу, случай, стечение обстоятельств, “авось”, которые отмечал Достоевский (“Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним мигом перелететь до цели...”). У американцев есть поговорка, обобщающая их наблюдения относительно прибывающих в страну эмигрантов;

так вот, согласно этой поговорке, немец начинает немедленно копить деньги, француз стремится что-то быстро изобрести, чтобы разбогатеть, а русский человек ищет кошелек на мостовой.

Такая вера в "факт", в случай, в везение приучает к паразитической несамостоятельности, безответственности, привычному ожиданию, что кто-то — бог ли, власти ли, случай — о тебе побеспокоится, позаботится, за тебя решит и тебе укажет. Чаще всего этот "кто-то" олицетворяется в образе всемогущего начальства, которому до поры до времени передоверяется вся ответственность и вся инициатива, но с которого затем и спрашивают бунтарским спросом за ненаступление рая на земле, за поражения, голодовки, отставание от "немца". А бедное начальство — само плоть от плоти этой массы — и считать-то наперед не умеет, и транжирить да по ветру пускать гораздо, а работать и копить — нет, так что тяжело ему обеспечить все то, на что уповают доверившиеся ему иждивенцы. И вот, утомившись от забот, оно столь же безответственно, как и подопечные, начинает ловить шансы и заботиться прежде всего о своем животе, предоставляя события их "историческому ходу".

Начальство в традиционном русском понимании сродни "судьбе" — на него можно роптать, против него можно, в конце концов, восстать, но нелепо противопоставлять его воле свою, пытаться его учить или ему подсказывать. Ему — видней. Зато что нам непереносимо видеть — это своего собрата, активно устраивающего себе жизнь. Тут наш русский дух восстает (даже если это гениальный дух Достоевского), и начинается травля — буржуа ли, кулака ли, жида ли — короче, любого, кто проявляет "индивидуализм" и "расчет". Противопоставляется этому обязательная "коллективность поведения", обязательное подчинение общим правилам: "как люди, так и я". Иногда — у русских мыслителей — эта обязательная коллективность описывается как специфическое русское чувство "братства", "соборности". В действительности, думается, это просто страх остаться одному, "вне игры" ("Хоть на заде, да в стаде, отстал — сиротой стал".) Одиночество для такого человека непереносимо, упование только на свои силы — немислимо, поэтому он стремится жить кучно, стадно, "соборно", поминутно озираясь на своих соседей и подозревая при этом, что каждый из них только и заинтересован, чтоб обчистить или обжулить его. Жизнь протекает в повседневной борьбе за место — в автобусе, у конфорки, у прилавка, у кассы, и

эта борьба — в критические моменты истории — может приобрести довольно-таки братоубийственный характер. Созерцая изнутри эту маленькую, но изнурительную "войну всех против всех", трезвый наблюдатель порой приходит к выводу, что так долго продолжаться не может, что вот-вот наступит конец и общество прекратит существование; но он не понимает, что безвыходность (в описанном выше смысле) — или иначе говоря, центростремительная сила рулетки — является не таким уж слабым источником устойчивости этого социума — устойчивости, поразительной для всякого, кто наблюдает его со стороны. Люди цепляются, терпят, ждут случая, не доверяют ближнему, а главное — убеждены, что везде не лучше — что по ту сторону жизни, что по ту сторону границы: "Везде хорошо, где нас нет..."

Рука об руку с этой безвыходностью (порождаемой отрицанием потустороннего) идет русский фатализм, то безразличие и презрение к смерти, которые играют такую немаловажную роль в природе русской военной доблести и геройства. Как отмечает Беннхофер, "там, где смерть — конец, земная жизнь — либо все, либо ничего. Хвастливое упование на непреходящесть земного другой своей стороной имеет фривольное обращение с жизнью. Страх смерти сочетается с презрением к ней". Или, как еще лучше выразил это Бунин: "Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не бояться..."

\* \* \*

На этом мы "оборвем" свое описание русского характерологического склада. Имеющийся в нашем распоряжении формальный аппарат уже не может уберечь от слишком иллюстративного подхода и неоправданных спекуляций. Мы, однако, полагаем, что предложенная здесь схема различия культурных типов по их отношению к проблеме смерти в достаточной мере показала свою плодотворность. Необходимость совмещения отвлеченного анализа с эмпирическими примерами, неизбежная в такой работе, — причина того стилистического разнобоя, за который автору хотелось бы принести читателю свои извинения.

*Л. Ладов — псевдоним. Рукопись пришла по каналам Самиздата, и автор не отвечает за публикацию. В связи с плохим состоянием копии редакции пришлось произвести ряд сокращений и уточнений, за которые она приносит автору и читателям свои извинения.*



## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

В 70-х годах на дороге из СССР в Израиль оказалась довольно значительная группа людей. Перед ними (для многих неожиданно) встали серьезные культурные проблемы. Их самосознание подверглось тяжелому испытанию. До сих пор они осознавали себя скорее как социальная группа в советском обществе, чем как некое духовное единство, народ.

Они не были воспитаны в еврейской традиции, их знание еврейской духовной культуры было вначале поверхностным. Они знакомились с ней по доступным материалам, в основном на русском языке, а еврейский язык изучали как школьный предмет вместе с другими элементами еврейской культуры.

Энтузиазм ученичества и особые условия существования в СССР на время позволили им забыть свою глубокую связь с другой (в данном случае — русской) культурой. Но как только они оказались вне СССР, их положение между двумя культурными наследиями стало очевидным и превратилось в проблему.

Проблематичная ситуация — сепаратор. Одних она надрывает и губит. Других — стимулирует и окрыляет, обостряя их личное самосознание и способствуя таким образом твор-

*О. Кустарев*

**АКТИВНАЯ КУЛЬТУРА  
ИЛЬИ РУБИНА**  
(к семилетию со дня смерти)

ческому отношению к личной культуре. В горниле проблемной ситуации возникает два культурных типа. Назовем их "жертвы" и "проблемисты". Жертвами проблемной ситуации становятся те, кто хотел бы найти решение проблемы, которое избавило бы от работы над собой. Оказавшись между двумя культурами, они надеются, взвесив все "за" и "против", наконец, решить, в какой из них они будут чувствовать себя комфортабельнее. Комфорта им не видать, к сожалению, никогда. Потому что или /1/ они решат в пользу старой культуры и будут вынуждены жить в чуждой среде, или /2/ они будут бесконечно долго механически комбинировать две культуры и никогда не подымутся до самоидентификации. Личность с затрудненной самоидентификацией интересна для профессионала-этнографа, но ее страдания и влияния совершенно непродуктивны в культурном отношении.

Иначе ведут себя "проблемисты". Они понимают или чувствуют, в чем продуктивная суть возникшей ситуации. Для них проблема самоидентификации не возникает. Либо инстинктивно, либо доктринально, но они решают ее однозначно. Оказавшись между двумя культурами, они не колеблются и не вопрошают бесплодно себя и других: кто я — еврей или, скажем, русский? Ответ им был известен, и они его не пересматривали: они решили, что они евреи.

Но от проблематичности своей ситуации они так не избавились. Просто перед ними встала, вернее они **поставили перед собой** другую проблему: что значит быть евреем вообще и в особенности если ты до этого был кем-то другим? Легко увидеть, что вопрос таким образом быстро переходит из личного плана в план национально-культурной. Проблема объективируется и из плана пассивного выбора переводится в план культурного строительства.

В самом деле, вопрос, который возник перед новейшими пришельцами из диаспоры (вероятно, не только из русской ее части) и будет возникать перед всеми последующими, вовсе не в том, какую культуру им выбрать, а в том, какую культуру создать. Культура Нового Израиля еще не создана, она впереди, и в распоряжении тех, кто решил заняться ее строительством, есть лишь Великое Предание (ядро) и груды материала.

Что же это за материал? При ближайшем рассмотрении оказывается, что это вся мировая культура в том виде, в каком она ныне пребывает, отчасти недоразвившемся, отчасти загнивающим,

мало упорядоченном и не до конца понятном. Израиль может, если захочет, заняться сооружением мировой культуры.

Собственно, а почему нет? Такая постановка задачи звучит, если задуматься, не так уж дико. Прежде всего для этого есть глубокие исторические (и символические) основания: евреи написали Библию. Кроме того, еврейская мысль всегда оказывала, скажем, на европейскую мысль заметное (хотя и разное по интенсивности, смотря по эпохам) влияние. С другой стороны, опыт жизни в других культурах колоссально обогатил евреев как абстрактных носителей культуры. В конце концов, ведь предполагает же еврейский мессианизм, что в конце времен все будут как евреи.

Именно в этом контексте и понимает свое еврейство как общечеловечество Илья Рубин. В эссе "К вопросу о нашествии марсиан" эта доктрина чувствуется весьма сильно. Рубин дает в ней интерпретацию антисемитской мифологии и вполне прозрачно намекает на ту реальность, которую в извращенной форме эта мифология отражает. Народы приписывают евреям тайную цель. Каждый народ на этом основании считает евреев чуждыми себе. Причем ощущение этой чуждости парадоксальным образом усиливается по мере ассимиляции евреев. Именно их способность проникнуться опытом чужой культуры пугает больше всего. Что ж, думает Рубин, все это, в общем, так и есть. И цель у евреев есть. И любую культуру они осваивают, присваивают и развивают, умея при этом сохранить нечто очень важное от своей собственной. Все это — свидетельство того общечеловеческого, чего нет изначально в других народах. Разумеется, каждый народ может в принципе проникнуться общечеловеческим духом, но в евреях этот дух изначален. Факты еврейской истории неплохо ложатся в эту схему.

Ничего не скажешь — гордая, если не высокомерная точка зрения. Но вот что пишет Рубин в эссе "Русскоязычная книжная культура и алия": "Только творчески используя все богатство русской и европейской культур, еврейская религиозность и еврейский национализм смогут реально противостоять натиску коммунистического атеизма и христианского космополитизма".

Надо отдать должное Рубину: он ставит задачу, необычайно сложную не только для выполнения, но и для понимания. Ибо ассимилировать чужие культуры для того, чтобы избежать космополитизма... Надо обладать большим хладнокровием и интеллек-

туальной смелостью, чтобы не отмахнуться от этой задачи как от абсурдной. Можем ли мы назвать еще какую-нибудь националистическую концепцию, которая хотела бы укрепить себя, используя культурное наследие других народов? А ведь при этом Рубин остается и националистом, и сионистом, хотя быть может некоторые версии сионизма и не сочтут возможным для себя солидаризироваться с подобным подходом.

Можно предположить, что стремление Рубина укрепить позиции русской культуры в Израиле проистекает из того, что ему самому и его друзьям не слишком уютно в Израиле без привычного с детства русского языка как интеллектуальной среды. Безусловно, этот неуют — один из импульсов. Но это всего лишь импульс. Задача ставится не плоско. Рубин много пишет в этом эссе о недостатках государственной культурной политики в отношении русскоязычной алии. Его заботит психологическое состояние алии и ее будущее. Но совершенно очевидно (даже в одном приведенном его высказывании), что он выходит далеко за рамки простых прагматических забот о хорошем книжном рынке для себя и своих товарищей по возвращению из диаспоры. Рубин — “проблемист”, и тяжелый культурно-бытовой опыт толкает его к постановке проблемы над этим опытом, а не затягивает в трясины поисков бытовых решений.

Таковы исходные доктрины, вдохновляющие поиски Рубина. Теперь обратимся к некоторым образцам его творчества, чтобы посмотреть, как он сам строит культуру, в которой ему интересно и в которой он собирается жить.

Но сперва придется еще раз напомнить о специфических условиях, в которых происходило обращение русских интеллектуалов к еврейству. Плохое знание иврита и идиш и, как правило, очень слабое знание других европейских языков затруднили для них “вживание” в традицию и историю евреев. Казалось естественным в этих условиях обратиться к Библии. Без Библии все равно нельзя было обойтись. Но резкое преобладание Библии над другими возможными вспомогательными средствами оказало серьезное влияние на культурную эволюцию “возвращенцев”. Благодаря преобладанию Библии путь к еврейству оказался для них путем из советской культурной пустыни в мир религиозной символики, этических абсолютов, традиционной мудрости и высокой трансценденции — по преимуществу.

Сто лет назад, чтобы стать евреем, нужно было уйти в гетто.

Теперь, чтобы стать евреем, нужно покинуть те гетто, в которые добровольно заточили себя так называемые нации. В том, что Израиль возродился на фоне кризиса национализма и явных признаков рождения мировой культуры, можно видеть руку судьбы. Имеющий глаза — да видит.

В двух своих важнейших поэтических эссе И. Рубин занят "наложением" образной фактуры Библии на образную фактуру текущей истории. В эссе "Кто был никем" он интерпретирует коллизию "Каин — Авель" и коллизию "Моцарт — Сальери" (в версии Пушкина). Это удивительно сильное поэтическое произведение поражает богатством содержания и необычайной эффективностью поэтического метода достижения смысла. Рассмотренные Рубиным ситуации оказываются параболами друг к другу, и благодаря их наложению яснее проступает смысл обеих.

Эссе интересно в двух отношениях. Оно наглядно показывает нам, как человек русской культуры использует свою глубокую принадлежность к ней (и соответственно ее тонкое понимание) для того, чтобы выйти к "еврейству". Но также сопоставление двух коллизий показывает, что и Пушкин, который, вероятно, сознавал их аналогию, двигался в том же направлении. Благодаря тому, что Пушкин ситуацию "Моцарт — Сальери" интерпретирует сам, мы легче можем понять смысл ее библейского аналога. Благодаря сведению пушкинского сюжета к библейскому мы можем лучше оценить чрезвычайно общий смысл пушкинского сюжета. Благодаря тому, что через Моцарта и Сальери Авель и Каин "переносятся" в совершенно конкретную обстановку рубежа XVIII—XIX века, мы понимаем, какой именно актуальный смысл мы можем извлечь из древней легенды.

Содержание конфликта в обоих легендарных сюжетах и конфликта нашего времени Рубин толкует следующим образом: имеет место бунт обделенных Богом против отмеченных Богом, бунт против произвольного (с точки зрения человека) неравенства. Рубин считает этот путь ложным. Тот факт, что Каин становится на этот путь, собственно и подтверждает, что Бог был прав, когда обошел его стороной. Благодать не была ему дана, потому что он ее не заслужил.

Каин и Сальери поступают так, как они поступают, потому что они рационалисты. Поэтому для них важна земная справедливость, а благодать, снисходящую на немногих, они считают несправедливостью. Вот что пишет Рубин: "Каин понимает, что неравенство

между ним и братом неустранимо, потому что имя ему — прихоть Божья. Но и бездействовать он не может, — ибо земная справедливость, ее бездуховная мстительность, ее мертвая пустая оболочка важнее для него безусловности истины, ее кажущейся немотивированности, сквозь которую не в силах проникнуть его убогий разум”. И далее: “Но рационалист Сальери не может не рассуждать, он не может не быть логичным. Он в высшей степени наделен качеством обращать в предмет философствования все, с чем сталкивается его извращенный, искусный разум. И камнем преткновения, о который разбивается это философствование, является неразрешимое (в системе ценностей, действующих для Сальери) противоречие между человеческой справедливостью и Божеской благодатью”.

Рубин нашел свежий и сильный поэтический аргумент против рационалистической этики и в пользу абсолютной этики.\* Мне кажется, это удалось ему потому, что он занимался решением специфической культурной задачи. Лучшие аргументы приходят в голову не тогда, когда мы изо всех сил стараемся их придумать, а рождаются из нашего опыта.

В другом эссе “Евреи: первородство или чечевичная похлебка?” Рубин использует историю Иакова и Исава для того, чтобы пояснить феномен социализма с той стороны, которая представляется ему самой важной. И опять: библейская легенда бросает свет на современную историю и в то же время сама становится для нас яснее, будучи “наложенной” на близкую нам реальность.

Характерно, что рассказав сперва историю Иакова и Исава, Рубин спрашивает: “Не правда ли — странная история?”. Любой неопит, не воспитанный на Библии, да и большинство воспитанных на ней согласятся, задумавшись. История действительно выглядит нелепой. И Рубин, когда начинал, скорее всего тоже искренне недоумевал. По ходу эссе он, собственно, воспроизводит свой процесс понимания. Вывод, который он делает: “мышление Исава — прототип социалистического мышления”, самая важная черта которого — “антиисторизм”. Антиисторизм социализма, по мнению Рубина, заключается в том, что “социализм все приносит в жертву сиюминутной данности. Процесс погружения в социализм есть процесс выпадения из истории”.

---

\* Обратим внимание на рационалистический характер националистической этики. Рубин пытается соединить еврейский национализм с абсолютной этикой, и это — новое в национализме и специфическое в еврействе.

Антиисторизм действительно свойствен нашей эпохе. Проявления его многообразны. В частности, утрата чувств долгосрочной перспективы и приоритет сиюминутной потребности связаны с утратой ощущения глубины времен — тут Рубин прав. Связав антиисторизм с социализмом, он, на мой взгляд, поступил произвольно. Но в данном случае это неважно. Важно то, что Рубин опять сумел продемонстрировать необычайную продуктивность библейской параболы для понимания современной культуры и для ее оценки.

Рубин сумел показать не только моральную, но и познавательную и литературную актуальность Библии. Впрочем, может быть, он не просто показал актуальность Библии, а **сделал** ее актуальной. Скорее всего именно так. И это еще значительней. Потому что в этом случае за его поэзией стоит не изобретательность профессионального литератора, а воля к культуре. Рубин “мобилизует” библейские сюжеты.

Эссе Рубина обладают большими литературными достоинствами. В русскоязычной литературе уже давно не извлекался такой значительный эффект из библейских сюжетов как “тематических метафор”. И это несмотря на то, что множество авторов украшает свои произведения многочисленными реалиями из Библии и примыкающей к ней религиозной философии. Беда в том, что, как правило, вся эта “христианская древность” используется попросту как патентованное средство декорирования текста или (в лучшем случае) как демонстративно выбираемый контекст, куда автор помещает свою поэтическую личность, выражая таким нехитрым способом свое неприятие современности. Пустая риторичность античной и исконно-христианской лексики и фразеологии только компрометирует неиссякаемый источник той правды и мудрости, которые заключены в древней литературе, и способствует их превращению в “интеллектуальный товар”, завершая, таким образом, эпоху секуляризации невольной пародией на саму секуляризацию. Поэтический успех Рубина объясняется тем, что работа с Библией имела для него живой смысл. Работая с Библией, он решал проблему собственного культурного становления и вместе с тем чувствовал, что решает объективную проблему создания вполне конкретной культуры не только для себя.

Этот успех особенно бросается в глаза при сравнении с другим повторяющимся в его творчестве мотивом. Этот мотив — подставка себя на место русских поэтов. Судьба русских писателей,

поражающая нас жестокой жертвенностью, как бы "примеряется" на собственную судьбу, а собственная биография до некоторой степени "разыгрывается" по их образцу. Мотив — весьма распространенный в сегодняшней русской литературе, особенно в независимой. В сущности, для авторов, наигрывающих этот мотив, все дело сводится к тому, чтобы представить себя своего рода "моральными заложниками" полицейского государства. Выгоды этой поэтической позы очевидны. Творческая продуктивность — чрезвычайно сомнительна.

Не избежал этой тенденции и Рубин. Среди его стихов много таких, где он "примеряет" на себя, например, судьбу Пушкина, Маяковского и других жертв русского и советского общества.

Разыгрывание уже однажды сыгранных ролей в исторически совершенно новой обстановке почти не позволяет избежать фальши. Единственный способ достичь какой-то художественной значительности на этом пути — экстремистское нагнетение эмоциональности. Этот путь доступен лишь очень эмоционально интенсивным натурам, способным впасть в талантливую истерику. Возможно, кое-кто достигнет на этом пути исполнительского успеха — техника этого дела уже неплохо освоена. Но путем литературы этот путь стать не может. "Переживания в слове" не могут заменить движения культуры.

Рубин слишком склонен к размышлению и конструированию — при всей его эмоциональной одаренности. Его стихотворения в тональности "русской социальной драмы" звучат неудовлетворительно и даже неловко.

Вот, на мой взгляд, пример такой неудачи:

И поднимает руку фрак.  
В руке старинный пистолет.  
А перед ним маячит враг.  
Так начинается балет.

Так начинается игра,  
Которой не было конца.  
Она уходит во вчера  
Беспечной гибелью певца.

Еще играть готовы все,  
И до антракта далеко.  
И вдруг усталый режиссер  
На землю падает легко...

и т. д.



Перед нами еще одна попытка сыграть “роль” Пушкина. Кажется, теперь нет в России поэта, который не поупражнялся бы в этой роли. Энтузиазм поэтов, рвущихся хотя бы минуту побыть в этой роли, сопоставим разве что со рвением актеров государственных театров, стремящихся во что бы то ни стало дослужиться до роли Ленина.

Наведенная тематика, наведенный пафос, наведенные чувства. Имитация “телеграфного” стиля, смешанного со стилем театральной ремарки или раскадрованного сценария, лишь маскирует театральное кокетство позы. Но кокетство все же “выскакивает” во многих местах, например, в манерном употреблении “режиссер” вместо нормального “режиссер”.

А вот совершенно другой и, как мне кажется, правильный Рубин:

В Бухаре, в еврейском переулке,  
Где ночами боязно ходить,  
Реквием на глиняной свистулке  
Начинает ухо выводить.

В этом сонном городе жестоком  
Я забыт, как древний мавзолей,  
Я забыт и возвращен к истокам  
Глинобитной памяти моей.

От тех времен, которые вызывает в своей памяти Рубин, не осталось нам, кажется, ничего, кроме абстрактных схем, едва прикрытых нежирным мясом библейских фабул. Иакову и Каину не требуется сопереживать. Еще нужно их понять, как и саму схему, на которую они нанизаны. И процедура понимания превращается в полноценное творчество, держащееся на том, на чем ему только и можно удержаться: на мысли и ее движении.

Рубин едва ли достиг и сотой доли того пути, на который встал. Быть может, виной этому была несправедливо ранняя смерть. Быть может, этот путь так далек, что нужно несколько раз умереть и родиться, чтобы дойти до его конца. Быть может, этот путь на самом деле никогда не кончается. А, может быть, все намного проще, и его просто удерживал русский язык, единственный, на котором он мог полноценно думать. Но то, что ему пришлось в голову на этом языке, заслуживает того, чтобы стать достоянием тех, кому сейчас удобнее думать на иных языках.

К этому хотелось бы добавить следующее. Алия просит и требует у израильского государства большего внимания и помощи.

Это естественно и закономерно. И Рубин высказывался по этому поводу. Но вот что важно. Он не только просил о помощи, он работал сам.

Государство может помочь, а может и не помочь. Можно ли допустить, чтобы судьба культуры зависела от государства, его предполагаемой мудрости или предполагаемой глупости? В любом случае его помощь будет бытовой, помощью, так сказать, телу. Культуру должны делать те, кто испытывает в ней необходимость. Они делают ее для себя. Их способность к культурному строительству гораздо больше, чем это иногда думают. Творчество Ильи Рубина — яркое свидетельство этой способности.

*О. Кустарев (псевд.) — ученый и литератор, живет в США; в "22" публиковался его рассказ "Кристина", эссе о Лимонове и ряд других произведений.*

## НОВЫЕ КНИГИ

издательства Overseas Publications Interchange

Лев Друскин

### СПАСЕННАЯ КНИГА

*(Воспоминания ленинградского поэта)*

Судьба автора — неординарна. Полиомиелит, поразивший Друскина в шестимесячном возрасте, навсегда приковал его к постели. В 12 лет он стал победителем конкурса "молодых дарований" — его поэтический дар признан, он становится активным пропагандистом счастливой советской жизни.

Спасенная книга — проза, удачно включающая стихи — это рассказ о прозрении советского поэта. В книге множество портретов — острых, хотя всегда без злобы — советских писателей, в том числе чукотского классика, Юрия Рытхейу (соседа по квартире). Книга написана живо, легко. 410 стр., 6 ф. ст.

Виктор Некрасов  
САПЕРЛИПОПЕТ

*или*

### ЕСЛИ Б ДА КАБЫ, ДА ВО РТУ РОСЛИ ГРИБЫ

Это книга очень своеобразная. Некрасов смешал размышления, воспоминания, фантастические предположения и получил исповедь советского писателя. Некрасов, лауреат Сталинской премии, сейчас эмигрант в Париже, никого не упрекает, никого не обвиняет, но в то же время он безжалостно и беспощадно изображает жизнь советского писателя.

Повесть написана просто, очень откровенно и убедительно, читается с большим интересом.  
112 стр., 4 ф. ст.

Во всех русских книжных магазинах  
и в издательстве

Overseas Publications Interchange LTD  
8, Queen Anne's Gardens, London W 4 !TU, England

“Пьеса производит впечатлени-  
е жестокого антисемитизма”.

Из газет.

“Говорить, что моя пьеса  
антисемитская, по меньшей  
мере, смешно”.

Юшкевич

Никакие комплексы Геростра-  
та, безусловно, не обременяли,  
мыслил он примитивно, к цели  
своей шел прямолинейно: любим,  
хотя бы преступным способом,  
но — прославиться. И того до-  
бился: пусть вот уже два тыся-  
челетия просвещенное человече-  
ство его прокликает (храм Дианы  
невозстановим) — имя его все-  
таки в историю вошло.

Соломон Юшкевич (1868—  
1927) негативной известности, ко-  
нечно, не добивался. Он считал,  
что сделал много нужного, по-  
лезного. И действительно — сде-  
лал. Но если в еврейско-русскую  
литературу он и вошел, то все-  
таки как персонаж, говоря рас-  
хожим языком, отрицательный.  
Храм своей Дианы он сжег не  
понарошке, — просто так вышло.  
Но не устроил он этот пожар, —  
возможно, и не вспомнили бы  
его. А вот ведь: помним, пом-  
ним. И уроки извлечь пытаем-  
ся. Обдумываем: а стоило ли  
повторять “подвиг” — тот, дав-  
ний, греческий? И за содеянное —  
лавры ли венчали чело его, шипы  
ли кололи? Разобраться бы...

*Виктория Левитина*

### **СТОИЛО ЛИ СЖИГАТЬ СВОЙ ХРАМ...**

Глава из подготавлива-  
емой к печати монографии  
“Еврейский вопрос и русский  
театр”.

Может быть, это и несправедливо, но как многое на свете — бывает: богатая творческая индивидуальность только какой-то одной своей ипостасью заинтересовывает современников и, возможно, потомков. Той гранью, которая представляется или особенно своеобразной, или особенно типичной.

Юшкевич был, безусловно, талантливым писателем. В том, что он написал, много и яркого, и самобытного, и колоритного. Но все это отошло на какой-то десятый план, потонуло в более значительном — в той общественной проблеме, которую поставило его творчество: взаимоотношений художественной личности и народа. Это не просто интересно: поучительно.

Безусловно: нет ни одной стороны жизни народа, которую злая мачеха — ассимиляция не искорежила бы. Она заставляла приспособляться к себе во всем: в понимании смысла бытия и человеческих взаимоотношений, в требованиях и потребностях, в образе жизни и привычках. Она искажала психологию народа вообще и наиболее восприимчивой его части — интеллигенции — в особенности. Что уж говорить об интеллигенции художественной! Широкий спектр жертв ассимиляции: от чуть-чуть сомневающихся до полностью отказавшихся, от — под ее ударами — пригнувшихся до — под ее ударами — распластавшихся.

Насилие... Одних оно побуждало к сопротивлению, и — неподдающиеся, негибкие — нацию сохранили. Других оно побуждало к компромиссу, отречению от себя, в итоге — к идее самоуничтожения. Нацию губили — эти. Мощная струя насилия вымывает самое ценное — зерна национального самосознания, хотя и оставляет видимость национальной сопричастности. Вместе с утратой внутренней национальной сущности исчезает способность к оценке мира с истинно национальных позиций. Мера вещей смещается: то, что для себя, — гримаса страдания, для других — гримаса издевки. Несовпадение представлений? Нет, трагедийность взаимно несводимых понятий. Юшкевич был убежден, что действует во имя своего народа, окружающие — что он действует против него. И чем пламеннее доказывал он всем (а может быть, прежде всего — себе) собственную правоту и чем более страстно доказывали оппоненты ошибочность его взглядов, тем очевиднее становилась бессмысленность диалога (немного с глухим): не трещинка непонимания; а — идейный раскол, не спор единомышленников, а — конфликт противников.

В парадоксальности ситуации — поучительность исторического

опыта. Если он не вовсе бесполезен для настоящего — есть смысл воскресить прошлое.

Нищеты не должно быть!  
С. Юшкевич.

Литература призвала его бесповоротно: предшествующий путь без сожаления перечеркнут, последний курс Сорбонны — покинут. На тропу искусства новобранец, вышел без особой подготовки, но во всеоружии веры: то, что он имеет сказать людям, знать им — необходимо. Проницательный критик, Короленко впоследствии признавал свое первоначальное категорическое суждение (“Едва ли беллетристика может стать Вашей профессией”) поспешным. (“Юшкевич. Моя ошибка”). Начинаящего писателя оно, конечно, огорчило, но отступить не заставило. Он продолжал писать с фанатизмом одержимого. И в конце концов добился: его ранняя проза была воспринята как двойное открытие: и нового мира, и нового таланта.

Новый мир — это еврейская нищета. “Нищеты не должно быть”, — об этом вопиют, но тщетно, герои Юшкевича: ремесленники, рабочие, безработные, копейные торговцы, незадачливые дельцы. Борцы? Почти никогда. Всегда — жертвы. Нищета сгоняет в большие города. Большие города плодят нищету. Нищета толкает на потерю нравственных императивов, на разврат (еврейская проституция — открытие Юшкевича), на преступление, на отказ от святости, на уничтожение в человеке человеческого. Нищета вырабатывает чудовищную философию эгоизма и бессердечия, заставляет хоть по трупам (это уже неважно) карабкаться к собственному благополучию. Нищета как избавительницу призывает смерть.

Он пишет с яростью и страданием. Не социальные трактаты: жизнь. Это безжалостно, но достоверно. В этих “просто картинах” — единая мысль: современное социальное устройство — величайшее зло, оно — антигуманно.

Но в некоторых ранних беллетристических вещах (это важно, это оставим в памяти) присутствует не только это мрачная, горькая тема народа, загнанного в угол, лишённого всего, кроме права на нищету. В них подчас прорывается и другая идея — национальная. И звучание ее — совсем иное.

Разумеется, для тех, кого манит только богатство, для отравленных собственностью, для мещан, для духовно убогих национальная идея, мысль о собственном государстве — смешная безрассудная фантазия. Но для обделённых, для тех, у кого нет ничего, она — великое духовное богатство, неумирающая мечта, во мгле сияющая звезда.

Конечно, то, что мысль о национальном возрождении попадает в прозу

Юшкевича — не случайность: призыв Герцля, сионистские конгрессы всколыхнули все русское еврейство; идея эмиграции витала в воздухе.

И еще запомним: симпатии автора нескрываемы. Именно в простом народе сохранилось и человеческое и национальное достоинство. Эти люди согласны ехать куда угодно — в Аргентину, в Америку — только бы вырваться из страны, где “режут евреев”, только бы почувствовать себя равными среди равных (“У кого, Роза, имеется хоть кусочек еврейского сердца в груди, — тот тут не останется”).

Сплетение социального и национального начала, характерное для ранней беллетристики Юшкевича, с наибольшей яркостью проявилось в его самом масштабном прозаическом произведении — в повести “Евреи” (1903 г.). Судьба русского еврейства предстает здесь как прямое следствие трагедии рассеянного в мире, лишенного родины народа; его отчаянное положение усилено глубочайшими пороками государственного строя. Спор идет между приверженцами классового (марксисты) и национального (сионисты) подхода к решению еврейского вопроса. В центре — духовное становление личности через осознание ею общего хода исторического процесса и своего места в нем. Запоздалое смятение героя-марксиста, гибель его иллюзий — это крушение трагического самообмана (кстати, характерного для многих со времен Гаскалы).

По своему звучанию вещь эта — пафосная, страстно гражданственная.

По большому, мрачному, как осенняя туча, камню с редкими прожилками ударили кувалдой. Брызнули осколки: разные по величине и форме, одинаковые по составу. Так с ранней прозой Юшкевича. Его рассказы, повести — коротенькие или длинные, удачные или нет — всегда имеют один “состав”.

Везде — социально и национально однородная среда: только евреи, только бедняки (одни — уже упавшие на самое дно ямы, другие — еще судорожно цепляющиеся за ее обваливающиеся края); страдают от бедности, от притеснений. Ищут выхода: то ли социального, то ли — национального.

Эти два пласта — величайшей несправедливости по отношению к еврейскому народу и его активных духовных поисков — перемешиваются, образуют единый сплав.

В художественном творчестве чужая идея — не идея: она может плодоносить, лишь когда станет собственной, пройдет через сердце автора, впитается в его кровь. Социальное неравенство и национальные преследования, известные тысячелетиями, Юшкевич открыл для себя заново. И на борьбу со злом бросился с жаром первооткрывателя. То, что он видит, — страшно. Он чувствует себя на огромной пустой площади, люди куда-то попрятались, их необходимо собрать, поднять на борьбу. Шептать бессмысленно,

никто не услышит, и он кричит, кричит, до крови разодрав рот, захлебываясь словами, они корявы, ему не до гладких периодов и красивых сочетаний, он взывает к разуму, к человечности: так продолжаться не должно! Он требует изменений, решений: время давно пришло!

Его чувства бурны, негодование — безудержно, экспрессивно, страстно: водопад, низвергающийся с неодолимой высоты.

Ситуации взяты в высочайшей степени концентрации; зерно вылущено, очищено, подставлено под увеличительное стекло, видна каждая клеточка: если есть совесть — не примиряйтесь, не молчите, действуйте.

Насыщенность его прозы внутренней трагедийностью настолько велика, что логичен ее “перевод” в другой жанр — драматический.

Люди, почему мы должны страдать?  
С. Юшкевич

До предела напряжена, внутренне чрезвычайно конфликтна уже первая пьеса — “Голод”. Это парадоксально, потому что драматический нерв ее не персонифицирован в схватке персонажей. Он — в схватке человека с тем, что наступает неумолимо и безжалостно: с нищетой, голодом, смертью, с самой судьбой. Нарастающий внутренний драматизм естественно выливается в кульминацию: гибель семьи.

Однако бедность в “Голоде” выступает не как неизбежное следствие исторической судьбы еврейского народа, а как часть общей трагедии страждущего, угнетаемого человечества, часть, взятая вне национальных категорий. Так получилось, что в первой еврейской пьесе национальная идея растворилась в классовой.

“Голод” был первым шагом, в последующих пьесах все сильнее будет звучать тема социальная, постепенно исчезнет — национальная; мысль писателя потечет по руслу противопоставления национально однородных, но классово разнородных элементов.

Ожидавшую пьесу судьбу автор предвидел (“Сейчас заканчиваю еврейскую пьесу. Вышла очень нецензурной”). И действительно: запрещенная цензурой (“Пьеса производит потрясающее впечатление, картины голода и страданий нарисованы мастерской рукою, без грубых внешних эффектов, и тем еще усугубляют силу протеста против существующего строя, которым дышит вся драма”, — доносил цензор), пьеса так и не обрела сцены.

Но это ложь, наглая ложь, выдуманная ложь. Евреи не такие, как вы их представляете, г-н Юшкевич!  
Из рецензии

Тот спор, который происходил в душах героев Юшкевича, происходил — и это видно — в душе самого писателя. И тут, и там постепенно, но неуклонно одна идея — социальная — вытесняет другую — национальную. Возможно, что этому способствовало сближение с горьковскими кругами, с горьковским издательством, где Юшкевич печатался (пиетет перед Горьким сохранился у Юшкевича до последних дней. Это — любовь без взаимности: письма Юшкевича Горькому полны восхищения, преданности, которую, если б не безусловная искренность, можно было бы принять за лесть. Отзывы же о Юшкевиче Горького насмешливы, ироничны, подчас враждебны).<sup>1)</sup>

Пьесы Юшкевича — это картина постепенного, но полного ухода от национальной идеи. Более того — непонимания ее.

Вот например, "В городе" (1906 г.). Внимание автора приковано к психологическим последствиям нищеты: сердца озверевшие, ожесточившиеся, и сердца истрадавшие, ставшие пассивно-безразличными, и сердца, еще пылающие огнем праведного негодования, несдающиеся. Героиня, жена прежде мелкого служащего, а теперь безработного, Дина Гланк идет буквально по трупам членов своей семьи. У Дины одна цель — деньги. Ее философия — жесточайший эгоизм, оправдывающий любую подлость. Драматург отказал ей в психологических изгибах и создал однолинейную фигуру, чтоб она воспринималась как некий социальный монолит.

Соответственно, и театральные воплощения пьесы (в петербургском театре Комиссаржевской — режиссер Мейерхольд, в московском театре Корша, в некоторых провинциальных театрах), при всей несхожести режиссерских ее решений, одинаково выдвинули на первый план проблему не сценическую. До тех пор даже писатели-антисемиты не решались посягнуть на еврейскую семью. Она считалась неприкосновенной святыней, пользовалась такой репутацией чистоты, внутренней спайки, крепости, взаимной привязанности ее членов, что из опасения показаться уже совсем неправдоподобным в эту святыню не вторгался, ее не пачкал никто. Но произошел горестный парадокс: это сделал драматург-еврей. Не еврей-режиссер, который ставил бы своей целью очернить народ, к которому некогда принадлежал, а еврей, который писал об еврействе с болью и страданием. В сущности Юшкевич растоптал еврейскую семью. Он показал еврейскую мать как изверга, как исчадие ада. Русские критики растерянно разводили руками, евреи обвиняли автора в клевете. Так получилось: пьеса об еврейской бедности из-за покрывшего ее своим черным крылом образа героини, — озверевшей, потерявшей человеческий облик, но как бы представлявшей все еврейство, — вызвала не сострадание к тяжкому положению народа, а неприязнь к нему.



Если в "Голоде" еврейские персонажи своими мучениями вызывали глубокое сострадание, то еврейка-героиня новой пьесы вызывала — отвращение.

Здесь впервые разоблачительный пафос Юшкевича, направленный против системы, помимо намерений автора приобрел антинациональную окраску. Впрочем, протесты и недоумения по поводу двусмысленного национального звучания пьесы были еще редкими. Неизмеримо настойчивее прозвучали они по поводу "Короля".

"Говорить, что моя пьеса антисемитская, по меньшей мере смешно", — возмущенно заявил Юшкевич. Но это не было смешно: страшно. Ибо еврейский капитализм и его семья показаны тут в таком же резко отрицательном свете, в каком представляли герои антисемитской литературы: они — объект сатиры, насмешки, ненависти автора. Они развращены золотом, они духовно ничтожны.

В "Короле", как и в "Голоде", есть жертвы, но появились и палачи: те, кто в "Голоде" оставались невидимками, теперь обрели плоть. Тут драматург столкнул антагонистические классы в открытой непримиримой борьбе. Он буквально во всем противопоставил их друг другу: у бедных — высокая мечта о великом будущем людей, взаимная поддержка, человечность; в богачах ничего, кроме жажды собственности, эгоизма, античеловечности. Это резкое противопоставление сохранится и в дальнейшем, но такой прямой конфронтации, как здесь, автор больше не допустит.

Первоначально "Короля", ввиду революционности его звучания, для представления запретили. Однако веселый премьерша Александринского театра М. Савина облюбовала для себя одну эпизодическую роль и, совершив невозможное, добилась пересмотра цензурного решения.

"Короля" ставили разные театры, отзывы же — однообразны. "Изюминку" пьесы они видели в национально-еврейском начале: в национальных чертах, якобы непременно присущих персонажам — внешность, говор, манеры. Их-то театры и подчеркивали. Таким образом в классовой драме для театров оказалась важной не ее социальная основа, а те моменты, которые ими считались выигрышными в сценическом отношении: поверхностно понятый национальный колорит.

Разумеется, это искажало мысль автора, кренило спектакль в несвойственную ему сторону. Однако было в спектаклях другое, более важное, что шло уже не от театров, а от самой пьесы: авторская манера изображения центрального героя и большинства членов его семьи. Если б нужно было в букваре для маленьких детей нарисовать бяку-капиталиста, то изобретать ничего не надо было бы: следовало бы только скопировать Гроссмана — такого, каким его написал Юшкевич. Как и Дине Гланк, драматург не оставил Гроссману ни одной человеческой черты: жестокий, холодный, к людям равнодушный, он глух ко всему, что не есть деньги, что не есть власть; ему нужно чувствовать себя хозяином, от которого зависят, которому покорны, от которого не смеют требовать. Он — олицетворение эксплуататора, классового врага. Этим все содержание образа исчерпывается, потому, что он — не живой персонаж, а схема. Правдивые русские художники XIX века боролись против такого фальшивого освещения еврейства. И вот

в XX веке, когда войну эту можно было считать выигранной, когда еврей-ростовщики, кровопийцы уже почти не появлялись на сцене, когда каждое такое появление вызывало резкое противодействие не только еврейских, но и прогрессивных русских кругов, — появляется пьеса, написанная евреем, в которой он как бы поворачивает литературный процесс вспять.

В кулуарах Александринского театра в вечер премьеры говорили не столько о спектакле, сколько об... антисемитизме пьесы, о том, что именно благодаря этому начальство допустило ее на образцовую сцену. Антисемитский дух, исходивший от самой пьесы, театром был усилен. Он должен был повернуть острие революционности пьесы на евреев. Увлечение театра внешними, якобы еврейскими чертами недвусмысленно указывало на то, что речь идет об эксплуататорах-евреях. И чем больше утрировали они "еврейскую специфику", тем полнее получался национально-отталкивающий эффект: зритель не мог не делать антисемитских обобщений, так как они напрашивались сами собой.

Так еврейский драматург под флагом социальной драмы преподнес пьесу, которая обернулась антисемитскими спектаклями. Пусть стремления оклеветать еврейство, вызвать ненависть к нему у писателя не было. Его субъективные намерения не так уж важны. Важно, что его изображение евреев полностью совпало с расхожим представлением о них. Таким образом Юшкевич вызывал, подогревал антисемитские настроения. Пуля, выпущенная во врага, в своем неуправляемом полете поразила того, кого должна была защитить: еврейский народ.

Предупреждающе-тревожный звонок, который впервые раздался по поводу образа Дины Гланк и к которому Юшкевич тогда не прислушался, сейчас прозвучал с гораздо большей настойчивостью. Однако драматург отказался услышать его и теперь.

Если хочется осмыслить все, писателем сделанное, каждую его вещь, и с болью, "за неимением места", от чего-то отказываешься, — такая ситуация естественна. Но с Юшкевичем — наоборот: нет позыва разглядывать каждую его пьесу, появившуюся вслед за "Королем". Их следует проглотить залпом, одним махом, все вместе, как проглатывают, зажав нос, большим глотком, горькое и дурно пахнущее лекарство. Позыва нет потому, что они удручающе однообразны. Не сюжетами (кому они важны), а — подходом. Все они — только иллюстрации одной примитивной мысли, стертой, как заношенная рифма: **еврейская буржуазия — исчадие ада, она — причина несчастий народа.** В последующих пьесах Юшкевич живописует еврейского ростовщика (сидит на миллионах, питается сухими корочками); еврейский супружеский разврат; еврейское лицемерие и хитрость. И везде — деньги, власть, эгоизм, тщеславие. Еврейская принадлежность отрицательных пер-

сонажей подчеркивается всемерно. Самые отвратительные из них получают святые для еврейства имена Мендельсона, Гейне.

Как могло получиться, что прогрессивные круги России резко отрицательно отнеслись к антибуржуазным пьесам? Парадокс объясним: новые пьесы Юшкевича производили впечатление еще более антисемитское, чем "Король". Это был путь неуклонного падения, которого не замечал только один человек: сам автор.

Появление каждой из этих пьес на сцене становилось скандалом, который уже ожидался, к которому были почти готовы, но который, тем не менее, каждый раз вызывал возмущение.

Печать обвиняла драматурга в том, что объективно он делает позорное дело воскрешения еще неискорененных предрассудков.

Эти упреки вызывали отчаянные опровержения Юшкевича: его, мол, интересует современный человек вообще, а пользуется он материалом из жизни еврейского народа лишь потому, что знает только его; он подчеркивал социальное начало своей позиции: мир подчинен деньгам, он, писатель, пишет "против класса, а не против народа, который по существу, чужд этому своему классу".

Неубедительность этих доводов была очевидна. Юшкевич пытался изъять еврейскую буржуазию из еврейского народа, он не считал ее его частью. Но большинство русских такой дифференциации не проводило, для них еврей-буржуа и еврей-бедняк — прежде всего еврей, то есть одна нация, люди одного происхождения, одной религии и, конечно, одних пороков. Юшкевич считал, что критикует только класс. Он игнорировал то, что этот класс — часть определенной исторически сложившейся совокупности. И даже если этот класс исключить из понятия "народ", то он, класс этот, все-таки войдет, как элемент, в понятие "нация". Юшкевич игнорировал тот важнейший факт, что эта нация находится в положении обвиняемого и что он, еврей, в глазах врагов подтверждает их худшие обвинения.

"Деньги", поставленные одним второстепенным петербургским театром, были встречены публикой настолько враждебно, что автор сам вынужден был снять спектакль "для переработки". Успех "Комедии брака" (измены обнажают ложь семейной жизни) сравнивали с успехом рассказчиков "еврейских анекдотов": также скабрёзно, а внутренне — также юдофобски. В Москве, в театре Корша, центральную роль играл Б. Борисов. Чем сочнее он играл, тем более отталкивающим предстал еврейский буржуй Гольдман. И тем большим был эффект не классовой — нет, а национальной непри-

язни, которую он вызывал в зале: наглядно, зримо предстал тот самый "жид", против которого некогда предостерегал Суворин, на которого обрушивал свои поэтические филиппики Некрасов, которого ненавидел Достоевский, в котором русские "патриоты своего отечества" видели непосредственную угрозу России: сильный, беззащитный, наглый.

В еврейских кругах пьеса вызвала бурю возмущений. В Киеве было даже проведено специальное заседание еврейского литературного общества: выступавшие громили и пьесу, и автора. Н. Сыркин назвал ее и антинациональной, и антихудожественной. С. Цинберг указал, что источник позиции Юшкевича — полный отрыв от еврейской жизни. Юшкевич, конечно, защищался, заявляя, что это только сатира на еврейскую буржуазию. "Только"... Но сам-то он на премьере не был, из Москвы сбежал, опасаясь обструкции. Тем не менее, он заявил, что его неотъемлемое право — писать так, как он считает правильным, "как бы ни казались произведения мои вредными, с известной точки зрения, для народа". Так писатель, который свое еврейство подчеркивал, дошел до сознательного противопоставления себя народу, считая интересы последнего не имеющими отношения к искусству.

Антисемиты приняли пьесу с восторгом, требовали беспрепятственно ставить ее повсеместно, а Суворин даже мечтал поставить ее у себя (правда, у Юшкевича нашлось достаточно порядочности, чтоб отказать от ее постановки в этом самом антисемитском театре России).

Восприятие пьесы передовой общественностью — не только еврейской, но и русской — было еще одним тревожным звонком. Но и ему Юшкевич не внял. Следующая его пьеса "Бес" (1913 г.) легко и уже привычно покатила по уже проложенной дорожке: с точки зрения драматургической техники — такая же, как предыдущие: четкие характеры, обоснованно и живо развивавшееся действие, своеобразный язык. С точки зрения антинациональной тенденции — еще хуже, и ни с какой точки зрения — ничего нового. Сфера распространения "Беса" оказалась весьма ограниченной: ни один столичный театр пьесу не поставил, в Киеве она провалилась и задержалась только в Одессе, (но и там вызвала резкую оппозицию даже русской прессой). Получил распространение горький каламбур: более антисемитской пьесы, чем Юшкевич, не мог бы написать и Пуришкевич... Убийственное впечатление от одесского спектакля усугублялось тем, что шел он в дни суда над Бейлисом, когда еврейство всей России жило в напряженной тревоге: спектакль "подтверждал" все те пороки еврейства, о которых в это время кричали антисемиты, он "убеждал" уже одним еврейским именем автора. После крупного поражения, понесенного в результате оправдания Бейлиса, власти были заинтересованы в том, чтоб пьеса шла. К счастью, из этого ничего не вышло...

Трагизм еврейской жизни Юшкевич воспринимал главным образом, как результат классовой дифференциации еврейского народа, его **внутренних** социальных контрастов. Он был убежден: основа несчастий народа — существование еврейской буржуазии.

Мысль эта — ложная. Основа еврейской трагедии была в ситуации рассеяния, в конфронтации с враждебным окружением, в бесправии, в государственной дискриминации. Юшкевич не показывал еврейство в этом его основном конфликте, он его брал в самом себе, замкнутым, **внутри него** искал противостоящие силы, их столкновение делал движущей пружиной своих сатирических пьес. Разумеется, еврейство не было классово единым, но писатель переносил центр тяжести с главного конфликта — национального — на второстепенный — социальный. Еще совсем недавно, в "Голоде", показав еврейскую нищету, он разбил миф об еврейских богачах, из которых будто бы состоит народ. А теперь он, целиком сосредоточившись именно на еврейских богачах, превращал антисемитский миф в художественную реальность.

Создавая свои пьесы, он рассчитывал на русский театр, на русского зрителя. А реакцию именно этого адресата не учитывал, писал так, будто никакого антисемитского окружения не было.

Безусловно: художник имеет право и даже обязан бичевать недостатки своего народа. Но конкретность этой истины в том, что в данном случае резкая критика в адрес еврейства (пусть буржуазных его представителей) звучала **в условиях не нормальной жизни народа**, а враждебного окружения, когда любое критическое замечание в адрес евреев служило источником поддержания ненависти к ним. Враги еврейства кричали о засилии еврейской буржуазии, об еврейской эксплуатации, об еврейском ростовщичестве, — и Юшкевич выводил в своих пьесах целую рать банкиров, эксплуататоров, ростовщиков, да таких, которые дали бы сто очков вперед всем, вместе взятым "образам", намалеванным русской антисемитской драматургией.

Ссылки Юшкевича на Гоголя и других сатириков были несостоятельны: они работали в рамках нормального национального развития, их атака никем не считалась отрицанием национального существования русского народа, но только — отрицанием социального строя; те имели дело с суверенным народом, имеющим родину; сильным, угнетающим других (в том числе — евреев). А Юшкевич, обрушиваясь на представителей преследуемой нации, бил лежачего. Он игнорировал конкретную историческую реальность.\*

---

\* Разумеется, советские критики заявляют сегодня, что этими пьесами была недовольна только еврейская буржуазия, что ничего антисемитского в них нет. Но как антисемитские они воспринимались даже в советское время.

Юшкевич отвергал антиеврейскую направленность своих пьес, поясняя, что стремится создать такие образы, которые характерны для буржуазии вообще, т. е. классово универсальные. В то же время он постоянно подчеркивал — деталями быта, психологическими чертами, своеобразием языка, именами — именно еврейство своих персонажей. Конфликт между его намерениями и их художественной реализацией обнажал внутреннюю противоречивость его позиции.

Он так никогда и не понял, что его критика воспринималась как направленная не против класса, а против всего народа, что произведения, которые он создавал, надеясь сделать для еврейства благо, оборачивались для него злом. Уверенный, что его не понимают, он горячо отвергал обвинения в антисемитизме. Он был неспособен соразмерить силу своих ударов, предугадать их последствия, признать свою неправоту. Нельзя не видеть, что произведениям писателя-еврея, живущего в диаспоре, невозможно подходить с критерием чистой художественности. Главное: насколько они отвечают потребностям народа, облегчают или отягчают его положение, способствуют рассеянию или усилению антисемитизма, помогают или мешают ему в борьбе за национальное освобождение. С этой точки зрения роль антибуржуазных пьес Юшкевича была отрицательной.

Юноши и девушки, праздник жизни кончился! Закройте  
глаза мои черным покрывалом.  
С. Юшкевич

Когда виденье мира, людей, событий — под одним углом; когда взгляд, как луч (отклонения невозможны) фиксирован на одной точке; когда художественная индивидуальность, как дерево к

---

В этом смысле показателен следующий факт. В 1926 г. в СССР была издана книга Юшкевича "Эпизоды", высмеивающая поведение еврейских буржуа в период революции. Через два года один русский автор по мотивам этого произведения написал пьесу "Симка — Заячье Сердце". Казалось бы: пьесе, разоблачающей буржуазное мещанство, должен быть дан зеленый свет. Но она была запрещена с удивительной мотивировкой: "Может быть, было бы смешно и невинно показать страхи спекулянта, если б не опасения юдофобских настроений. Все действие происходит в среде евреев, поданных в стиле самого вульгарного анекдота. Весь юмор заключается в неправильной речи и еврейской глупости, трусости и жадности. Разрешать пьесу на потребу ржущего обывателя-антисемита — незачем". Так не еврейская буржуазия, а советский редактор, в годы, когда антисемитизм считался преступлением, запретил пьесу из-за ее — для него очевидного — антисемитского звучания.

солнцу, устремлена в одном направлении, тогда достаточно одного имени, чтобы цепь наших представлений мгновенно сомкнулась в не подлежащем сомнению определении (Шиллер — романтик). Это — случай наипростейший. Но бывает: многообразие подходов, взгляд — зигзагом, жанр — от темы. И тогда одно имя возбуждает длинную цепь ассоциаций, а прикрепленность к единственному жанру — невозможна. Юшкевич — не просто писатель: художественное явление. Причем — интересное со многих точек зрения. В частности тем, как разительно менялся его почерк: графолог встал бы в тупик.

Почувствовал ли Юшкевич, что его засасывает трясина самоповторов и ложно-направленного критицизма? Возможно. Во всяком случае выбрался он, ухватившись за ту опору, которая когда-то держала его на плаву: вернувшись к народным образам.

Эти два периода не отделены друг от друга непроходимой стеной, нельзя даже сказать, что второй наступил после завершения первого. Было сложнее: второй вызревал в недрах первого. Произошла рокировка: то, что прежде было на заднем плане — вышло на первый, что было главным — стало побочным. Как рудименты прошлого, "буржуазные" образы появляются и здесь, — но уходят на периферию, теряют свою силу, превращаются почти в водевиль: суть теперь — не в них.

Юшкевич "болел" не только социальными проблемами, — нет, не только ими. Он знал, что в сердце человеческом есть потаенные уголки, где вызревают "проклятые" вопросы и понимал: если ответов нет — трагический финал неизбежен.

Вот здесь, рядом, живет человек — его никто не замечает, все проходят мимо — как он одинок среди людей! И это чувство беспредельной отъединенности от всех — его убивает. Печальный лиризм — такова теперь атмосфера многих вещей Юшкевича: грубая жизнь ранит тонкие души его героев, они гибнут и — куда девался бьющий в барабан драматург! — теперь он едва слышным дыханием струн творит скорбный реквием покидающим жизнь.

Жизнь-смерть... В драме "Miserere" эта вечная проблема взята не в плане философской абстракции: персонажи подходят к ней как к самой насущной, первостепенной жизненной конкретности. Пьеса — о современности: о еврейской молодежи, о тех, кто еще недавно со всем пылом юного энтузиазма отдавался революционной борьбе, а теперь впал в беспросветное уныние. Любопытно, что если Юшкевич объяснял подавленное состояние еврейской молодежи ее общественным разочарованием после праздничного

настроения революционных дней, то Жаботинский (и именно по поводу этой пьесы) полностью отрицал эту идею. Он был уверен, что "праздник жизни", о котором, как о прекрасном недавнем прошлом, говорят герои Юшкевича, в действительности "и не начинался", что в России этот праздник состояться не может, так как тут евреям делать нечего. Я думаю: молодежь впала в отчаяние потому, что ей нечем было заменить разбитую веру. Когда возможность бороться за социальные цели исчезла, — она осталась в пустоте, ибо у нее не было истинной святости — национальной идеи, которая придала бы ее существованию великий смысл.

Если б нужна была иллюстрация на тему о том, в какой тупик способен завести отрыв от национальных корней, то это — драма, переживаемая ассимилированной молодежью в пьесе "Miserere". Неопытное, нестойкое, нетерпеливое, незакаленное юношество восприняло временное поражение как окончательную гибель. И — не выдерживало. Смерть влекла их к себе, как избавительница от неразрешимых сложностей действительности; в ней — желанный покой. Самоубийства стали знаменем времени, и в газетах изо дня в день печатались черные списки. В Петербурге была создана даже специальная комиссия по борьбе со школьными самоубийствами. Эпидемия самоубийств захватила, главным образом, молодежь: крушение иллюзий она восприняла катастрофично.

Если самоубийство Нахомы в "Голоде" было актом вызова, бурного протеста, активного несмирения с неправдой жизни, то смерти в "Miserere" — от душевной нестойкости, бессилия, пассивности.

Жанр пьесы драматург определил очень точно: лирическая драма. Впечатление такое, что все лирические моменты, которые — точно куски ценной породы — встречаются в рассыпанном виде в разных произведениях Юшкевича, здесь сконцентрировались, сообщив пьесе ее главную тональность. И писателя, которого до сих пор Чехову противопоставляли, теперь с Чеховым (и с Метерлинком) стали сравнивать.

Поставленная на сцене Московского Художественного театра, с обычной для него этнографической точностью, пронизанная истинно народной музыкой И. Саца, эта пьеса поражала своим национально-бытовым колоритом (в тексте — отсутствующим), погружала зрителя в стихию еврейства.

"Miserere" — самая крупная, самая сложная, самая интересная пьеса Юшкевича. Она обнаружила истинную амплитуду его дарования.

Русские и евреи критиковали пьесу, но она заставила взглянуть на автора по-новому. Сами собой отпали страшные и унижительные упреки в нелюбви к еврейству. Напротив. "Как нужно любить свой народ, чтоб написать такую пьесу!" — воскликнул один критик. И казалось: вот теперь-то Юшкевич нашел свой верный путь. Но именно тогда-то появился и всех разочаровал "Бес". Возможно, впрочем, что абсолютно очевидная для всех неудача с ним все же заставила драматурга пересмотреть некоторые свои позиции. Во всяком случае, все что он будет делать дальше, будет лежать в русле "Miserere": хотя темы и стилиевые особенности следующих пьес и будут иными, это будет опять-таки народная жизнь, это будет любовное сострадательное ее освещение.

Пафосом любви к простому человеку из народа ("Человек сто-



ит, чтоб его любили”), сострадания к нему одушевлены все четыре последние пьесы Юшкевича, написанные и поставленные в России до революции и сразу после нее. Они различны по жанру (психологическая драма, комедия, трагикомедия, сказка), по мастерству. Но во всех них герой — тот, кто в русской литературе получил название “маленького человека”: обделенный на жизненном пиру, он сквозь страдания пронес “душу живу” — человечность, доброту, благородство, любовь. Все эти пьесы крепко приросли к быту, тем не менее главное — не в нем, а в понимании автором природы, психологии, образа мыслей, образа чувствования персонажей. Пьесы эти — без претензии на символичность и философичность. Поэтому простому зрителю не нужно становиться на цыпочки, чтобы дотянуться до их идеи, не приходится ломать себе голову над тем, что должен обозначать какой-то сложный образ, как следует к нему относиться; нельзя потеряться в хитросплетениях силлогизмов: точка зрения автора четка, мысль понятна, она в высшей степени нравственна и совпадает с нравственным чувством зрителя.

Кому непонятно счастье и отчаяние человека, страстно мечтавшего о ребенке, лишь через десять лет брака, наконец, обретшего сына и тут же его потерявшего? “Главной, основной мыслью моей пьесы является любовь — высокой, но вместе с тем простой человеческой души — ко всем людям, и в частности к своим детям” — сказал Юшкевич о пьесе “Мендель Спивак”.

Но сюжет вовсе не исчерпывает идею: за несчастной судьбой одного обойденного счастьем еврея угадывалась несчастная доля обойденного счастьем еврейского народа. Однако зрители и критики плакали над драмой Менделя, но с драмой народа ее так и не соотнесли.

“Мендель Спивак” написан непосредственно вслед за “Бесом”. Трудно поверить, что автор их — один человек: так разителен контраст. “Бес” — это яростная броскость плаката, “Мендель” — голубино-нежная, проникновенная элегия. Той шикали, а этой, вытирая растроганные слезы, — аплодировали и в Москве всем театром, стоя, вызывали автора.

Словно стремясь взять реванш за “Комедию брака”, где была высмеяна буржуазная, мнимо еврейская семья, Юшкевич пишет теперь апологию подлинно еврейской семьи, крепкой взаимной любовью, привязанностью, уважением. Мендель был слишком темен для того, чтоб сформулировать свое жизненное кредо. А Эли Гольд, герой “Человека воздуха”, сделать это может. Он исповедует философию простую и мудрую: “Наше страданье, Семочка, наша боль, — это уже немножко меньше боли у будущих. Примем удары и детям нашим останется меньше страдать”. Гольд, — с его проповедью веры и терпенья, — образ четко национальный, один из вариантов народного характера, который сформировался в галуте под гнетом насилия.

Трогательно любящий, мягкий, добрый, он воспринимается не как литературный персонаж, а как невыдуманная личность. Он — находка драматурга, пьеса сильна только им.

На первый взгляд эти драмы — интимные, показывающие момент жизни (иногда важный, иногда обыденный) вот этого и никакого другого человека. Но в действительности — это драмы и общественные, и национальные: жизнь человека определена тем, что он — жертва. Его неустроенность в обществе, страстность мечтаний, исступленная любовь к семье, как к единственному прибежищу — отсюда. И отдельный человек воспринимается как символ народа. В этих интимных драмах — идея о том, что гибель человека — обрыв нити в будущее. В этих интимных драмах — трагическая судьба народа, которая заведомо предназначила для страдания его детей.

Так прочерчивается путь: от обобщений, от социальных символов, от стремления к познанию классовых законов, — к основанной на жизненной правде психологической тонкости. Первоначальное тяготение к широким панорамам социальной жизни сменяется вниманием к потаенным глубинам духа.

Пусть последние пьесы Юшкевича мельче первых по масштабу, и нет в них того мощного отрицания, и пусть его голос звучит в них под сурдинку, комнатно... Есть в них другое, истинно ценное: собственный, духовно близкий ему герой.

Жаботинский, окидывая взглядом все, Юшкевичем сделанное, особенно выделил эту сторону его творческой личности: у Юшкевича "в сущности еще больше белых мотивов, нежели черных. Очень и очень стоило бы написать статью под заглавием "Положительные типы Юшкевича". Статья вышла бы длинная. Юшкевич изумительно умел подходить к больному с отношением врача, даже брата милосердия, отличать хорошую человеческую душу под пылью скверны житейской".

"Братом милосердия" Юшкевич был для того, кого любил, кто был ему дорог — для человека из народа. Об руку с ним он вошел в драматургию, с ним почти не расставался, а если и расставался, то непременно к нему, как к самому дорогому, возвращался. Бывало, что он оставлял его на периферии, бывало — ставил в центр. Но на каком бы плане он ни стоял — на мир, на людей Юшкевич смотрит как бы его глазами. Именно он — отправная точка, от которой писатель ведет отсчет добру и злу. Человек этот может быть бушующе негодующим или робким, неуклюжим, смешным, приниженным. Но он прекрасен, потому что в нем — дар добра, талант любви, потому что умеет страдать, терпеть,

верить в будущее, потому что идеалист, потому что у него — богатая жизнь духа. В личности героя — личность нации.

Безжалостный сатирик, который хлещет направо и налево, и — нежнейший лирик, который скорбит над людскими страданиями. Романтик, пламенно ненавидящий, обрушивающий громы и проклятья, и — гуманист, любящий людей всей силой изболевшейся души. Пессимист, ощущающий смерть, как единственную избавительницу от тягот земного существования, и — оптимист, верящий в беспредельную душевную красоту человека. Бытописатель, интересующийся конкретностями, подробностями, частностями, и символист, мысль которого занята вечными вопросами бытия. Таков Юшкевич...

Он не просто сложен, он — контрастен: два спектакля в двух театрах, на двух соседних московских улицах: “Комедия брака” у Корша и “Misereere” в Художественном — что может быть противоположнее? Прimitивность — и психологические метания; фарс и — трагизм жизни. Вот эти удивительные, неправдоподобные совмещения и сделали Юшкевича, после Л. Андреева, самым интригующим драматургом межреволюционного десятилетия. Он — яркая художественная индивидуальность. Он неповторим: его невозможно ни с кем спутать. Он своеобразен: в его изображении жизнь предстает в сплетении разного, порой несовместимого. Он — не в единстве простоты, а в единстве сложности. Тем интересен.

Юшкевич всегда чувствовал себя евреем. Как еврей, он испытывал непрерывное давление, преследования, унижения. Проблема правожительства была для него мучительно-личной: его не пускали в столицы, его высылали даже тогда, когда он приезжал, чтобы прочесть в театрах свои вещи, присутствовать на своих премьерях; над его жизнью, как и над жизнями всех евреев, висела угроза погрома. В нем было сильно развито чувство национального достоинства. Отказ отдать свою пьесу в суворинский театр — один из примеров. Другой — резкое выступление против одного из журналистов, который утверждал, что любовь евреев к России неискоренима, что их страдания должны служить “вечным укором для антисемитов”. Юшкевича возмутил рабский тон статьи, он резко протестовал против того, что журналист занимался самоуничтожением от имени еврейского народа.

Юшкевич писал о евреях такое прекрасное, что заставлял перед

ними преклоняться. И он же писал об евреях такое ужасное, какое не писал ни один еврейский писатель, такое, что в начале XX века, мог позволить себе только откровенный антисемит.

Внешне его позиция противоречива: с одной стороны — высоко развитое чувство национального достоинства, с другой — произведения, унижающие, оскорбляющие еврейство, многими расцениваемые, как антисемитские. Но для него самого, так сказать — внутренне, противоречия тут нет: он ведь считал, что выступает не против еврейства, а против еврейской буржуазии, с которой, мол, еврейский народ не имеет ничего общего.

У него очень определенное, цельное, устойчивое, с первых шагов и до конца не изменившееся мировоззрение, твердый взгляд на жизнь: мир устроен скверно, в нем царит несправедливость, основанная на социальном неравенстве. В сущности, он всегда был драматургом социальной темы. Трагизм еврейского существования предстает у него, главным образом, как результат классового неравенства. Оно — основа конфликта большинства его пьес. Его более всего интересуют психологические последствия классового разделения общества: на одной стороне — приниженность, многотерпеливость, смирение, высокая нравственность и духовность (или необузданное стремление вырваться наверх); на другой стороне — властность, самоуверенность, наглость, безжалостное подавление окружающих, низменность целей, аморальность, бездуховность.

Как писатель он обладал огромным темпераментом: "Литература для меня бой". Он был не беспристрастным экспертом по еврейским делам на суде истории, а пламенным защитником или обвинителем. Когда он писал о тех, кого любил, он — гуманист. И кто сосчитает, сколько зерен добра посеял он в зрителях, как много способствовал рассеянию враждебного отношения к евреям! Но когда он писал о тех, кого ненавидел, — он становился совсем таким, как русские писатели-антисемиты. То, что это были образы буржуазные, не имело ни малейшего значения: все антисемиты направляли свои стрелы не против евреев-сапожников, а против евреев-богачей. У Юшкевича это выглядело клеветой даже худшей, так как было насыщено знанием быта, что придавало его изображениям некоторую убедительность. Это воспринималось как прямое продолжение и даже развитие традиций юдофобской драматургии. И кто сосчитает, сколько зерен зла посеял он этим в зрителях! Так писатель, который хотел и мог принести

пользу своему народу, руководствуясь самым лучшим побуждением, но идя по ложному пути, только ухудшал его положение.

Несмотря на то, что изредка он писал и на русские темы, по-настоящему его волновала только еврейская жизнь. Однако в еврействе Юшкевича нет традиционной, так сказать – стихийной национальной целостности: он был тем обрусевшим евреем, в котором сохранилась и тяга к еврейству, и ощущение его как родной для себя стихии, но который внутренне, психологически от него ушел уже настолько далеко, что о полноте слияния не могло быть и речи. Это – разорванность национального сознания.

Ассимиляция придавала психологии евреев двойственный характер. Но главной ее чертой следует, вероятно, считать утерю национальных корней, связей с национальной культурой. У Юшкевича корни эти были оборваны. Еврейская литература никогда не видела основу трагедии еврейства в его классовом размежевании. Преваляющее значение, которое придавал этому Юшкевич, шло вразрез с ее традициями. Ему были близки и дороги традиции литературы русской (“Перо в мои руки вложил Достоевский, но понимать жизнь научил меня Чехов”). И даже тема простого человека была ему близка лишь в том преломлении, какое она получила в русской литературе: как на прообраз Спивака, он указывал на гоголевского Акакия Акакиевича, а не на Фишку-хромого у Менделя Мойшер-Сфорима. Литература еврейская была ему чужда, с ней он никогда и ничем связан не был. Не случайно он не соприкасался и с национально мыслящими кругами еврейской интеллигенции.

Ассимиляция привела к тому, что он чувствовал себя частью русской культуры. Это лежало и в основе его готовности полностью отказаться от родного языка: “Сейчас жаргон для еврея – анахронизм, который должен исчезнуть и быть заменен языком нынешней родины – русским”. Такая психология дешевого приспособленчества – как диаметрально противоположна она позиции Жаботинского, который отстаивал необходимость для писателя работать именно на идиш, ибо это язык народа.

То, что Юшкевич несет на себе следы двух культур, что он писатель переходного времени, что его творчество проходило под знаком духовного обрусения – бесспорно. Только этим можно объяснить его постепенный отход от национального во имя классового; непонимание еврейства прежде всего, как национальной общности; игнорирование диаспоры, как основного источника

трагических конфликтов еврейской жизни. Это отталкивало от него всю — буквально всю — еврейскую печать и даже часть русской.<sup>2)</sup>

Его за многое можно осуждать, но зачеркнуть — невозможно. Ибо его творчество в совершенном виде воплотило течение, которое имело место в общественной жизни. Как ассимилированный художник, он интересен именно тем, что отразил ту струю в русском еврействе, которая характеризуется тяготением к русской культуре. Так получилось: евреи считали его русским писателем, русские — еврейским. Именно в качестве еврейского драматурга его и ставил русский театр, причем ставил очень широко. 11 его пьес получили сценическую реализацию, 10 из них — еврейские. По Юшкевичу русские зрители знакомились с еврейством. Это накладывало на драматурга особую ответственность, так как происходило в период, когда русское общество пересматривало свое отношение к евреям. Но он лишь частично — в своих народных, лирических пьесах — выполнил эту высокую миссию.

Если в его прозе, особенно ранней, главное — поиски духа (спор о сущности еврейства, его роли в мировой истории, его исторических судьбах, о его исконной тяге к далекой родине), то в драматургии эти вопросы почти не поднимаются. Национальная идея, как важнейшее дело жизни, оказалась ему чужда. Он был слишком духовно ассимилирован, чтоб ее почувствовать. Так яркий, своеобразный еврейский писатель не отразил самого важного в еврейской жизни: стремления к национальному возрождению. Отсутствие пафоса национального утверждения в душе самого Юшкевича имело для него губительные последствия: под конец жизни он оказался и писателем без героя, и человеком без светящей впереди звезды.

Юшкевич был сложной личностью: в его силе и слабости — сила и слабость русского дореволюционного еврейства.

Нет, я не думаю, что даже лучшие пьесы Юшкевича могут зажить сейчас второй сценической жизнью, и я не взяла бы на себя смелость рекомендовать театрам попытаться возродить их: они — внутри определенного периода, который ушел, невозстановим, выхода из которого во вне у них нет. Прицел моего рассказа был иным: в преходящем литературном факте отыскать непреходящее. Тут оно безусловно есть.

История — дама хоть и суровая, хоть и капризная, но по-своему

последовательная. И если она сделала так, что мы Юшкевича помним, то это потому, что в дисгармонии его субъективных намерений и их объективного звучания, в его психологических противоречивостях — невыдуманность противоречивой действительности. А главное: из его опыта мы исторгаем абсолютно сегодняшнюю поучительность.

Единичен ли он, случаен ли? Единичен — безусловно: талант его — редкий, самобытный. Случаен? Ни в коем случае. В нем — диаспора. Она — в невольной, но глубокой ассимиляции: уже непонимание родного, уже тяготение к чужому. И она же, вопреки этому, — в неискорененных рудиментах национальных привязанностей. Переходное время? А отсюда — невзвешенность и неуравновешенность эмоционального и рационального начала? Безусловно. Именно по всему этому Юшкевич — интереснейшее явление литературы, которое из нее — не выкинуть. И все же на челе его — колючие лавры Герострата...

\* \* \*

1) В письме Бунину Горький об Юшкевиче отзывался так: "Мне показалось, что С. С. стал еще более невежествен и криклив. Он, однако, довольно хитер и, позволяя смеяться над собою простакам, порою третирует их просто великолепно, хотя и грубо. Литературу он не любит и — никого не любит. Жаждет успеха, думаю — добьется его. Поехал к Амфитеатрову делать "хорошую прессу" для "Miserere". Эти горьковские утверждения противоречат мнению хорошо знавшего Юшкевича писателя Вознесенского: "У него всегда оставалась трогательная стыдливость неопита перед святыней литературы, к которой он был приобщен своим талантом" (Воспоминания". ЦГАЛИ, ф. 2247, оп. 1, е. х. 33, л. 76).

Мнения Горького действительно были непоследовательны. Например, вначале резко отрицательно оценив "Голод", он позже эту пьесу назвал "талантливой вещью" и напечатал.

По поводу удивительной противоречивости горьковских оценок Юшкевич писал Горькому 25 мая 1903 г.:

"Алексей Максимович, удовольствие, испытанное мною при получении Вашей карточки было сейчас же отравлено Вашим письмом. По Вашим словам, в моих интересах, которые мне не очень ясны, — Вы говорили о длиннотах, об одесском языке и т. д. Ладно. Так ли Вы говорили мне в Петербурге при свидании, — я сейчас вспомню, — но не кажется ли Вам, — что все это лучше было бы мне сказать в самом начале, чем теперь? Какой смысл, — (и какое впечатление это произведет на меня теперь) писать автору — ваши произведения страдают длиннотами, — все написано торопливо, язык их плох, — не русский, — после того, как эти произведения изданы, после тех похвал, которыми Вы осыпали автора, после того, как Вы предложили автору издать его? Что мне думать об устойчивости Ваших мнений, — когда "Распаду" — только в нем Вы находите длинноты — Вы несмотря на мои искренние протесты отдали предпочтение перед своими "Мещанами", — когда Бунину Вы меня представили, как автора "Иты Гайне", — и обо всем этом отозвались, как о лучшем в серии новых книг "Знания", как о книге, которая Вам более всего по душе. Что за поворот в Вашем мнении? Кто повлиял здесь? Не

критики ли? Но ведь самое буйное самолюбие было бы удовлетворено теми отзывами, которые появились. И после Ваших уверенных слов, — что через три месяца книга выйдет вторым изданием — Вы находите возможным написать: "По поводу уверенности Вашей, что вторая книжка превзойдет первую, могу только сказать, так и следует, — иначе и невозможно..."

Мы не дали обета друг другу. Как я ни люблю Вас, как учителя жизни, как писателя, как незримого друга, с которым переживал дивные минуты слияния в одной мечте, в одном усилии негодования, — я не могу остаться в Вашей орбите. Вы повернулись ко мне спиной, — я делаю то же. Я беру назад свое предложение издаваться у Вас дальше, — но не забывайте, что это по Вашей вине. Этот отказ относится и к первому тому. Тяжело ли мне это сделать? Если бы я с голоду умирал, — мне было бы легко. Но я теряю Вас — это ужасно. Новой повести я не пошлю Вам. Простите, мне так больно, — что я писать больше не могу. Семен Юшкевич". (Архив Горького. КГ-П. 90. 18. 2.).

Несмотря на свой категорический отказ, Юшкевич в "Знании" продолжал печататься и далее.

2) Любопытно, но на мой взгляд совершенно неверно, мнение Жаботинского. Он написал об Юшкевиче в 1927 г. в связи с опубликованием на идиш "Эпизодов", написал уже после его смерти. Он попытался взглянуть на творчество писателя с позиции не современника, а историка. Такой закономерный подход мог быть весьма плодотворен для определения места Юшкевича в литературном процессе. И действительно, в этом анализе есть верные замечания. Однако основные постулаты Жаботинского были парадоксально произвольными, односторонними, поэтому неверным оказалось и его понимание творчества драматурга в целом.

Если некогда сам Юшкевич причислял себя к писателям-сатирикам, последователям Гоголя, то теперь так же поступил Жаботинский, присоединив Юшкевича к писателям-обличителям. С этой точки зрения Жаботинский назвал его работу "общественным подвигом". Он заявил, что Юшкевич был прав, когда, выводя на сцену отрицательные еврейские типы, не принимал в расчет реакцию русского зрителя, потому что его отношение к евреям не зависело от того, какими их показывал театр: оно все равно было враждебным. Этот ход рассуждений вряд ли нуждается в том, чтоб доказывать его несостоятельность. Отрицать, что характер изображения евреев литературой имел значение на отношение к ним русского народа, — значит отрицать ее влияние. Если последовательно провести мысль Жаботинского, то вообще не следует бороться против антисемитской литературы и искусства: русские, мол, и без того относятся к евреям скверно, это ничего не изменит.

Однако в действительности и литература, и искусство безусловно влияют и на психику отдельной личности, и на общественную психологию. Только этим следует объяснить борьбу прогрессивной русской интеллигенции против антисемитской прессы, литературы, искусства. Поэтому невозможно игнорировать влияние, которое пьесы Юшкевича безусловно должны были оказывать. Особенно если учесть обстановку, в которой протекало его творчество, конкретные обстоятельства места и времени, крайнюю восприимчивость русской публики ко всему, что было связано с еврейским вопросом.

У Жаботинского была абсолютно верная, глубокая идея о всесторонне губительном воздействии на еврейский народ ассимиляции. Отрицательных еврейских типов, даже преступников, он считал ее естественным продуктом. В этом он видел и право художника на их изображение: то, что существует, является предметом искусства. Однако если подходить с такой точки зрения, то следует оправдать любое антисемитское произведение: ведь всех нарисованных писателями-антисемитами ростовщиков, контрабандистов.



убийц можно объявить персонажами правдивыми, представляющими еврейский народ, который находится в периоде разрушения собственных нравственных норм. Разумеется, искаженное историческое развитие народа в тяжких условиях диаспоры не могло не оказывать разрушающего влияния на его психологию; естественное стремление к выживанию порождало извращенные формы приспособленчества. Тем не менее, несмотря на кажущуюся логичность, Жаботинский не прав: весь вопрос заключается в исходной позиции писателя. Важно, с каким прицелом подходит он к изображению тех или иных явлений. И вот тут-то обнаруживается огромный провал между позициями Юшкевича и Жаботинского, — провал, которого сам критик почему-то не заметил.

Дело в том, что для Юшкевича главная причина отрицательных явлений в еврействе была не в ассимиляции, а в его социальном расслоении. Поэтому выход он видел не в уничтожении ситуации рассеяния, как Жаботинский, а в уничтожении социального неравенства при сохранении ситуации рассеяния. Эта колоссальная разница — разница между сионистом и ассимилятором. Так как подход Юшкевича был узко классовым, то читатель не мог делать тех выводов — о вреде ассимиляции, — которые, как казалось Жаботинскому, сами собой напрашивались. Жаботинский не учел, что и сам-то Юшкевич являлся продуктом глубоко зашедшего процесса ассимиляции, что уже по одному этому он не был в состоянии оценить, выявить ее отрицательный эффект.

*В. Левитина — театровед, доктор искусствоведения; окончила в СССР Юридический институт и театроведческий факультет ГИТИС; автор двух книг и многих статей по проблемам театра; в Израиле с 1982 года, живет в Тель-Авиве.*

Уважаемый редактор,

в последнем, 33-м, номере Вашего журнала, в рецензии г-на Арсенова, вкралась досадная неточность. Упомянутый в ней Илан Полоцк никак не являлся "лидером рижских авангардистов" по нескольким причинам: а) не было никаких рижских (русскоязычных) авангардистов, а к латышам Илан никакого отношения не имел; б) Илан не был и лидером кого-либо, а был, и надеюсь, остается "своим парнем", "искателем приключений" и журналистом. Имеет ли смысл каждому знакомому подрисовывать усы? Также смею Вас заверить, что "Рижский бальзам" стаканами не пьют, разве что разведенный в водке. За этими оговорками, мне кажется, стоит опасная тенденция фальсификации и мифологизации прошлой нашей (советской жизни).

*Израэль Малер*

**ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ "МАЛЕР"**  
(ул. Саломон, 17; тел. 02-223078)

**книги нашего издания**

- А. Пятигорский, М. Мамардашвили. Символ и сознание. 950 шек. (20 долл.)
- Ф. Кафка. Письмо к отцу. 600 шек. (7 долл.)
- Ю. Милославский. Стихотворения. 650 шек. (8 долл.)
- Г. В. Катулл. Новые переводы (А. Волохонский). 300 шек. (5 долл.)
- А. Архангельский. Пародии. 450 шек. (7 долл.)
- Р. Мандельштам. Избранное. 350 шек. (4 долл.)

Для почты: "Maler", P. O. B. 6608, Jerusalem 91066, Israel

## ЛЮДИ И КНИГИ

*Михаил Хейфец*

### СКРОМНАЯ КНИГА СВИДЕТЕЛЯ ИСТОРИИ

*(Николай Полетика. "Виденное и пережитое". "Библиотека Алия",  
Иерусалим, 1982)*

"Виденное и пережитое" — ну, кто может угадать, что под таким неприятельным названием скрывается одно из лучших мемуарных произведений в российской литературе XX века?

Меня лично больше всего расстраивает в нем не заголовок, неброский и неудачный, а то, что рукопись Н. Полетики опубликована наполовину. Я все не упрекаю издательство: в предисловии редактор Ф. Розинер объяснил, что серия "Библиотека Алия" вынуждена выдерживать традиционный формат этой серии, насчитывающей уже около ста книг на русском языке; кроме того, естественно, что в книгу этой серии прежде всего отобрали из рукописи сюжеты, связанные с историей еврейства. Но жалко — нестерпимо жалко любому поклоннику истории, — что за пределами издания осталась, например, "битва документов" — система доказательств, с помощью которой профессор Н.Полетика обосновывал версию об участии сербской и русской разведок в убийстве в Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда. Неужели первая мировая война началась потому, что некие лихие авантюристы из камарилы русского и сербского дворов решили террористическим актом разрубить сложные узлы европейской политики? Если так, то неосторожный толчок кучки авантюристов сдвинул с места лавину, уже созревшую в недрах империалистического сообщества держав, и — рухнули четыре трона, погибли двадцать миллионов человек, началась эпоха республиканских, коммунистических и национал-социалистических революций и контрреволюций...

Автор этой прекрасной мемуарной книги Николай Павлович Полетика — один из последних представителей знаменитой украинской дворянской фамилии (увы, наибольшую известность роду доставила жена гвардейского полковника Идалия Полетика, любовница А.С. Пушкина, сыгравшая роковую роль в его дуэли и гибели). Воспоминания охватывают только первые сорок лет двадцатого столетия, но даже этого, неполного текста достаточно, чтобы почувствовать: перед нами книга историка милостью Б-жией, запечатлевшего для будущего опыт окружавшего его человеческого общества.

В таком частном для истории России факте, как еврейские погромы на Украине, он сумел разглядеть закономерности всеобщей истории, отразившиеся в судьбе еврейства, как космос отражается в ручье.

Н. Полетика сумел едва ли не впервые изобразить ту деморализацию власти, то омертвление ее авторитета, тот невидимый посторонним духовный опыт погрома, который подготавливает уже в самые дни насилия будущую гибель всех участников — и самих погромщиков, и равнодушных свидетелей, и, увы, свидетелей неравнодушных тоже... Отразился в его мемуарах и об-

щий тон массовой дореволюционной прессы, прежде всего, прессы правой — и это оказался тон бесстыжей, безответственной клеветы, вопль отравителей общественного мнения. После чтения книги профессора Н. Полетики не очень удивляет, что российский читатель был вскоре обманут демагогией большевиков (и обманывается ею до сих пор): ее сделали привычной для публики по тону и стилю именно яростные противники большевизма! Надо быть историком, чтобы запомнить это и описать это...

Сложно ли в условиях Израиля нападать на коммунизм? Нет, это-то как раз сейчас не требует гражданского мужества. Но такого мужества потребует признание, что, например, армия Деникина потерпела **нравственное** поражение от красных, ибо превратилась в "Грабьярмию". Лидер русских националистов В. Шульгин (в квартире которого жил тогда Н. Полетика) пытался спасти белое войско, опубликовав статью "Взвейтесь, соколы, ...ворами", где предупреждал, что погромная антисемитская стихия погубит белых! Погромы со стороны красных (Н. Полетика вовсе не забыл их) воспринимались населением как естественное поведение армии, так сказать, насильственной по своей идеологии, поэтому они не удивляли, не отталкивали тех, кто поклонялся насилию и составлял опору РКБ (б); но аналогичное поведение белых подрывало доверие сторонников законности и правопорядка. В конце концов, белое командование и само осознало губительность погромно-насильнической стихии в рядах "Добровольцев", но это случилось уже при Врангеле, когда дело антикоммунизма было проиграно (интересные источники на эту тему недавно опубликованы в журнале "Грани" №124).

К сожалению, в книге перепутаны многие даты (датой ареста Стефановича и Дейча, например, назван 1908 г., на самом деле — 1878 г. — на стр. 97; даты еврейских погромов на Украине в книге — 1912—20 гг., на самом деле — 1917—20 гг., на стр. 94 и т.д. и т.п.); не нравится мне, что иногда неточны имена персонажей (например, согласно большевистскому мифу, руководителем гамбургского восстания назван Тельман на стр. 268 вместо подлинного руководителя — Урбана; "правыми уклонистами" на стр. 297 названы Бухарин, Троцкий, Рыков — явная ошибка: вместо "Троцкий" читай "Томский"). Раздражают отдельные ошибки в малозначительных деталях (например, на стр. 236 сообщается, что академик И. М. Майский вернулся из ссылки лишь после смерти Сталина — на самом деле, он был выпущен не из ссылки, а внутренней тюрьмы КГБ на Лубянке). Но все эти грехи я с удовольствием прощу редактору Ф. Розинеру и руководителям "Библиотеки Алия", если они уговорят автора продолжить труд и написать вторую книгу — о годах войны и послевоенного разгула антисемитизма, о "борьбе с космополитами" и "деле врачей", о маневрах Н. Хрущева и начале массовой алии. Таких вдумчивых и объективных наблюдателей истории-жизни, как профессор Н. Полетика, целое поколение насчитывает единицами — недопустимо и преступно, если сведения и оценки, оставшиеся в его памяти, уйдут вместе с ним из пользования потомков.

Читатели ждут продолжения...

Израэль Малер

РОМАН С БАБЕЛЕМ

*“Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.*

*В. Ленин*

Был у меня в гостях писатель С. Естественно, как только я отвернусь, он — к полке, и копается, и копается, и копается... Вдруг как вскрикнет: “А это тебе зачем?” И дрожащей рукой на томик Фурманова показывает.

“Нет, — думаю, — коммуниста из него не получится, нет в нем стремления обогатить свою память всеми богатствами...” Ведь в томике этом — свидетельство об одном романе, имевшем место в 30-е годы нашего века.

Дм. Фурманов извилистой дорогой прошел трудную школу жизни: от — до студента Московского университета, медбрата, комиссара, писателя и одного из борцов за истинно пролетарскую литературу. Будучи анархистом, писал в дневниках, что не может не оправдать жестокость большевиков. А чем сильнее становились большевики, тем больше он разочаровывался в анархизме. Позднее, на литературном посту, ему весьма помогли военные заслуги и то, что был “контужен в ногу” (ДФ). Вот Авербуха, который с детских лет ушел прямо в большевики, обвиняли в непонимании того да этого, ибо в боях не участвовал. Впрочем, по мне, что Авербух, что Лелевич, что Родов, что Фурманов. О ~~на~~ко последний на своем чапае всех обскакал. И вот что забавно — подмогла и т. н. “интеллигентность”. Не то, чтобы решив обогатить свою память знанием всех богатств, начал ДФ читать в хронологическом порядке мировую литературу (кажется, от Софокла она тогда начиналась), а то, что одним из козырей в его борьбе с авербухщиной-родовщиной” были писатели-попутчики, которых он отторгал от А. Воронского Прекрасны недоумения ДФ: зачем такой верный ленинец, как А. Воронский, позволяет “попутчикам” писать, как им в голову придет?

И вот глава новой литературы, выбравшийся из груды тел на самый верх кучи-малы, составляет (для себя) памятные заметочки о писателях. Ну, там, от Пильняка, Ахматовой и прочих таких, понятно, камня на камне не остается. Попадает и конкурентам (особенно поэтам т. н. “Кузницы”, разгром которых — одна из важнейших достижений ДФ в советской литературе). Тихонова и Эренбурга наш герой явно недооценивает. И взгляды свои обращает на Л. Сейфуллину, Л. Леонова и... И. Бабеля. Почему? Общее лошадиное прошлое? Нет, тут другое. Попутчики-большевики могли оказаться в дальнейшем опасными соперниками. А вот Бабель был удобен: к власти не рвется, талантлив безусловно, и боевое прошлое кое-какое, как никак.

И вот ДФ бросается на защиту своего "подопечного" даже против самого Сем. Буденного (опубликовавшего в третьем номере журнала "Октябрь" за 1924 год статью "Бабизм Бабеля").

Исаак Бабель идет навстречу любовному зову ДФ. Тем более, что от ДФ зависит и публикация всей "Конармии". Бабель льстит, унижается, выполняет мелкие поручения, жалуется на тяготы литтруда. ДФ записывает в дневнике: "Он мне позвонил, Бабель: "Вечером можно, половина десятого?" — "Можно, жду." Ровно в девять с половиной он был у меня в Нащокинском... И далее — наш заискивающий Бабель: "Чует он (А. Воронский — ИМ), что дело дрянь... поддыхает он со своей линией... держится одними личными связями... другой на его месте — десять раз мордой по грязи бы писал... Бранюсь я с ним часто из-за вас: не считает он ваше творчество художественным... форма, говорит, не та... на выучку бы мне Фурманова дать, я бы вышколил..."

Так в поисках покровителя шли Бабели на содержание; поистаскавшись, они теряли для покровителей свою привлекательность и погибали (в лучшем случае — как писатели). Кто не кончал самоубийством, в отчаянии писал о — или ему, за — или против. Нам ли осуждать их? Нам повезло...

Бабель вынашивал идею книги о этих новых хозяевах. Книгу такую он вряд ли бы написал, но писательское любопытство заставляло присматриваться к ДФ, к Воронскому, посещать дом Ежова. Вот пишет ДФ: "Ходит вот и Бабель. Этот уже вовсе дружи ведет беседы. Мы очень любим говорить с ним про то — кто и как пишет... почти до зари говорим. Давно уже думает он про книгу, про Чека... Да "всего" пока нельзя, говорит, сказать, а комкать неохота — потому думаю, коплю но терплю. Написал сценарий. Но это — не главное. Главное — Чека: ею схвачен..." В другом месте: "Говорил, что хочет писать большую вещь о Чека. "Только не знаю, справлюсь ли — очень уж однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди, даже те, кто собственноручно расстреливал... И я опасюсь, не получилось бы притворно. А с другой стороны... не знаю вовсе настроений тех, которые населяли тюремные камеры, — это меня как-то не интересует. Все-таки возьмусь!"

В одно из первых посещений льстивый Бабель уверял ДФ, что вся разница между их книгами в том, что "Чапаев" — первая корректура, а "Конармия" вторая или третья. В дальнейшем, через годик, осмелев "Чапаев" — первая, а "Конармия" — четвертая. Комментатор собрания сочинений ДФ возражает Бабелю: "Эти слова Бабеля, разумеется, ни в коей мере не раскрывают действительной разницы между "Чапаевым и "Конармией". Значение "Чапаева" в истории советской литературы несравнимо с "Конармией". И он прав.

А Кугель в своих воспоминаниях повествует, в частности, о романе Цехановского "Петербургская Нана". Роман печатался в газете отрывками, и редактор Худеков неоднократно просил автора закончить роман. Цехановский все медлил, и как-то ночью Худеков сам написал "Эпилог": "Нана вошла в конюшню, рыжая кобыла жевала овес... Нана погладила кобылу по лебединой шее, как вдруг кобыла сильным взмахом заднего копыта ударила красавицу в висок. Все было кончено. Кобыла как ни в чем не бывало продолжала жевать овес".

Наш роман кончается почти так же. Болезнь тела “ударил в висок” Дмитрия Фурманова, болезнь страны — Исаака Бабеля. История продолжает жевать овес.

К сожалению, на Западе не занимаются историей РАППа. А ведь события тех дней не только сыграли, оказали, решили. Наблюдая за литературной жизнью эмиграции и русскоязычных писателей в Израиле, мы замечаем печальное сходство. одни, поднимая других, пробиваются к рулю (то бишь, кормилу), другие ищут содержания. Но по-прежнему не каждый отличит авербуха от авербуха. Как говаривал Маяковский.

... Поддавшись влиянию С., я совсем уж было хотел отнести рецензируемый 4-й том собрания ДФ к себе в магазин, да передумал. В нем, в этом томе, — свидетельство эпохи, когда большевик объяснял специалисту, как и что, отменял кибернетику, генетику и прочую математику. Той эпохи, которая сформировала наш сегодняшний мир и нас самих. Мы почти не знаем, как это происходило в науке, не знаем как — в промышленности, в сельском хозяйстве. Моделью послужит литература.

*Марина Дацковская*

### **ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА...**

*(К. Пруслина, Вместо хлеба, “Лексикон”, Иерусалим, 1983)*

У девочки были мама, папа, сестра и бабушка. Жила девочка в большом красивом доме. Вокруг дома был сад. Вокруг сада — решетка. И девочке казалось, что сад и решетка ограждают и защищают ее от всего злого.

Дети в саду “были символами — у них не было настоящих имен. Их называли “в честь”. Таково было веление эпохи”. Прохожий бывал сильно озадачен, слыша такой разговор: “Почему плачет Трактор? — спрашивала воспитательница. — Это ‘Энгельс’! — ябедничали дети, — это все Энгельс, он отнял у Трактора головастика...”

А потом у этой девочки отняли вдруг папу; маму довели до самоубийства. А саму девочку с сестрой отправили в детский дом. Туда свозили тогда много детей. Они все прибывали и прибывали. “Двухлетний мальчик, сидевший на руках у солдата, обнял его за шею и никак не хотел отпускать. Его оторвали с трудом, и тогда он, закрыв лицо ладонками, безнадежно зарыдал. Глядя на него, заплакал и солдат. Но это ничего не меняло”.

Девочка думала, что произошла роковая ошибка. Скоро все разъяснится. Но дни шли за днями, проходили месяцы... В сосновом бору, положив портфель на колени, девочка писала письма: “Дорогому Сталину...” Но старшая сестра объяснила ей, что эти письма ничему и никому не помогут.

Потом приехала бабушка и увезла из детского дома девочку и ее сестру. И это было только начало истории девочки — отчаянной и отчаивающейся, смятенной, напуганной. В отрочестве ей пришлось испытать все, что выпадает не всякому за долгую жизнь — раннее сиротство, голод, нищету, унижение без вины виноватого; она увидела и смертный путь бабушки,

пережила горькое разочарование в друзьях, а сестра, “перевоспитавшаяся” в лагере обобрала ее до нитки. Она заброшена и бесприютна, “одна на чужом белом свете”.

Перед нами не игра в жизнь — каждый раз кажется, что круг замыкается окончательно. Измученная, затравленная девочка забрасывает веревку на крюк в уборной коммунальной квартиры и пытается повеситься. А крюк вылетает, вырывается. Девочка испуганно прячется под одеяло, боится, что попадет за вырванный крюк.

Крюк вылетает; совсем в отчаянии — она встречает доброго человека, знакомую бабушки; огромная крыса сжирает всю еду, — а девочка находит случайно кошку... Каждая из двенадцати новелл заканчивается каким-нибудь объяснимым чудом. И смертельный круг безвыходности размыкается.

О том времени много вспоминали, писали романы, и многое из написанного было замешано на лжи, недомолвках, недоговоренности. И часто о том времени рассказывали люди, которые уже тогда были взрослыми и понимали, что происходит вокруг.

А теперь заговорила о себе тогдашняя девочка. И то время, тех людей, ту еднородность мытарств и будничность мучительства мы увидели глазами детской бесприютности, одинокой заброшенности: девочка не понимает — за что ее мучают? — и отчаивается в поисках своей вины.

История девочки, кажется, идет к концу... Соседи аккуратно выводят краской белый крестик на двери ее комнаты: “Мы их всех, евреев, по-выбьем... На каждой двери поставим белый крест. И как дадут знак... Мы их...” Но опять происходит чудо — умер Сталин.

История про девочку закончилась История эта автобиографическая. Написала ее Клара Пруслина, искусствовед, специалист по керамике. Талантливая рассказчица. Писательница, обещающая (если судить по другим публикациям) еще не одну хорошую книжку.

## “АВРААМ РОДИЛ ИЦХАКА, ИЦХАК РОДИЛ ЯКОВА...” ИЛИ ТЕРРА ИНКОГНИТА

*(Ф. Розинер, Серебряная цепочка, Библиотека “Алия”, 1983)*

Помните ли вы имя своего деда? А имя вашего отца — вы уверены, что знаете его истинное звучание? А каким именем называть вас? Тем ли, которое дали вам при рождении или первоначенным именем-кличкой? Вместо Мотл — Дмитрий, вместо Гирш — Григорий, вместо Вольф — Владимир и так далее. Чтоб благозвучнее, чтоб легче было произносить окружающим — и чтобы легче нам жилось с таким понятным и благозвучным именем. Наши настоящие имена нас учили забывать. Как учили забывать все, что было связано с прошлым, потому что там, откуда мы вышли, лучше было — прошлое не затрагивать, ибо оно поневоле сравнивалось с тем, чем мы жили, “оно выступало как противопоставление реальности”, и даже становилось враждебным, чужим. Прошлое должно было оставаться “терра инкогнита”.

Когда спешно уничтожались бумаги и фотографии, когда пытались вырвать прошлое из памяти и затеряться в безымянной толпе — протестовали дети: “Не хотим быть иванами, не помнящими родства!” А потом детям родители заполняли анкеты, а родители — отвечать на их вопросы: “Есть ли у меня родственники за границей? А кем был мой дед?..” Начались расспросы — и уже не для анкет, а для себя — фиксировалась семейная память.

И оказалось, что дом, семья, прошлое коренятся в нас прочнее, чем мы могли предположить. История семи поколений одной семьи стала темой книги Феликса Розинера “Серебряная цепочка”. Не простое перечисление имен, дат и мест — перед нами драма идей: прапрадед — бобруйский раввин-мудрец, живший идеями Торы; прадед, сделавший первый шаг к светскому мировосприятию; дед, захваченный идеей сионизма; родители, уступившие сионизм коммунистическому интернационализму, и наконец — сам автор и его дети.

История семьи охватывает столетний период. Драма идей семи поколений разыгрывается на таком историческом фоне: ассимиляция евреев, зарождение и распространение сионизма, Первая мировая война, революция в России, гражданская война, репрессии, Вторая мировая война, образование Еврейского государства, послевоенный антисемитизм, нынешний исход из России.

История семьи Феликса Розинера, как и любой семьи, связана с судьбой всей нации. Поэтому можно сказать, что в истории этой одной семьи содержится часть истории нашего народа. Автор полагает, что смысл истории заключается в “конflikте между обстоятельствами и людьми, между устоявшимся укладом и личностями, этот уклад отвергающими. В разрешении таких конфликтов — масштабов самых различных, от судеб внутри лишь одной судьбы до судеб целых народов, да и всего человечества — и протекает то, что зовется историческим процессом”.

Конечно, в авторе прежде всего говорил не историк, а литератор Ф. Розинер — прозаик, поэт, драматург и музыкальный критик. (Опубликованный на Западе роман “Некто Финкельмайер” получил парижскую литературную премию имени Даля.) Книга “Серебряная цепочка” писалась для конкурса “Мой отчий дом в России”, объявленного Центром исследования истории восточноевропейского еврейства в Иерусалиме, и получила премию в 1981 году.

Большое место в книге уделено запискам деда — Шмуэля-Давида Рабиновича, интересному и подробному свидетельству эпохи. Этот документ становится своего рода камертоном для всей книги: хотя автор избегает излишней сухости исторического документа, он стремится sobлюсти фактологическую точность, быть хронологически последовательным. И — ostавляет за собой право на собственные комментарии и интерпретации фактов. Очевидно, это имеет свое объяснение. выражение мирозозерцания автора также являют собой свидетельство времени.

В книге много фотографий. Теперь уже можно не бояться забвения, не надо беспокоиться, что память о семи поколениях семейства Розинер—Рабинович исчезнет.

А о наших с вами дедах и прадедах — кто скажет что-нибудь, кто удержит их в памяти и выделит из толпы безымянных лиц? Не откладывайте



в сторону их фотографии, будто хороните в последний раз! Вспоминайте, расспрашивайте, записывайте — прошлое уходит! Вначале — с прадедами и дедами, потом — с отцами. А там — глядишь, и мы уйдем... А что останется? Терра инкогнита?

Р. Б.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

И. Лиснянская, "Дожди и зеркала". Издательство "Имка-пресс" выпустило первый зарубежный сборник известной поэтессы почти точно к 60-летию ее рождения. "Четыре года назад Инна Лиснянская, участница "Метрополю", самоисключилась из Союза писателей, — пишет автор аннотации к сборнику Ю. Кублановский, — но внктренне ее лирика давно вне советской поэтической школы". Сборник "Дожди и зеркала", собравший стихи 1970—1980 годов, дает тому наглядное подтверждение. Переходя от года к году, нетрудно видеть, как первоначальная грустная "лиричность вообще" уступает место подлинному трагизму, размышления о собственной судьбе сплетаются с размышлениями о судьбе России, подробности быта и жизни возвышаются до примет времени и эпохи. Поэзия И. Лиснянской — поэзия печальных вопрошаний, безответных надежд и приглушенной тоски, все время порывающаяся прорваться к религиозному озарению и пониманию. В лучших образцах она доказывает, что горький хлеб добровольного изгнничества способен обратиться в горький мед подлинного творчества, обогащающего отечественную словесность.

Р. Орлова. "Воспоминания о непрошедшем времени". В новой книге издательства "Ардис" собраны воспоминания известной переводчицы и критика Раисы Орловой, недавно вместе с мужем (Л. Копелевым) эмигрировавшей из России. Автор принадлежит к кругу относительно благополучной московской творческой интеллигенции, и потому особенно интересна предпринятая ею в книге попытка проанализировать корни и причины своего затянувшегося "мировоззренческого романа" с советской властью. Но еще больше, чем самоанализ, пониманию этого феномена способствуют те главы книги, где речь идет о людях, позицию которых автор отвергает. Отвергаемые всегда оказываются "крайними" по отношению к автору, предпочитающему "золотую середину" расплывчатого гуманизма и либерализма. Это неприятие крайностей (как власти, так и ее противников), оппортунизм и впитанные с юности марксистские догмы, характерные для среды, к которой принадлежала Р. Орлова, объясняют и краткое диссидентское увлечение советской интеллигенции, и последующую реакцию на разгром диссидентства, и прочие реакции ее на важнейшие события эпохи. Свидетельство Р. Орловой — еще один вклад в складывающуюся за рубежом эмигрантскую мемуаристику, постепенно создающую полотно судеб русской интеллигенции при советской власти.

## ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 3500 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 39 долларов (авиапочтой в Европу — 49, в США — 55 долларов), для организаций — 48 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", POB 7045, Рамат-Ган, Израиль

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В январе-феврале получены следующие пожертвования: Ц Нафталин (Холон) — 250 шек., С Каминская (Иерусалим) — 500 шек., Г. Фридман (Гиват-Нешер) — 500 шек., С. Шифман (Хайфа) — 700 шек., М. Рубина (Ришон-ле-Цион) — 500 шек., Д. Проектор (Бен-Дор) — 700 шек., Зельдин (Петах-Тиква) — 1000 шек., Н. Гутина (Кирон) — 10 долл., Л. Цукерман (США) — 15 долл., Л. Коринец (США) — 10 долл., Е. Бронштейн (Берлин) — 15 долл., Б. Мирман (США) — 25 долл., З. Брук (Хайфа) — 500 шек., Д. Рагинский (Иерусалим) — 200 шек., М. Ременик (Иерусалим) — 200 шек., К. Тартаковская (США) — 25 долл. Мы благодарим наших друзей.

Отвергнутые рукописи редакция не возвращает и в переписку по их поводу не вступает.

#### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №  
Прилагаю чек (чеки) № \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_  
Журнал прошу выслать по адресу \_\_\_\_\_

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала \_\_\_\_\_

(фамилия)



